

НОВЫЙ Журнал

148

THE NEW
REVIEW

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

*С 1975 по 1976 редакция Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев,
Л. Ржевский*

Сорок первый год издания

РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ И Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРЬ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. SEPTEMBER 1982.

Quarterly No. 148
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025
Subscription Price \$24 — for one year
Publisher New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>М. Волкова</i> — Стихи	5
<i>Е. Таубер</i> — Сестры	8
<i>Г. Раевский</i> — Стихи	18
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	19
<i>Ю. Кротков</i> — Арест	21
<i>Ю. Иваск</i> — Стихи	52
<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию	53
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	91
<i>А. Опудский</i> — "Легенда" А. Герцена и "Житие св. Феодоры"	92
<i>С. Парнок</i> — Стихи	109
<i>А. Осипович</i> — Достоевский и литераторы	110
<i>Т. Пахмусс</i> — Б. Нарциссов	130

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Л. Иванова</i> — Воспоминания о Вячеславе Иванове	136
<i>Ю. Карцов</i> — Хроника распада	161
<i>М. Гольдштейн</i> — Мемуары 20-летнего музыканта	203
<i>Г. Андреев</i> — Из того, что было	221

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>А. Федосеев</i> — За что боролись? За что боремся?	233
<i>Игумен Геннадий</i> — Религиозный неоромантизм, символизм, скифство	254

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>Э. Станкевич</i> — Роман Якобсон	273
<i>М. Шефтель</i> — Н. Е. Андреев	277

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

А. Иванов — Русские ученые во Франции в 20-30 гг. 281

БИБЛИОГРАФИЯ:

Ю. Тролля — Р. Гуль. Одвуконь два. *Игумен Геннадий* — В. Н. Ильин. Арфа Давида. *Г. Эйкалович* — И. Мацкевич. Повод вправо! *С. Крыжицкий* — Одна или две литературы? *Е. Климов* — М. Алленов. А. А. Иванов. Две книги об А. Рублеве. *С. Крыжицкий*. — Устами Буниных. Том III под ред. М. Грин. — *Книги для отзыва*. 302

Вдруг появляются стихи

Вот так... Из ничего.

Георгий Иванов

*

На увяданье — ни намека!
В последней зрелости — расцвет...
— Ушел волнующий глубоко
Большой мучительный Поэт!

Он не жалел чужих иллюзий
И мог своими пренебречь,
Но оставалась верной музе
И желчью политая речь.

Поэт злых истин без покрова,
Поэт жестокого смешка —
Он груз отчаянья земного
Собрал, как будто, за века.

Но если вдруг почти небрежно
Меж строк умышленно-сухих
Бросал он горестно и нежно
Любовью окропленный стих,

И если сдержанная жалость
Чуть-чуть приоткрывала лик —
Как благодарно загоралось
Любое сердце в этот миг!

Одни придут другим на смену,
Но остаётся колдовство
Творить высокое из тлена
И красоту — из ничего!

ВЕЧНОСТЬ

Что такое — миг? Что такое — год?
Что такое просто — наше время?
В жизни всё придет, в жизни всё уйдет,
Как и мы уйдём... уйдём за теми,
 Кто был всем для нас
 И навек угас.

Опадает лист. Умолкает звук.
Оплывают свадебные свечи.
Друга навсегда покидает друг,
И потом уже заполнить нечем
 Страшной, неживой
 Пустоты немой.

Но пока мы здесь, есть у нас одно
Вечное, как солнце, достоянье:
Нам на чёрный день в собственность дано
Вместо тленных благ воспоминанье.
 В нём и только в нём
 Вечно мы живём!

*

Не отнимай раз данного кому-то,
О щедрости душевной не жалея —
Осколки дружбы бережно окутай
Печальной благодарностью своей!
Для редких встреч пустыня стала фоном,
Из трещин слов пробились всходы лжи...
Но память о ничем незамутненном
Ты золотым шнурком перевяжи!

ПЕРЕД ПОРТРЕТОМ

В магическое тесное кольцо
Вместилась жизнь вот тут, передо мною:
В оправе на столе умершее лицо,
А рядом с ним, как в зеркале — другое.
И странным кажется, что то еще живёт,
Тогда как это стало только тенью.
И тихо колет мысль, что недалёк черед
Какого-то еще преображенья...

*Радуйся жизни, ибо теперь позднее,
чем ты думаешь!
Китайская мудрость*

*

Радость не льется струей через край,
Но брызги ее всюду есть,
Лови же, лови, не опоздай
Пока ты еще здесь!

Грузным слоем над годом ложится год.
Каждый день — новый тонкий пласт.
Ни одна минута не подождет,
Но смотришь, что-нибудь даст!

И хотя от лет тебе тяжело
А от дум еще тяжелей,
Береги про запас для других тепло
И радоваться умей!

Мария Волкова

СЕСТРЫ

— “Вы непременно должны приехать к нам погостить с Николаем Ивановичем в Савойю. Мы там купили обветшалую ферму и хотим ее превратить в русский помещичий дом. Электричество уже проведено, воду качает помпа, а в саду посадили малину и черную смородину”, — сказала мне Таня. Собственно по ее возрасту ее надо бы было давно называть Татьяна Сергеевна, но все получилось как-то само собой. Сначала стали называть друг друга по имени, потом невольно перешли все трое — у нее еще была незамужняя сестра Маша — на ты. И это облегчило переход знакомства на простую, русскую дружбу.

И вот мы с Колей в Андоне у Волжских. Это старый крестьянский дом, который сестры постепенно переделывают. Мы живем в чердачной комнате, а рядом их племянник, будущий священник, устроил домовую церковь. Из нижнего этажа идем по лестнице, потом поднимаем трап. Внизу живут Таня с большим мужем и Маша.

На нашем чердаке по утрам графитная крыша “разговаривает”. Коля меня позвал и сказал: “Этого уж ты больше никогда не услышишь. Замри и слушай!” И я слушала... О, эти старые, деревенские, горные дома! Резные деревянные балкончики, часто разноцветные. Ажурная резьба. Все зелено, свежо. Еще косят траву, а уже первое сентября. Только что созрели сливы. Мелкие груши и яблоки покрывают старые корявые деревья. Плодов изобилие. И много мелких полевых цветов.

Племянник Волжских Миша повесил на чердаке, около домашней церкви, набор маленьких колоколов и устраивает воскресным утром трезвон. И этот трезвон и “разговаривающая

крыша" создают особое настроение. Когда мы спускаемся в кухню, которая служит и столовой, Таня повторяет вопрос своей покойной няни: "Как вы спали, почивали, хорошо ль вставали?" — и в этом звучит что-то "старорежимное".

А на буфете приклеена открытка: внушительная и добрая морда коровушки, на шее ее громадный колокольчик. Рядом часы с кукушкой. Помпа, накачивающая воду, от времени до времени ревет, как на пожар. И все это создает уют. Здесь хорошая атмосфера любви и согласия — любви старческой, заботы о больном. Легкий аристократический холодок, приятная старомодная учтивость.

Иногда мы с Колей находим неотложные дела в деревне и уходим в кафе пить чай. Спускаться приходится по шоссе, все горные луга окружены электрической проволокой. Любуясь цветами, густой травой, но дальше не суйся. Придорожные корявые яблони перегружены плодами, дальше еловые леса. Ель здесь некрасива. Темными траурными тряпочками свисают иглы. Идем мимо крестьянских домов. На ставнях вырезаны тонкие елочки. И в нашей комнате такие же ставни. Распахнешь — Монблан сияет во всем величии ледяных вершин. Туманы ползут из ближайших ущелий, иной поднимается к небу, как маленький гейзер. Поднимется и тихо растает. Сгорели перед нашим приездом два домика на вершине горы и запас сена на зиму. Все население Андона сложилось и из своих запасов собрало сено для погорельцев — у них шестеро детей. Хозяин хочет немедленно отстраивать дом, население деревни будет даром помогать. Таня и Маша принимают тоже участие в погорельцах, хотя денег в доме немного, а муж Тани тяжело болен. "Положение серьезное", — говорит мне Коля и во время обеда и ужина усиленно занимает Петра Алексеевича своими воспоминаниями. Петр Алексеевич еще кадровый офицер, Коля же только в Белой Армии получил крещение. И вот "бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они".

— Я был ранен на Перекопе, в последний день Крыма, — говорит Коля. — Пароходы уже стояли наготове. И спасли меня мои хлопцы. Раненого принесли на пароход. А потом Константинополь, Бизерта, Тунис. После трехлетних боев все это сначала казалось какими-то каникулами, заслуженным отды-

хом. Настоящее беженство еще не наступало. Прерванная революцией молодость продолжалась. Судьба дала передышку, и как я ей радовался!

Петр Алексеевич смотрит большими, куда-то уже далеко не только от нас, но даже от жены глядящими глазами и говорит:

— Да, я это понимаю. Отдых... Окончательный отдых так нужен.

Я перевожу глаза на Таню. Ее сдержанность великолепна. Но вот, вот брызнут слезы. И мы сразу же прерываем принявший нежелательное направление разговор. Коля спешно рассказывает, как он начал свою сельскохозяйственную карьеру в Бизерте. — Знаете, когда поправляешься и молод, безделье госпитальное невыносимо. Пошел просить дать мне работу в саду. "Ну, что ж, если вы хотите, идите полоть сорную траву". Отправился и вырвал все артишоки. Шут его знает, что за растение, никогда не видел. И меня выгнали.

Все смеются.

А у нас в комнате Коля серьезно говорит: "Жаль Татьяну Сергеевну. Скоро останется одна".

А вечером, в кухне, Маша:

"Только теперь я поняла, почему Бог мне не дал замужества. Будь я не одна, разве я могла бы так помочь Тане, как теперь, когда она стоит перед неизбежным и никого у нее нет. И я не жалею об одинокой молодости. У каждого свое задание. Разве не счастье утешить другого?"

Я смотрю на нее с восхищением: "Вот она старая Россия, в которой мне было суждено прожить всю заграничную жизнь. Вот настоящие русские люди. И за ними церковь, единственное нами не утраченное".

Дождь. В чердачной комнате хорошо слышно, как он усыпительно стучит по крыше. Из окна видны лишь ближайшие холмы. Горы дымятся. Дома разбросаны там и сям по капризу владельцев. О, тишина и одиночество горных деревушек: многие жители никогда не ступали за их пределы. Читаю "Детство" Марсель Паньоля, а Коля "Ниву" за 1911-й год. В этом доме это еще настоящее: Государь, гвардия, двор, приемы. А на самом деле бедность, сузившиеся до крайности горизонты, уце-

левшая и торжествующая супружеская верность, где старая жена служит тяжело больному мужу и, скрывая тайную, гложащую тревогу, пытается сохранить в общении со всеми светскую любезность.

Мы с Колей хотим возвращаться домой, сильно простужены, а в верхних комнатах нет отопления. Отапливается только кухня крохотными чурочками. Едем сразу после обеда, не думая, что видим в последний раз Петра Алексеевича.

И вот мы снова дома. Сентябрь лучший месяц на Ривьере. Жара ушла. На смоковнице первые желтые листья и первые золотые смоквы. Уже каждое утро жгут костры на холме против наших окон. Золотой фонтан так хорош на фоне темных сосен. По утрам Коля ездит в деревушку за хлебом. Привозит "pain de campagne" — круглый хлеб. Любит все связанное с прошлым, добротой, бесхитростностью.

Первое дуновение осени. Но еще ярки на клумбе цинии и далии. Собираем первый виноград. В саду зелено, прохладно. Легкая тень оливы слегка колеблется. "Как все тут чудесно пахнет", — говорят знакомые, приезжающие к нам.

Соседское ореховое дерево щедро одаряет нас грецкими контрабандными орехами, которые почему-то падают к нам, а не к своему хозяину. Столовая залита солнцем, оно уже не жжет, а тихо греет. Но мы ждем дождей и тайно им радуемся. Поневоле прекращается работа на огороде, приготовления к будущей весне. Осень дает отдых, возможность творческой работы. И Коля рисует, лепит, внимательно разглядывает свой художественный архив. Кот-бродяга вернулся домой. Все лето прожил Робинзоном в зарослях. Но домашним маленьким шпионом все же остался. Пока мы дома — незрим. Но стоит выйти за калитку, тут как тут, бежит и жалобно вопит: "Куда! Скорей домой!" и путается под ногами. Еще слабо звенят запоздалые цикады. Как-то утром открыла окно и хлынуло осеннее пятнистое, с яркими синими провалами, небо. В шесть часов утра не звонит больше будильник, и Коля не встречает его словами: "Торопись!" или "Надо торопиться!" Зима предвидится холодная: зацвели камыши, мыши переселяются в дом. Но дни еще солнечны. Сегодня после обеда вязала в саду. Дом защи-

щает с севера, у стен тепло.

А по вечерам Коля часто ездит на мотоцикле в город, и я зажигаю лампочку на дворе, жду и прислушиваюсь с замиранием сердца к каждому мотору — ведь теперь живешь, как на войне — каждый день аварии. А когда, наконец, заскрипит калитка и Коля радостно позвонит в овечий колокольчик, купленный в горах и заменяющий звонок, я бегу навстречу.

— Почему так поздно? Хорошо, что вернулся.

— Во-первых, здравствуй. И, помолчав: — Привез тебе печальную весть. Петр Алексеевич скончался в Андоне. Похороны будут тут. Езжай завтра к Татьяне Сергеевне.

Поднимаюсь по лестнице к Волжским. На звонок выходит Таня.

— Неужели это правда?

— Да, правда.

Мелкие слезы блестят на ресницах. Она их смахивает. Я в кухне вдвоем с Машей. "Так тебе рады. Посидим снова, как тогда".

У Маши на лице торжественная решимость: надо поддерживать сестру. Надо, чтобы прежняя жизнь продолжалась. Надо, чтобы так же, как и в былые годы, были вокруг люди.

И снова был сентябрь. Наш священник, о. Петр, затеял паломничество в Бари к Святителю Николаю. Таня, Маша и я решили ехать. И вот ясным утром двинулись в путь. На столбик, у входа в автобус, была прикреплена икона Св. Николая. Всю дорогу она нас осеняла. Над серебристо стеклянным морем поднималось солнце. Пляжи были пустынные. Только у берега кружились чайки.

В полдень о. Петр читал акафист Св. Николая, и все мы, и члены хора, и безголосые, пели: "Святителю, отче Николаю, моли Бога о нас".

Проехали итальянскую Ривьеру. Пляжи кончились. Горный пейзаж дик, суров и сколько повсюду старых великолепных деревьев.

— Знаешь, мне тут нравится; не люблю пляжей, толкучки. Для меня лучше Андона и тишины нет ничего, — сказала Маша.

— Не знаю. Драгоценные камни Парижа тоже прекрасны,

— отвечаю я.

— Вера права, да и ты, Маша, без гостей и кухонной возни прожить дня не можешь. Какая же тут тишина?" — вмешалась Таня.

Перед автобусом медленно едет и не дает перегнать телега. На ней клетки с кудахтающими курами, а наверху, как завершение всех сельских радостей, две "бонбоны" с вином.

На следующий день голубые холмы, прозрачность воздуха. Мы в Тоскане. Привал во Флоренции. Идем тесной толпой в Santa Maria di fiore. Смесь белого и черного мрамора. Храм огромен. "И негде сосредоточиться, помолиться, — говорит о. Петр. — Это все внешняя красота, земная. Художники писали Мадонну со своих возлюбленных. Нам чужое!"

Потом пейзаж меняется. Приближаемся к Риму. Затор в 23 километрах от города — впереди автомобильная катастрофа, четверо убитых. Полиция. И тут же, в сухой выжженной траве, как века тому назад, стада баранов, собаки — живое.

Жить будем в католической семинарии. Огромный двор. Много молодежи с чемоданчиками. "Настоящий улей", — говорит Таня. Ее измученное лицо посветлело. И, как в прежние годы, старательно переодевается, взбивает волосы.

— Радость жизни к ней возвращается, — говорит Маша.

Вечером ужинаем в большой столовой семинарии. На следующее утро едем в собор Апостола Павла. Собор как бы уже в предместье. Особенно прекрасны витражи из золотого мрамора разных тонов. В то время, когда строилась церковь, еще не умели делать цветного стекла, резали тончайшие слои мрамора и соединяли в причудливых сочетаниях. И от этих золотых витражей золотой отблеск лежит на всем. Из собора идем обедать.

Обед — отдых. После обеда осматриваем катакомбы Св. Каллиста. Останавливаемся на Аппиевой дороге.

— Здесь апостол Петр встретил Христа, шедшего снова на Распятие, — говорит Маша своим низким бархатным голосом, который вас словно гладит.

Вокруг катакомб кипарисы, мимозы, радостный юг. Слышны все наречия мира. Спускаемся вниз. Крутая лестница, полутьма, в стенах — гробницы. Здесь хоронили замученных в Колизее. А вечером, в нашей маленькой комнате, Маша внезап-

но вспоминает юность: "Как-то, собравшись большой компанией молодежи, мы придумали игру: каждый должен был ответить на вопрос: — В какую эпоху хотели бы вы жить? И, не колеблясь, я ответила: — В эпоху Нерона, чтобы меня замучили и похоронили в катакомбах. А теперь вот вижу и Колизей, к которому в юности часто возвращалась в мечтах, и Аппиеву дорогу, и катакомбы. Какая для меня милость дожить до этого дня! Но тогда друзья посмотрели на меня, как на сумасшедшую: "Что за чушь ты несешь! Или ты рисуешься, или просто дикая!" И я смутилась, замолчала и больше уже никогда этой мечты не открывала. А вот теперь, в старости, всё это вспомнилось. Вы смеяться не будете?

— О, нет. Я понимаю, ты всегда была особенная, — говорит Таня.

Потом держим путь на Неаполь.

На горизонте, в дымном тумане появляется Везувий. Решено посмотреть Помпею. Безжалостное солнце жжет. Уцелевшие дома розоватого цвета. Видели отверстия в крыше, откуда стекает прямо в бассейн такой редкий, такой здесь благословенный дождь. А в общем Помпея безрадостна. Уезжаем с облегчением. И снова радуется мирная жизнь: крохотный ослик тащит тележку с коробкой больше его. Погоняет шустрый мальчишка.

Едем прямо в Бари. Приезжаем к вечеру. Ищем русскую церковь. Встречает нас священник о. Игорь. Одного взгляда достаточно, чтобы узнать бывшего храброго офицера. Держится прямо, худ, быстр и точен в движениях. Очень радуется, что наконец в его церковь, где всего восемь прихожан, приехало столько народу. А после молебна нас ждет сюрприз. Матушка угощает алыми, хрустящими ломтями арбуза, утоляющими жажду. Живем в католической семинарии, в новом городе. Старый Бари, где Базилика Св. Николая, стоит на берегу Адриатического моря. В семинарии чистота — монастырская. Ужин раздают молодые девушки: макароны, две рыбки, салат, сыр и фрукты. На следующее утро едем в Базилику. Гроб Св. Николая покоится в нижней полутемной церкви. Гробница отделена решеткой от церкви. Над гробницей алтарь с иконой Божьей Матери. В алтаре полукруглое отверстие: вход в гробницу. Надо стать на колени и вползти внутрь алтаря. В полу

круглое окошечко. Если прижаться к нему, можно видеть, как истекает миро из костей Св. Николая. И ощущаешь дивный запах от его мошей. Два епископа и четыре священника читают акафист. Вечером все исповедуемся в русской церкви, утром общаемся.

— Помню, — говорит Маша, — как в Николин день отец нас водил говеть, как рассказывал житие святого и объяснял нам накануне Рождества, что это не Дед-Мороз, а сам Св. Николай несет детям подарки. И я верила. Помню его доброе, склоненное надо мною лицо. Было так торжественно и спокойно на душе. А вот теперь, старухами мы в Бари". Таня молчит. Но и ее лицо сосредоточено. Обе они смотрят в далекое, навсегда ушедшее русское детство.

Маша была задумчива, светла. Казалось, в этот день она как-то по-особенному ощутила всю значительность нашего паломничества.

— "Это моя первая встреча со Св.Николаем, — сказала она сестре. — Только теперь поняла, что вся моя долгая жизнь прошла под его покровом". И все мы задумались о своих судьбах.

Движемся на север. Наш последний вечер в Риме. Ужинаем втроем хлебом, сыром и виноградом. Потом спускаемся в сад. Сквозь пинии светит полная луна. Сидим на скамейках и регент хора угощает нас огромными ломтями арбуза. Он куплен в Бари. Все мы очень устали, но идти спать не хочется. Может ли быть что-либо прекраснее римской сентябрьской ночи? Где-то вдали вечный город. А тут предместье. Еще недавно бродили стада, стояли лачуги, неосушенные болота несли лихорадку. Теперь здесь прибежище для паломников. Но скоро все мы разойдемся в разные стороны...

В воскресенье уезжаем домой. О. Петр служит малую обедню в автобусе. Потом говорит, что мы еще не раз вспомним все чистое, духовное, что нам было дано...

Прошло несколько лет. Мы еще больше постарели. И вот, уже вдовой, во время общей забастовки 1968 года, хожу на уроки пешком из нашей деревни: шесть километров туда, шесть километров назад. Но идти легко. Шоссе пустынно, как во время войны. Изредка мелькнет велосипед, верный друг военных лет.

Можно идти спокойно, не шараясь в сторону, радоваться необычайной тишине.

В промежутке между уроками зашла к Волжским и осталась обедать. Маша уютно сидит за швейной машиной и шьет передник. Спокойна и рассудительна. Таня переделывает летнее платье. В доме иконы, портреты близких, мир. Заканчивается последняя страница старой России. Впереди неведомое...

"Вот только что Пасха отошла, — говорит Таня, — а уже пора думать о елке. Нас становится с каждым годом все меньше, но как все радуются Празднику. Подарки уже пора готовить. Раньше на Рождество устраивали два приема, а теперь будет только один. Сколько друзей ушло. И близких...". Светлоголубые глаза тускнеют. "Но до конца будем жить, как жили".

Я смотрю на ее седые волосы, сгорбленную спину. Это след пережитого. И это надо принять. И не хочется идти из этой квартиры на улице Моцарта в современный ад.

Вспоминаю и недавнюю Пасху. Маша лишила себя радости стоять в церкви.

"Сколько есть бедных старушек и стариков в Старческом Доме. Сами себе кулич испечь не могут, да и красное яичко где достать? Вот и торгую в Святую ночь. Сколько людей приходят, благодарят: "Без этой продажи ничто бы нам Пасху не напомнило".

На ней белое пальто. Волосы завилы у парикмахера, радостна и оживлена. А у себя в доме сестры весь стол заставили сырной пасхой, куличами. Разливают ликер, сделанный ими в Андоне из своих ягод, и обе сияют. И сколько одиноких, которых никто бы не пригласил в этот день, сидят за круглым столом.

Забастовка 1968 года оказалась только репетицией. Развалить налаженную жизнь не удалось. И продолжались встречи с Волжскими, елки на Рождество.

Но время летит быстро. К старости все быстрее и быстрее. И неизбежное, которого никто не хочет, ждет нас за углом.

Таня стала слабеть. Принимая гостей, только делала вид, что ест. И все худела. А когда пекли блины, Маша мне сказала: "Она только один блин съела, да и то за компанию". И забота

омрачила лицо. По воскресеньям, в церкви, Маша подходила ко мне после обедни и говорила: "Едем к нам обедать. Дома грустно. Таня так похудела, что юбки английскими булавками в талии скалывает. А доктор ничего не находит".

Обедали втроем в кухне. Таня старалась помочь сестре, как и раньше. Но все уже было иное. После обеда Таня, считавшая раньше неприличным (и признаком старости) отдых, теперь засыпала. Мы с Машей мыли посуду, потом шли в гостиную. И Маша горько сказала:

"Что такое счастье понимаешь по-настоящему, только его потеряв".

"Поправлюсь только в Андоне", решила Таня, и они уехали. Приходили бодрые письма. Но в воскресенье, когда я отсутствовала, а Маша мне звонила целый день, к вечеру я узнала, что Тане стало плохо и Маша привезла ее домой. А ночью она дважды упала с кровати, и Маша ее подняла, надрывая больное сердце. На следующий день Таня уже была в госпитале. Я звонила Маше каждый вечер. Ее голос звучал глухо. Она только сказала: "Дело идет к концу".

На похороны собрались все немногочисленные друзья. На Маше было черное платье и вуаль, которую уже никто не носит.

Я ей телефонировала каждый вечер. Большая пустая квартира. Не о ком заботиться. И Маша перестала готовить для себя. Я ее позвала обедать. Декабрьский день был светел, радостен, дом залит солнцем.

"Как у тебя хорошо", — сказала Маша. И я вспомнила ее темную квартиру. "И я буду снова есть настоящий обед". И я поняла, что Маше лень теперь готовить и она голодает. И еще одно меня удивило: она никогда не говорила о юности, а тут стала рассказывать про эвакуацию из Одессы, жизнь на Принцевых островах, помощь ее отца беженцам. "А завтра Николин день, 19-е декабря. Поеду в церковь, там легче". Я в церковь не поехала. А в полдень, без стука, вошла наша общая подруга. Ее всегда спокойное лицо было неузнаваемо.

"Только что на моих руках скончалась Маша. Я хотела ее отвезти в церковь. И вдруг увидела: она спускается по своему переулку, держась за стены. Я ее отвезла домой. В передней она выскользнула из моих рук, упала. Все было кончено".

Тогда я подумала: "Первой встречей Маши со Св. Николаем было паломничество. А последней — смерть".

Опустела квартира на улице Моцарта. Но моцартовского "Реквиема" в память обеих сестер никто никогда не сыграет. Пусть эти строки останутся вместо него.

Екатерина Таубер

ФРАНЦИЯ

Холодные, печальные закаты
Над одиноким золотом полей,
И странное предчувствие утраты,
Последних дней, скупых и бедных дней.

О, Франция, как поздние Афины,
Великие предания храня,
С глубокой грустью, с мудростью старинной,
Задумчиво ты смотришь на меня.

С глубокой грустью... Все, что от Европы
Еще осталось в мире, это — ты.
Вокруг тебя — растущий гул и ропот,
Хор голосов из смутной темноты.

И только здесь, и только над тобою
Вечерние сквозные облака,
И тишина, и небо золотое,
И Женевьесвы тонкая рука.

Георгий Раевский, 1947

Был освещен торжественный фасад
Парижской оперы. И был высок, велик
Триумф крылатых муз, божественный парад.
Я помнил те венки, простертые в закат,
И надпись "Poesie Lyrique".

Я жил в Париже целых восемь лет,
Уехал тридцать лет тому назад.
Там жили русские поэты. Больше нет
В живых почти ни одного. Конь Блед
Умчал их в тот, небесный вертоград?

В землище Франции они лежат.
Они писали русские стихи.
Они из-за кладбищенских оград
Кивают мне: Хотелось бы, собрат,
В Россию... А? Да где ж: дела — плохи.

В землище русской? У березок, в ряд?
Нет, вряд ли. И мечтать напрасный труд,
Что наши трупы въедут в Петроград
(Что бронзовые Музы осенят
Храм Эмигрантской Лирики?). Капут.
А вот стихи — дойдут. Стихи — дойдут.

Игорь Чиннов

Гекатомбы, катакомбы,
Ближний, дальний — улюлю!
Я щелчком нейтронной бомбы
Удивлю, так удивлю!

Взять плутония, урана
(Дважды надо взять уран)
И вблизи Альдебарана
Наш очутится баран.

Может, Бог тебе поможет.
Человечество, спасайсь!
Если кто, конечно, может...
Кто не может, не спасайсь!

Кто американ, кто рашен,
Кто алкаш, а кто зека,
Мы с нейтронами отпляшем
Гопака и трепака!

Я живу — смешное дело! —
В стороне от здешних мест.
Эх! среда меня заела!
И четверг меня заест!

Игорь Чиннов

АРЕСТ

ГОСТИ ПОЖАЛОВАЛИ...

1.

Прежде чем перенестись снова в Переделкино, где разгорелись дальнейшие события, я должен сделать несколько замечаний, так сказать, сюжетного характера для того, чтобы читателю все было ясно.

Первое: после "собеседования" с Сусликовым, Кутырев, выйдя с портфелем и корзинкой из здания ЦК к поджидавшей его "Волге" (ее вызвал из "цековского" гаража Куц), сказал шоферу, что он предпочитает пройти пешком до станции метро и "подумать" о том о сем, а затем уже на метро добраться до Киевского вокзала и уже дальше на электричке до Переделкино. Когда он сказал это пожилому с глубокими прорезами над носом шоферу, тот понимающе кивнул головой и пожелал ему счастливого "выздоровления".

— Выздоровляйтесь, — поощрительно и как-то привычно произнес он.

Андрей поначалу не понял его, но тут же, спохватившись, сказал:

— Да, да, я забыл... у меня же корь на груди высыпала... Шофер рассмеялся.

В буфете Киевского вокзала Кутырев пропустил сто граммов водки и закусил бутербродом с кетовой икрой, от которого у него вскоре началась изжога. Дождавшись электрички, он на ней прибыл в Переделкино. До дачи было минут пятнадцать пешего

хода, но он прошел этот путь за час, идя медленно, останавливаясь, оглядываясь по сторонам, срывая полевые цветы, что-то мурлыча себе под нос и, от времени до времени, произнося "пам-пам-пам..."

Дома он сразу же юркнул в свою комнату и заперся в ней, ни с кем не перекинувшись даже единым словом, хотя Ирина и прежде всего Клара, конечно же, хотели узнать, чем закончилось его посещение ЦК. Но именно поэтому Андрей и заперся, что-то промышав через дверь. Он старался избежать прямых ответов на вопросы и боялся взглянуть в глаза Кларе. Это было в нем настолько сильно, что подавляло естественный и достаточно существенный интерес к тому, чтобы, в свою очередь, задать Кларе вопрос о том, как третья копия его романа, находившаяся у нее, попала в руки КГБ.

Тот факт, что Андрей Алексеевич в кабинете Сусликова выступил против собственного романа, был чудовищной психологической абракадаброй. И ведь случилось все спонтанно. Кутырев ехал к Сусликову, захватив клубнику и вино, с намерением "подсластить" пилюлю, то есть "сгладить" свой решительный отказ принять критику вышестоящих органов и драться за роман "до последнего". На деле вышло совсем иначе. И теперь он уже ясно сознавал, что на деле вышло черт знает что, и он постыдно оттягивал момент, когда вся эта история сделается публичным достоянием, понимая, что долго он оттягивать этого не сможет.

Ночью ему приснились сперва Сусликов и Куц, и оба гладили его по голому животу и приговаривали: "Сопrotивляйся, Шекспир! Нам нужен ре-зо-нанс!", а потом приснился Фадейкин-Пырьков, поддавший ему острым носком туфли под зад, больно ударив по копчику и сказав: "Скоморох!" Кутыреву еще приснилось, что он засунул отцовскую двустволку в рот и выстрелил, но из ружья вырвалось лишь облако ДДТ и лишь опалило ему глаза. Наконец, приснилась Клара, она сорвала с Андрея "чепчик" и с хохотом воскликнула: "Посмотрите, этот старпер не Кутырев, а Грета Гарбо!" От этой фразы у него перехватило дыхание, он почувствовал в сердце спазму и проснулся в холодном поту.

На следующий день, рано утром, сделав свои гимнасти-

ческие упражнения, взяв с собой гантели и удочки, он выскользнул из комнаты, выпил на ходу стакан вина, закусил куском черного хлеба и отправился через овраг к плотине, на рыбалку.

Увы и ах, нам, советским писателям, это тоже весьма свойственно. Мы любим и мы умеем страдать оттого, что нам поминутно приходится уступать, соглашаться на компромиссы или даже отказываться от самих себя. Да, это нам свойственно. Это наше, так сказать, "альтер эго". И мы, порой, страдаем всерьез, особенно после того, как очередное подлое дело сделано. Бывает, мы получаем инфаркты, удары и просто протягиваем ножки. Но чаще мы вроде бы замыкаемся, исчезаем с поля зрения как властей, так и общественности, проводим недели, а то и месяцы где-либо на рыбалке или на охоте за куропатками, отдаваясь прелестям вечной природы. Мы умеем страдать до полного изнеможения. И кто знает, в какое качество перешли бы эти тонны истинных и деланных страданий, если бы перед нами на стене не светились бы навечно начертанные слова: "Плетью обуха не перешибешь". Если говорить честно, то страдаем мы, разумеется, и по расчету — это выглядит как что-то вроде сделки с дьяволом. Я, мол, пострадаю, а ты, черт, мол, дай мне взамен право на возврат к жизни. Замечу, что на страдающего, то есть близкого к раскаянию писателя, у нас смотрят не так уж косо (об этом ведь сказал и Сусликов), ибо за таким остается все же слава страдающего, то бишь получестного или полужертвы. И это не так уж плохо. С клеймом страдающего и одновременно жертвы в наши новые времена (не при Сталине) мы можем даже двигаться вперед и даже создавать, по призыву партии и правительства, произведения достойные нашей великой эпохи.

Приведу в пример опять же и себя. Собственно, я об этом уже упомянул. О своем "порочном" рассказе. Но мы с Кутыревым страдали не одинаково. Если его страдания весили, скажем, тонну, то мои — килограммов двадцать пять, потому что его проработали за целый роман, а меня только за рассказ, да и потому что я все же рангом ниже Кутырева в соответствии с утвержденными в ЦК табелями о литературных рангах.

И, страдая, я на рыбалку не ездил. Я сидел дома и читал "Трех мушкетеров" Александра Дюма.

А Кутырев удил рыбу и удил ее у плотины, где, кроме лягу-

шек, ничего не водилось. Он сидел на бетонированном мостике и, нет-нет, а приговаривал самому себе: "А ты, Андрей, в общей сложности полное ничтожество. Так — сопля". Ему понравилось сочетание слова сопля с приставкой так, и он чуть ли не нараспев повторял: "Та-ак — сопля-я". И затем он начинал энергично вращать языком за обеими щеками, и, поднимаясь с бетонированного настила, брался за свои неизменные гантели.

Второе замечание сюжетного характера: Сусликов оказался прав по поводу Фадейкина-Пырькова.. После похорон Латышева, которые состоялись на следующий день после встречи в ЦК, днем, он быстро пришел в себя и к вечеру уже был в своей обычной форме, то есть и стопроцентным ортодоксом и в стельку пьяным, что у него было взаимосвязанным. Между прочим, как велел Сусликов, собралось очень мало народу, большинство из нашего брата сразу поняло, что это по типу не те похороны, на которые надо являться без опоздания, как на закрытые партийные собрания. Мы же хорошо знаем, что идти на похороны самоубийцы рискованно; ведь власти могут предположить, что ты из "думающих" или даже "недовольных", то есть "диссидентов". Собралось человек десять-пятнадцать, заглянули какие-то случайные люди с улицы Воровского, где в Доме Литераторов и стоял гроб. Конечно, и Кутырев на эти похороны не поехал. И Светозара на них не было. Да и Рощаля; он препочел ранний обед в ресторане "Националь", где он съел свою заведенную "котлету де-валяй". А Иван Фадейкин-Пырьков появился трезвый и хмурый. Он сел на стул подле гроба и просидел четверть часа, опустив голову на руки. Далее он встал, подошел к покойнику и, к великому удивлению присутствовавших, потянул своим с полипами носом, поцеловал Латышева в синие провалившиеся губы и громко сказал: "Прощай, Сашко!", произнося имя самоубийцы почему-то на украинский лад, хотя Латышев украинцем и не был. Однако на кладбище Фадейкин-Пырьков не поехал, так что остальное уже было обделано сотрудниками Литфонда, которые у нас от начала до конца ведают погребениями "инженеров человеческих душ", установлением могильных плит, бюстов, памятников и т. д., также в соответствии с утвержденным в ЦК табелем о литературных рангах. Кто-то мне говорил, что Латышева похоронили на клад-

бише где-то у черта на рогах, в Перловке, потому что за него не хлопотали и на близлежащих кладбищенских хозяйствах места не нашли.

Таким манером Фалейкин-Пырьков и вернулся на стезю "научного социализма".

Третье замечание касается Тенгиза Тавардклиладзе. Дело в том, что после того, как Кутырев вручил ему вторую, я подчеркивал это, вторую копию романа "Годы и Люди" и попросил его переправить ее в горы Сванетии, дедушке Гигия, Тенгиз, уехав из Переделкино в Москву, быстро собрал свои вещи и в ту же ночь хотел лететь домой в Тбилиси (он даже заказал такси в аэропорт Внуково). Было очевидно, что он основательно перепугался, что может пострадать из-за Кутырева и предпочел умыть руки. Я уже писал о том, что у нас в Литературном институте Тавардклиладзе не считался "якобинцем". Однако он не улетел в ту же ночь в Грузию. Больше того, он не улетел и на следующий день и просидел в "Гранд-Отеле" еще целых два дня и затем вдруг, ни с того ни с сего, взял и опять приехал в Переделкино. Появился он на даче Кутырева-Светозара одетым, только вообразить себе, в белую черкеску, с костяными газырями на груди и с кинжалом у пояса, которая к нему очень шла.

Последнее замечание: Клара все эти дни была в состоянии эмоционального кризиса. Она предчувствовала, что Кутырев в ЦК скиснет и слает позиции, даже откажется от своего романа (что он и сделал), хотя перед поездкой на Старую площадь он и сказал ей: "Я им там утру нос. Я им покажу, где раки зимуют!" Клара уже достаточно хорошо изучила характер Кутырева, и ее опасения не рассеялись от его уверений, ну а дальше поведение Андрея, то, что он начал избегать встречи и разговора с ней, что было крайне нелепо, каким-то мальчишеством, лишь подтвердило ее опасения. Это были тяжелые переживания, так как за ними скрывалось и то, что Клара внутренне продолжала упрекать себя за то, что она вошла в интимные отношения с Кутыревым исключительно из-за его романа, или преимущественно из-за этого, что выглядело, конечно, недостойной духовной комбинацией. Тем не менее, от правды никуда нельзя было деться: судьба романа "Годы и Люди" волновала ее больше всего остального. Это стало миссией всей ее жизни. Она была рада,

что ей удалось в конце концов убедить Евгения рискнуть и взять рукопись Кутырева в Париж. Не спросив разрешения автора, она вручила ее мужу, а он, прочитав ее и, как ни странно, одобрив, спрятал ее где-то, до отлета за границу. Клара еще не знала, что эта третья копия каким-то образом попала в КГБ. Она не знала этого, и она, разумеется, не знала ничего о том, что же именно Кутырев сказал Сусликову и что Сусликов сказал Кутыреву. Слухи только-только начали курсировать по Москве и еще не достигли ее ушей.

На похороны Латышева Клара не поехала, несмотря на то, что ей хотелось это сделать и этим поступком бросить вызов властям. Однако она рассудила, что более важно сидеть на даче в Переделкино и следить за развитием событий в непосредственной близости от Кутырева.

2.

Бочонки на обеденном столе все еще были с вином. Да и в коньячных бутылках оставалось что выпить. Так что алкогольная фантазмагория продолжалась и, от случая к случаю, почти все, поднимающиеся или выходявшие на террасу, так или иначе отдавали должное Бахусу.

Время клонилось к шести. Небо покрылось тонкой багряной пленкой и теплые солнечные лучи, последние этого дня, проникали через эту завесу и накладывали на деревья и землю мягкие желтые пятна. (Печально, но я все же не мастер описывать красоты природы. Постоянно сваливаюсь в штамп; первородности во мне в этой области — никакой).

Со стороны Внуковского аэропорта иногда доносились обычные в этот час шумы взлетающих и приземляющихся самолетов.

Клавдия Васильевна, в новом сиреневом фартуке и с засученными до локтя рукавами трикотажной кофты, вынесла из кухни огромную алюминиевую кастрюлю и, пройдя на террасу, поставила ее на стол, открыв крышку. Из кастрюли вырвались клубы пара. Клавдия Васильевна сложила ладони рупором и закричала:

— Борщ! Бо-орщ!

На столе были глубокие тарелки, почти как миски, соль и перец в склянках, плетеная хлебница с черным хлебом, нарезанным толстыми ломтями, и крашенные деревянные ложки, которые до сих пор у нас на Руси употребляются в деревнях.

Гнедых, в своей неизменной позе, сидел в кресле на колесиках, как всегда в старого образца военной форме и с саблей между колен, как всегда свалив голову на бок, то ли в дремоте, то ли в состоянии полной апатии к происходящему вокруг.

— Эй, комбриг! — обратилась к нему Клавдия Васильевна. — Ты бы хоть борщу отведал, старичок, а? Нет, дрыхнет, дрыхнет старый конь, — после этого она повернулась в сторону половины Светозара и крикнула, но на этот раз кокетливо и не так громко и не прикладывая ладони ко рту:

— Борщу-у! Кому борщу-у?

Точно в ответ, на террасу выбежал Ланской, одетый в свою "ленинскую" тройку; в руке он держал несколько листов бумаги.

— Давай его, бовина, — он облапил Клавдию Васильевну, поцеловал в губы и патетически добавил: — О, бездонная!

— Ну что вы, как можно, правдась. Стыдно это, Ленин... — жеманно возразила она.

И налила ему в тарелку борща, пользуясь пластиковой разливательной ложкой. Он, положив листки бумаги на стол, начал его хлебать, и, хлебая, приговаривал:

— Значит, через месяц в свадебное махнем. Гагры или Сочи: по выбору. На Черном море. А сперва мое выступление в Колонном зале Дома Союзов. Правительственный концерт. С шишками в первом ряду. С шишками. Сцена: "Ленин в Октябре". Исполнитель роли Ленина — актер Ланской собственной персоной. Возрождение. Или нет, воскресение. Если понравится богам с Олимпа — получу шикарную квартиру на улице Горького в новых домах, с мусоропроводом и с гаражом. Вот работаю над текстом, репетирую, вхожу, так сказать, в образ. На первом плане — документальность... — отодвинув тарелку и приняв "позу вождя", то есть вскинув правую руку и левую заложив за кармашек жилетки, он заговорил, "как Ленин", картавя, но темпераментно: — "Товарищи рабочие, крестьяне, солдаты и матросы! Враг окружил кольцом нашу родину. Теперь как никогда нам важно сплотить ряды наших родных Советов рабочих,

крестьянских, солдатских и матросских депутатов!" — сбавив тон, он спросил Клавдию Васильевну: — Ну, впечатляет?

— Ох, бово, вы талант, — у нее на глазах выступили слезы.

— Но, но, без сентиментальщины. Терпеть не могу бабьих слез. Давай-ка, бездонная, выпьем, — он быстро налил два стакана вина: — За что?

За ваш талант, бово.

Пора говорить мне "ты".

Неловко как-то...

Ладно, давай выпьем за Гагры.

За их.

Ланской опять "по-ленински" провозгласил:

— "И не далек тот час, товарищи, когда нашей страной будет управлять кухарка и когда царские дворцы станут все-союзными здравницами!" — Подняв стакан, он уже обычно добавил: — За всесоюзную, бовина!

— За ее, бово.

Они чокнулись и выпили.

— А ну, красавица, плесни-ка еще его, борщу. Ты стряпуха нагляденье. Архикухарка, — спустя немного проговорил Ланской.

Клавдия Васильевна подала ему вторую тарелку. Он взялся хлебать борщ. Она села рядом с ним и не отрывала от него восторженных глаз.

— Чего торопитесь-то? Не на вокзале ведь.

— Да я же лагерник. Забыла что ли, что семнадцать лет на Колыме оттарабанил. По-лагерному и жу. Не исправишь. Смирись, Клавушка.

— Может еще хотите?

— Ну, подлей. Я ныне один. Женька с этой, в кружевах которая, в Москву упорхнул... — Ланской засмеялся. — Вот экземплярчик, толстая и вся в кружевах, и еще академик.

— Противная она, — сказала Клавдия Васильевна, подавая Ланскому третью тарелку с борщом.

— Кто? Эльвира Кмит? Член-корр. Академии Наук СССР, специалист по каким-то ультрачастичкам? Из Новосибирска? Она выдающаяся женщина. Такая бовина, что оного-го-го! Они с Женькой вместе в Париж летят. На форум.

Ланской продолжал есть борщ.

— Вас на мансарду переселили, а ей вашу комнату отдали. Это разве порядок? — сердито буркнула Клавдия Васильевна.

— Да это же временно, на день-два, до их отлета. Светозар повез ее нынче на "День поэзии" в Лужники. Он же там на спортивной арене стихи свои читать должен. На "Москвиче" помчались. Брандмайор и академичка в кружевах.

Знаем мы эти кружева.

Да ты не ревнуй, Клавушка.

Танк она бестыжий, а не академичка. !Обка-то у нее выше колен.

Так она же... девица...

Не оправдывайте ее, сатир! Все мы — девицы.

Люблю-ю-ю! — страстно произнес Ланской и снова облапил и поцеловал Клавдию Васильевну.

В это время с половины Кутырева донеслось бречение на рояле.

— Кто это там музицирует? — спросил актер.

— Кто ж, как не Ирка и грузинец этот, Тенгиз или как его? Приехал он опять. Они там, безобразники, милуются и балуются так, что...

— Педаль на рояле не отдавили? Ну, и то хорошо.

— Нет, мы с вами, бово, по-другому жить будем. Про меж нас ведь настоящая любовь есть. Мне окромя вашей любви ничего ведь и не надо.

— А мне надо!

— Ну, так ведь я не возражаю, а только главное, чтобы настоящая любовь была.

— Не пускай слюней, бовина.

— Правда, правда. Как перед иконой говорю. Бог видит... натерпелась я в этой жизни, ох, и натерпелась...

— Это с первым мужем? По коневодству-то?

— Не только это. Я хочу, чтобы напоследок сердце чистым было, чтобы мы с вами как... как ути жили.

— Какие еще ути?

— А знаете, по вечерам, на Кубани, сидишь и слышишь, как по небу ути летят, — Клавдия Васильевна прослезилась. — Тут в подмосковье они не летают. Не слыхала я тут. А там летают. На

Кубани-то...

— Ути?

— Ути... — Клавдия Васильевна попыталась симитировать шум, который производят в полете утки.

Ланской выпил еще стакан вина, сразу, залпом, как воду, поморщился даже и затем заходил по террасе взад и вперед, бросая неприязненные взгляды на Гнедыха. Потом он остановился напротив комбрига, приподнял его голову, отнял руку, и голова последнего медленно сползла на прежнее место.

— Кусок мертвячины...

— Да что это с вами, бово? — забеспокоилась Клавдия Васильевна.

Ланской вернулся к ней, пристально посмотрел в ее глаза, придерживая пальцами ее подбородок, нахмурился и сел на диван:

— Ты, утя, значит, хочешь напоследок пожить с чистым сердцем, да?

— Угу, бово, так, чтобы ничего дурного на душе не было.

— А думаешь, это можно? — сделавшись серьезным и понизив голос до шепота, он заговорил так, как будто бы ему надо было признаться в совершенном преступлении, без пауз, достаточно порывисто и энергично. — Вот, утя, я тебе сейчас первый свадебный подарок отвалю. Ты сама напросилась. Так что не протестуй. Чистой монетой я тебе выдам. Только ты постарайся понять, Это надо. Надо понять. Для нашего с тобой будущего. Для нашего с тобой счастья. Для того, чтобы на сердце чисто стало, Это будет как бы первым вкладом в наш супружеский союз, Это для фундамента. Слушай внимательно. Я не пьян. Я тебе всю правду открою. Так вот... Евгений Светозар — курва. Курва.

— Это я знаю...

— Погоди. Он густопсовая курва. Но и я курва. И тоже густопсовая. И вот этот комбриг, этот труп с ромбами — тоже курва. Конспективно: Евгений ненавидит своего пахана за то, что тот вернулся из ссылки безо всякой психологической нагрузки. Так сказать порожним. Женька хотел бы, чтобы тот вернулся из Колымы полностью разуверовавшимся в Советской власти, ибо сам Светозар ее не очень долюбливает. Ребус? Ребус. А точнее тоненький духовный узорчик. Боюсь, ты не сумеешь этого по-

нять, со своими спермо-конскими мозгами. В противоположность внутренне скрытым политическим убеждениям, будучи великим оборотнем нашей эпохи, Женька накатав поэму "Родитель", в которой представил отца — могиканином большевизма. Он расписал в поэме, как Гнедых в лагере особого режима организовал партийную ячейку, как он пропагандировал там идеи Ленина, как собирал партийные взносы и отправлял их в фонд помощи фронту, это во время войны с Гитлером, как читал для других классиков марксизма-ленинизма, словом — оставался верным КПСС.

— Ну, и что же из того? — напрягая все свои умственные способности, спросила Клавдия Васильевна.

— Враки это! Обман! Авантюра! Афера! Происки Антанты и сто прочих дьяволов! — с жаром воскликнул Ланской. — Ты же видишь, каков комбриг. Он на свободу вышел с полным разжижением в котелке. Ему что угодно припиши — слова не скажет. Вот сыночек, поэт, ляпун, литературный спекулянт всех эпох, и приписал то, что ему было выгодно, то, что требовалось конъюнктурой, то, что работало на его собственную карьеру. Он же, Женька, барометр, ртутный столбик, зараза. Ну, и вот, Клавушка, утя ты моя ненаглядная, случайно прочитал я его поэмку в журнале "Октябрь", ну, и настрочил автору письмецо. Так, мол, и так, уважаемый товарищ Светозар, вы имеете мировую известность, а отец ваш, комбриг Гнедых, с кличкой "Сабля", является моим корешом, мы с ним вместе в одном лагере жили, в одном бараке спали, долгие годы одних вшей кормили. И написал я Светозару, что пахан его состоял у коменданта лагеря в стукачах, то есть был доносчиком, а по-нашему "ухом". Ну, и я был в бараке "ухом". Оттого и знаю я про Гнедыха. За нашу информаторскую работенку нам к регулярной пайке секретно прибавка шла. Жрали мы чуток получше других. Вот что. Инстинкт, Клавушка. Никуда от него не денешься. Не до большевизма, не до идей, когда в брюхе концерт из похоронных маршей. Байки о героях в лагерях — это хреновина. Не было в лагерях героев. Не было несгибаемых. Святой Житницын говорит. были. А я говорю — не было. В сталинских исправительно-трудовых лагерях, Клавушка, миллионы доходяг и "ухи" жили.

— А что же... что потом было? — покраснев от прилива

крови к голове, Клавдия Васильевна облизала сухие губы.

— А что потом было? Ясное дело, что потом было. Письмо мое к Евгению без ответа осталось. Только я, не будь дураком, в Москву выбрался, в командировочку. Экспедитором я тогда работал на Братской ГЭС. Домой к себе на Дмитровку не поехал. Зачем? Я давно уже знал, что жена от меня отказалась и вышла за какого-то балеруна сразу после моего ареста. В те годы такая мода была. Я сюда на дачу к Светозару подался. Нашел Женьку и припер его к стенке. Выложил ему все как есть. И доказательства привел. А одно неоспоримое. Урки, то есть уголовники, в лагерях, как правило, стукачам специальную татуировку делают. Вот у меня и у Гнедыха на груди изображение. Особое. Нет, показать не могу. Нельзя. Разве что потом, после свадебного путешествия или во время этого путешествия. Словом, половой орган в натуральную величину они на груди изображают. Да, да, утя, не смущайся, половой орган. И в вертикальном состоянии.

— Ой, да что вы... да как можно...

— Короче, припер я Женьку, суку, к стенке. Шантажнул его. И контрибуцию потребовал: выхлопотать мне разрешение на въезд в Москву и вернуть мне все мои утраченные блага. За это обещал ему — молчание. Вот он и хлопочет. И, как видишь, бовина, не без успеха. Я же ша, набрал в рот воды. Живу пока что на его иждивении, при нем как бы...

— А Клара что же?

— А что Клара? Она ничего этого не знает. Только называет мои с Женькой отношения кабалистическими.

— Это чего такое... кабалистические отношения?

— Понятия не имею.

Ланской обмяк, вобрал голову в плечи, словно выдохся и на все махнул рукой. Немного погодя он добавил безразличным тоном:

— Да-а, это тебе, бовина, не конскую сперму консервировать.

— Не ее, — понуро сказала Клавдия Васильевна.

— Ну, я пошел...

Ланской встал с дивана, взял со стола листки бумаги и направился с террасы вниз, собираясь идти в сад.

— Куда ж вы, Ленин?

— Куда-куда, — огрызнулся он, потом, улыбнувшись и успокоившись, произнес. — Головой в омут брошусь, утя. Э-эх, а ты хочешь, чтобы на сердце чисто было.

Да разве тут ваша вина?

— Нет! Это происки Антанты и всех прочих чертей! — перебил ее актер. — Ладно, поговорили по душам. Будет. Я не из породы ноющих интеллигентов. Ты за мной не ходи. Руки на себя не наложу. Не бойся. Я просто поброжу малость. Постараюсь в роль Ильича получше вжиться, — и, адресуясь к Гнедыху, он добавил: — Что "Сабля", соврал ли я хоть единое слово, а! Клавдию обвиняй, бовину, это она меня взяла и как серная кислота на ржавый металл подействовала, она и ее кубанские ути... И вот что, Клава, ты... ты обдумай все, что я тебе поведал. Еще есть время послать "всесоюзную здравницу" к чертям собачьим. И меня заодно. Поняла? Ты ведь не то, что я, у тебя за спиной только и грехов, что консервация конской спермы.

— Почем вы знаете, бово? — почти с вызовом вдруг произнесла Клавдия Васильевна.

— А, знаю, знаю.

Ланской ушел в сад, а она энергично заходила вокруг стола, поправляя тарелки, ложки, соль, потом со слезами на глазах она опять вышла на середину террасы и опять, приложив ко рту обе ладони, во все горло, уже с нотой протеста и отчаяния, закричала:

— Борщ! Борщу-у! Бо-о-орщу-у!

Она хотела вернуться к себе в кухню, но вместо того остановилась подле Гнедыха, взглянула на него как-то особенно, так точно прикидывала посмотреть ли на то, что у него на груди вытатуировано или нет, однако, почмокав губами, она лишь встряхнула комбрига за плечи раз, другой, третий. Он, неожиданно, вздрогнул всем телом и слегка приоткрыл глаза. Тогда Клавдия Васильевна налила в тарелку борща и с ложки, как ребенка, стала кормить его. Он, по-стариковски, проглатывал жидкость, часть которой проливалась ему на одежду. Зрачки Гнедыха постепенно начали оживать, а на губах появилась благодарственная улыбка.

— Ешь, ешь, сивый мерин, — приговаривала Клавдия Васильевна и совала ложку с борщом комбригу в рот.

В этом месте я хочу воспользоваться правом автора и оборвать эту сцену, чтобы сделать несколько замечаний по поводу разговора, только что происшедшего между Ланским и Клавдией Васильевной. Уже после того, как вся эта история закончилась, я встречался с актером лично, и мы с ним откровенно обменялись мнениями. Он показался мне человеком правдивым, в котором, тем не менее, жили и паталогический циник и искусный лицемер. И все же я ему поверил и мне думается, что версия о том, что комбриг Гнедых был в лагере стукачом, соответствует действительности. И я сразу согласился с ним по поводу того, что в советских концентрационных лагерях героев не было, а были доходяги и "ухи". Нет, я сам в этих лагерях не сидел. Меня каким-то чудом пронесло, хотя я и был исключен из комсомола в 1939 году, но в следующем 1940 восстановлен. Однако все то, что я слышал от других, то есть сидевших и прошедших эту суровую школу сталинской жизни, свидетельствовало о том, что жернова пролетарского террора поголовно перемалывали людей, превращая их в подонков. Ланской был не прав, сославшись на Житницына, потому что последний в своей повести о ЗК и не изображал героев, а показал только одного русского, который, обладая великой силой духа, старался выжить, прославляя инстинкт выживания в противоположность инстинкту смерти. Правда, я знаю одну историю о "красном военачальнике", который во время следствия не выдержал и ударил своего "инквизитора" по физиономии так, что у того из носа брызнула кровь. "Инквизитор", ни на секунду не задумавшись, выхватил наган и застрелил гордеца, отстаивавшего свою честь, за что "инквизитора" посадили на гауптвахту только на десять суток, а после того вернули к прежней "работе". Гнедых явно был не из такого рода "красных военачальников". Так что и тут я поверил Ланскому. Я поверил ему и тогда, когда он признался в своих "злодеяниях", открыв свое позорное лагерное прошлое Клавдии Васильевне из-за того, что она упомянула об "утях". Собственно, эти "ути" спровоцировали его на откровение. Ведь и в самых падших людях сохраняется какой-то уголок где-то в сокровенных частях сердца,

в котором теплится надежда на новое и чистое. В данном случае я не говорю о лагерной действительности. Вот и Ланской в своем влечении к "бовине" пытался начать жить по-новому, хотя он и понимал, что это невозможно и продолжал одновременно оставаться циником и лицемером и насмехался над собою. Такое сочетание весьма типично для нашего века, как я уже заметил, с множеством невероятных и противоречивых обстоятельств, которые и приводят к духовным суррогатам и деформациям. Наиболее удивительное в Ланском было, на мой взгляд, то, что он совершал свой внутренний аттракцион как бы под физической эгидой ленинского образа, в который он уже достаточно основательно вошел. Это придавало всему символический оттенок, что-то глубоко ироническое и даже чуть ли не историческое.

(Ну и, разумеется, все это в Ланском обострялось и преувеличивалось винными парами).

Что же касается борща, то борщ у Кутыревых и на деле был постоянным фактором, чем-то вроде дежурного блюда. В Переделкино о нем сложили балладу. Выходило так, что этот борщ почти круглые сутки находился на обеденном столе; как только он остывал, Клавдия Васильевна уносила алюминиевую кастрюлю на кухню — подогревать, а как только борщ съедали, она готовила новый. И так же, как в случае с вином, каждый, кто оказывался на террасе, нет-нет, даже не желая того, съедал тарелку-другую борща, заедая черным хлебом. Говорили, что борщ был здесь и на завтрак, и на обед, и на ужин. В Переделкино его называли "Кутыревской тюрей". Это было несправедливо, так как борщ всегда был сваренным на совесть, со свежей капустой, помидорами и, конечно, куском хорошей говядины со специальной, необходимой для вкуса костью.

3

Ирина, с распаленным лицом и ярко горящими глазами, в легком цветастом платье, с взлохмаченными волосами, сидела прямо на рояле, положив руки на плечи Тенгиза, который стоял перед ней в отлично сшитой белой черкеске; на ногах его были плотно облегающие икры кавказские сапоги. Как я уже заметил,

на груди его выступали костяные газыри, а на поясе болтался кинжал в серебряных ножнах.

А теперь скажи: "Я не люблю Нуцу!" — голос Ирины звучал повелительно.

Я не люблю Нуцу!

О'кей. А теперь скажи: "Хочу тебя!"

Хочу! Хочу!

Ну, тогда целуй меня, чукча.

Тенгиз порывисто обнял ее и впился в ее губы; затем он страстно произнес:

Ух, шен генацвале! Вот это женщина! У-ух!

— Колючий. Когда брился?

— Утром, утром, генацвале. Детка, можно я закрою дверь на ключ?

— Ты что хочешь, чтобы я тебе отдалась? Ну, что ж... Нет, постой... сначала скажи мне... собственно как это... как это с тобой произошло, что ты... Короче, как ты пришел к мысли о том, что жизнь твоя дала трещину?

Не трещину, а целое ущелье. Дарьяльское. Пропасть.

И надолго?

Навсегда.

Ух ты! А может быть, завтра ты протрезвеешь и запоешь свою прежнюю песню: "Хороша страна моя родная..."

Ара! Ара!

Нет?

Нет!

Но как же... как ты прозрел?

Как я прозрел? Сам не знаю. Ей-богу, не знаю...

Бекицер.

Хорошо, я объясню, но только... сначала я закрою дверь на ключ.

— Не торопись. А, ну, покажи еще раз этот трюк с кинжалом.

— Пожалуйста, генацвале.

Ловким движением правой руки Тенгиз выхватил из ножен кинжал и, поставив его острием на ладонь левой руки, закрутил его как волчок.

— Шедеврально!

— Это умеет делать каждый настоящий грузин.

— А ты настоящий?

— Теперь да!

— А раньше был фальшивым?

— Раньше я был послушным, раньше я писал то, что от меня требовали партия и правительство, раньше, дорогая, я был первым помощником ЦК на идеологическом фронте. Рычагом. И ни о чем другом я не думал. Человек ведь может привыкнуть ни о чем не думать, Это даже удобно.

— Это ты прав.

— Раньше я был уверен в том, что, как член КПСС, я имел убеждения и принципы. Раньше я был уверен в торжестве наших идей. Раньше я не говорил самому себе, что я подлец.

— А теперь?

— А теперь я говорю себе: Тенгиз, ты подлец! Теперь я говорю себе: Тенгиз, ты подлец, потому что ты писал неправду, потому что ты врал. — Тавардклидзе вложил кинжал в ножны и, встряхнув головой, добавил: — Так что я теперь стою на пороге личной катастрофы, так же, как ваш отец, генацвале, и многие другие. Ирина, вы секреты хранить умеете?

Тенгиз отошел от рояля и сел на край софы.

— Я склеп.

Она соскочила с рояля и, пошатываясь, приблизилась к Тавардклидзе, опустилась на софу, рядом с ним, и обняла его левой рукой.

— Понимаете, Ирина, я ведь прочитал новый роман вашего отца, — прошептал Тенгиз.

— Ах вот что... он дал тебе копию? Зачем?

— Тс-с-с-с. Никому об этом ни слова. По просьбе Андрея Алексеевича я переправил роман в горы Сванетии, на вечное хранение. Понимаете, мой знакомый вчера улетал в Тбилиси, и я послал рукопись с ним.

— Вот так так. По просьбе отца?

— Да, конечно. Я же сказал.

Смотри, пожалуйста, мой папунчик осмелел.

Мой знакомый надежный человек.

А до того ты прочитал роман.

На свой страх и риск.

И что же ты в нем обнаружил?

Правду.

Неужели?

Понимаете, Ирина, это честный роман. Честный. Он о нашей жизни. Но это написано честно, без тенденции. И потому это потрясает. Прочитав этот роман, я понял, что я...

— Что ты высасывал свои книги из пальца?

— Да, я высасывал их из пальца. Ирина, почему я не пишу то, что действительно происходит у нас в жизни?

Потому, что ты трус.

Да, я трус.

Подлец должен быть трусом.

Ах, я сойду с ума, как мой дядя.

Нет, трусы с ума не сходят.

Откуда вы знаете?

Гарантирую. Впрочем, если по наследственности...

Ирина, все это ужасно! Я должен говорить с вашим отцом. Я хочу спросить его о том, что было в ЦК, на его встрече с Михаилом Сусликовым.

— Никто не знает толком, что там было. Отец прячется. Это, конечно, дурной признак. Он ведь тоже трус. А кто тут у нас не трус? Все трусы. Нет, вот Клара, Кларка, она смелая, она, пожалуй, решится переправить роман моего папунчика за границу. У нее, наверное, есть копия. О, она отважная! Она на все пойдет!

Н-ет, не может быть... это же очень опасно.

Переправить рукопись за границу?

За это посадят.

Думаешь, она не рискнет? Ты, грузин, ее не знаешь. Она же контра. Все мы в душе контры, но она особенная. Она хочет бороться. И у нее много друзей-эмигрантов в Париже. Каким-то образом она связалась с ними. Нелегально переписывается...

— Это смертельно.

Ирина, говоря сначала о Кларе как-то неопределенно, даже, пожалуй, благосклонно, вдруг взорвалась и обрушила на ее голову кучу брани:

— Она отвратительная, двуликая, гадкая, подлая! Она продажная шкура! Дрянь! Дрянь! Ильмас, я ненавижу вас! — вот

мой лозунг.

— Ирина, как я понимаю, вы ненавидите ее за то, что она... сошлась с вашим отцом...

— Не только за это. Не только...

И в довершение ко всему Ирина заплакала.

— Что с вами, генацвале? Успокойтесь, пожалуйста. Не плачьте. — Тенгиз погладил ее по голове.

— Не беспокойся, нацмен, — плача и фыркая, произнесла Ирина, — ты своего дождешься, я тебе отдамся, а поплакать я всегда готова... потому что... потому что я завидую Кларке, — Ирина вытерла глаза. — Понимаешь, у нее есть точка опоры. Контра она или не контра, а она знает, чего она хочет, к чему она стремится. А у меня нет, нет на этой земле места. Никого и ничего у меня нет на этой земле.

— Да ведь вы, Ирина... — начал Тенгиз.

Но она зажала ему рот рукой и возбужденно воскликнула:

— Да, я фосфорическая женщина! Скажи еще раз: "Я не люблю Нуцу!" и перейдем к делу.

Я не люблю Нуцу!

И скажи еще раз: "Я хочу тебя!"

Хочу! Хочу!

О'кей! А теперь закрой дверь на ключ и скидай штаны.

Тенгиз быстро встал с софы и направился к дверям, однако он не успел взяться за ключ, так как в комнату вошла Клара.

— Я вам не помешала? — Она взглянула на растянувшуюся на софе Ирину и на Тавардкиладзе, и, не дожидаясь ответа на вопрос, добавила: — Подумать только, писатель Андрей Кутырев опять весь день удит рыбу и молчит. Ни с кем не обмолвился словом. И где удит? У плотины? А там одни...

Жабы! — выкрикнула Ирина. — Вроде тебя!

Ирка, не дури.

Тебе не нравится, что писатель Андрей Кутырев вышел из-под твоего повиновения. Вот, в чем дело! — Ирина, лежа, замахала руками.

— Он никогда не был под моим повиновением.

Тенгиз сначала выругался про себя оттого, что приход Клары помешал его сближению с Ириной, потом спросил:

— А почему он молчит, как по-вашему, Клара?

Наверное, потому, что ему нечего сказать.

Ирина вскочила на ноги, подбежала к Кларе и ни с того ни с сего провела рукой по ее животу.

Что, стучит уже? — елебно произнесла она.

Кто? — Клара оторопела.

Беби.

Разве... заметно?

Гадина! Тварь! Сука! Самка! — закричала Ирина и попыталась ногой ударить Клару в живот.

Та увернулась.

Да ты что? В уме?!

— Амазонка! — истерически закричала Ирина.

— Ирина, генацвале...

Между двумя женщинами завязалась борьба. Ирина схватила Клару за горло, точно пытаясь задушить ее. Клара вырвалась. Ирина вцепилась ей в волосы. На губах выступила пена, глаза выкатились. Клара защищалась от каждого резкого движения Ирины. Наконец ей удалось обхватить ее за плечи и сжать ее руки.

— Тенгиз, да помогите же мне уговорить эту пьяную дуру!

— Да, да, конечно, дорогая... — растерянно пробормотал Тавардкиладзе и, обняв Ирину, поднял ее и опустил на софу.

— Совсем свихнулась, — Клара чуть дрожала.

— Ну и черт с тобой, сучка! — Ирина сменила гнев на милость и начала раздеваться. — Если хочешь, можешь полюбоваться на то, как мы с князем будем совокупляться. Вот сейчас. Да, да, совокупляться. Или хочешь слово похлеще? Тебе, наверное, оно понравится. Ты же такая.

Вах-вах-вах... — смущенно произнес Тавардкиладзе.

Ну, вахвахов, скидавай черкеску и портки.

Ирина, генацвале, как можно.

Выполняй мою команду, грузин! Хочешь нас обеих? Хочешь оргию? Сначала меня ублажишь, а потом ее, Кларку, она это любит.

— Нет, она действительно спятила! — и Клара вышла из комнаты.

Ирина, продолжая раздеваться, глядя ей вслед, выкрикнула:

— Амазонка! Амазонка!

— Ирина, дорогая, знаете что... я вот возьму и увезу вас в горы Сванетии, — вполне серьезно проговорил Тенгиз.

— Это зачем же, чукча?

— Во-первых, я отплачу русским за покорение Кавказа, а во-вторых, спасу вас...

— Чудило, да ведь над советской страной даже небо советское. Забудь обо всем этом. Смотри, какое у меня сочное тело... Нравится?

4

Выйдя из комнаты Ирины, Клара застала Марию Петровну на террасе, за обеденным столом с тарелкой борща.

Ах, Мария Петровна, — вздохнув, произнесла Клара.

— Хотите борщу?

— Спасибо, нет, — Клара подошла к краю террасы, положила ладони рук на перила и начала смотреть в глубь сада.

Из глубины сада вышел Кутырев, одетый в брезентовый костюм, с резиновыми ботами на ногах, со своим "чепчиком" на голове и с удочками и гантелями в руках.

— Клара, не уходи! — издали крикнул Андрей. — Мне надо с тобой поговорить.

Когда он поднялся на террасу, Мария Петровна сказала:

— Андрюша, поцелуй меня в лоб.

Кутырев почти автоматически приложил губы к ее лбу.

— Спасибо, — и она ушла в дом.

— О чем вы тут разглагольствовали? — обратился Кутырев к Кларе. — Наверное, Маша опять несла окоlesiцу о своем духовном боге.

— Как сказать...

— Представляю себе! — Андрей положил в сторону удочки и гантели, сел за стол и налил себе тарелку борща. — Пам-пам-пам... Хочешь?

— Нет.

— Следующий вопрос я адресую самому себе. Пить или не пить? Вино, конечно, — он взглянул на бочонки и бутылки. — Ладно, выпью стаканчик, — наполнив стакан вина, он выпил половину. — Итак, Клара, молчанка окончена. Два дня я вына-

шивал золотое яичко. Выносил. С чего же начать? Пам-пам-пам. В картах говорят: не с чего ходить, ходи с бубновой семерки. Так вот...

Клара, глядя Кутыреву прямо в глаза, произнесла:

— Почему бы не начать, Андрей Алексеевич, с того, что было в кабинете товарища Сусликова?

— В ЦК? — Кутырев несколько растерялся, но сразу же, оправившись и слегка нахохлившись, ответил. — А что, собственно, могло быть в ЦК? Они, конечно, нападали, обвиняли меня во всех смертных грехах, как это у них принято, а я... я, конечно, отстаивал свой роман, зубами, как тигр, стучал кулаком по столу Сусликова, орал на него... Пам-пам-пам... но дело не в этом, Клара.

— Если так, то почему же вы последние два дня упорно избегали встречаться со мной?

— А потому что... потому что... Нет, дело не в этом, Клара!

— А в чем же?

Кутырев помедлил и патетически сказал:

Твоя судьба мне не безразлична.

— При чем же тут я?

— Твоя судьба мне совсем не безразлична, Клара, — повторил Кутырев, перестав есть борщи и оглядываясь по сторонам, точно ища чьей-то поддержки.

— Хотите гантели?

Андрей нахмурился, сердясь то ли за то, что Клара не понимает, что ему действительно не безразлична ее судьба, то ли за то, что она угадала его скрытое желание — опять взяться за гантели. Тем не менее, он встал из-за стола, поднял с пола гантели и начал делать привычные упражнения.

— Это что, компенсация духовного расстройства? иронически спросила Клара.

— Словом, так, — наконец, произнес Кутырев. — От этого зависит наше будущее. Твое и мое.

— От чего от этого?

— Минуту, — сделав еще одно дополнительное упражнение, Андрей многозначительно добавил: — От твоего мировоззрения, Клара. Мировоззрения.

— Ах вот что... — она ухмыльнулась, — это, что называ-

ется, перейти с больной головы на здоровую.

Снова сев за стол и взявшись за борщ, Кутырев отдельно, точно диктуя школьное задание, сказал:

Ах, Клара, да пойми же, власти все знают.

Что все?

Решительно все.

Говорите яснее.

Кутырев опять вспыхнул и, опять вскочив со стула, заходил по террасе.

— Где третья копия моего романа? — резко спросил он Клару.

— Третья? О чем вы, Андрей Алексеевич? Клара смутилась.

Она же была у тебя. Она у тебя?

— Конечно.

— Это неправда. Ее у тебя нет, потому что я держал ее в своих руках там в ЦК, у Сусликова в кабинете. Ты... ты хотела переправить ее за границу. И ты хотела осуществить это без моего разрешения. Как ты смела, Клара? Это же нечестно. Это же... подло! Я не сказал Сусликову, что эта третья копия была у тебя. Но ты... ты должна измениться. Клара, это же все плохо кончится.

У Клары на секунду закружилась голова, и она схватилась руками за перила террасы. Этого она не ожидала. Это застало ее врасплох. Она побледнела, как полотно.

— Не может быть... вы держали третью копию романа в своих руках, там, в кабинете у Сусликова?

Да, у него в кабинете.

О!

Что? Ты хочешь что-нибудь сказать?

Неужели это сделал Евгений?

Клара прошептала последние слова так, что Кутырев не услышал их. Она медленно отступила в сторону лестницы, которая вела с террасы во двор.

— Нет, нет, я не сказал Сусликову, что третья копия была у тебя. Я сказал, что она была у меня... в шкафу. Я солгал.

Он негодяй! — воскликнула Клара.

— Сусликов? Послушай, Клара, тут не обошлось без

наших "прославленных" органов Гос. безопасности. Где ты хранила рукопись?

Клара не ответила на вопрос Кутырева и бросилась во двор, бегом направившись по тропинке к воротам дачи и на просеку.

— Клара! Клара! Куда ты? Пстой же! Клара! Ты что... ты подумала на Светозара? Может быть, это он передал рукопись в КГБ... Клара! Клара!

Он хотел было броситься за ней, но остановился, потому что на террасу из кухни вышла Клавдия Васильевна.

Звали?

А? Что? А, это вы? Что вам надо?

Я спрашиваю: звали?

Нет, не вас, Клару... а впрочем...

5

Вечером из Москвы вернулись Светозар и академик Нина Кмит. Красный "Москвич" подъехал к самой даче, и Евгений, как всегда, нажал на кнопку гудка, оповещая о своем прибытии. Мне трудно удержаться от иронии и здесь, поэтому я предпочитаю написать не о "своем прибытии", а о "прибытии брандмайора". Увы, такова моя человеческая слабость — нет, я не упускаю случая уязвить типа, которого я органически не перевариваю.

Залаяла соседская дворняжка "Чертик". Евгений, по привычке, цыкнул на нее. Из дома вышел Ланской, который, как постовой милиционер, поднял правую руку вверх, а левой указал место для стоянки машины. Из "Москвича" первой вылезла Кмит. Это была среднего роста и достаточно толстая женщина лет тридцати пяти с неестественно большим бюстом и многоярусной прической; на ней была короткая светлая юбка, что выглядело не очень прилично, если иметь в виду ее мощные колени; на ней была также кружевная цвета беж кофточка, а на ногах — лакированные босоножки. Нина Аркадьевна держала в руке китайский веер, а на шее у нее висел полевой бинокль. Светозар был в темном концертном костюме с пестрой бабочкой вместо галстука. Выбравшись из машины, он вытащил из нее матерчатый мешок и протянул его Ланскому.

— Держи.

— Что это?

— Отзывы народа. Публики, — и Светозар закричал. — Клара! Клара!

Втроем они направились на террасу. На крик Евгения, отряхивая с брюк деревянные стружки, из своей комнаты вышел Кутырев. Вероятно, он только что вытачивал на токарном станке какую-то новую "кегля".

— Добрый вечер! — обратился к нему Светозар и опять закричал: — Клара! Клара! — и тут же бросил в сторону Гнедыха: — Салют, батька!

Поднявшись на террасу, академик Кмит приветливо и даже возбужденно сказала:

— Добрый вечер, товарищи! — и повернувшись к комбригу, продолжала: — Ну, Семен Семенович, Женюра ваш превзошел самого себя. Литературный вечер был превеликолепный. Вы меня слышите?

— Он спит, Нина Аркадьевна... — сказал Светозар.

— Что-то вы рановато вернулись, — заметил Ланской.

— Ах, после выступления Светозара ведь пошла мелюзга, — авторитетно проговорила Кмит, уже не обращаясь больше к комбригу.

— Андрей Алексеевич, а где Клара? — спросил Светозар. — Почему она не откликается?

— Кудях-кудах-кудах... — глядя куда-то вдаль, ответил Кутырев.

— Что это вы? — Светозар поморщился. — Вместо "пам-пам-пам", закудахтали, как курица. Где Клара?

— Да не пропадет ваша Клара, — вмешалась Кмит. — Она же не маленькая. Ну пошла, может быть, прогуляться.

— Темно уже, — буркнул Светозар.

— Нет, товарищи, — опять экзальтированно начала Нина Аркадьевна, — я давненько не видела ничего похожего. Спортивная арена в Лужниках на сто тысяч человек была заполнена до отказа, и она редела от восторга, когда Светозар читал свои стихи. Это был грандиозный, массовый успех! Гран-диоз-ный! Мас-совый! Женюра, я подумала сейчас, а вам бы в кино сняться, с такой внешностью, как ваша...

— Снимусь, Нина Аркадьевна.

Ланской не выдержал и, отведя Светозара под руку чуть в сторону, шепнул ему на ухо:

— Слушай, малый, у нее в глазах такой блеск, что... Ты, случайно, не завозил ее к себе на квартиру в Москве, после Лужников, а? Может быть, она уже не Жанна д'Арк? — и он захохотал.

Чурбан! — оборвал его Светозар. — Надрызгался?

— Мужчинки, о чем вы там? — кокетливо спросила Кмит.

— О... о записках, Нина Аркадьевна, — раскрыв мешок, который Ланской положил на диван, Евгений запустил в него руку и достал несколько наугад попавшихся бумажек. — А ну-ка, актер, читай. Вслух. Это же от советского народа, от живых людей. Это истинное, без подделок. Андрей Алексеевич, вы что-то не в духе... или перепили?

— Кудях-кудах-кудах... — опять же глядя куда-то в пространство, произнес Кутырев.

Что, что случилось?

Пожалуй, — выдавил из себя Андрей, — и случилось!

Что же такое?

Кажется, я снес золотое яичко.

Интересно.

Энтузиазм Нины Аркадьевны не утихал.

— Сегодня в Лужниках я впервые позавидовала вам, писателям. Нет, увы, нам, ученым, такая слава не выпадает. Нет, нет, не спорьте со мной.

Ланской прочитал вслух одну за другой несколько записок:

— "Мы с вами, Светозар! Продержитесь еще чуток. Студенты МГУ", "Вы наш защитник, товарищ Евгений. Евреи", "Громи гада Сталина, поэт! Пострадавшие", "Не давайте спуска коллегалистам, Евгений. Либералы", "Бей жидов, спасай Россию, сукин сын! Патриоты!",

Стоп! — Светозар поднял руку. Ну... в семье не без урода.

Да, юдофобство осталось у нас от усатого грузина, — поморщившись, сказала Кмит. — Но это, товарищи, рудименты. Нет, нет, не спорьте со мной, Это всего-навсего рудименты. Историю ведь вспять не повернешь. Теперь наша победа уже предрешена.

— Извините... чья это наша, Нина Аркадьевна? — встряхнув головой, точно избавившись от дурных мыслей, и устремив взгляд на Кмит, спросил Кутырев.

— Наша. На-ша. Нас, мыслящих.

— А...

Ланской прочитал новую записку:

— "Да здравствует мир и прогресс!"

— Слышите? — как бы упрекнула Кутырева Кмит.

Ланской прочитал еще одну:

— "Шут ты, Женька, гороховый! Перед кем выколупливаешься? Ты же поп Гапон, провокатор, стервец. Работаешь направо и налево. Я прежде тебя обожала, а теперь плюю в твою рожу. Муся".

— Муся? — Светозар на миг смутился. — Не знаю никакой Муси. Вздор! Чушь! Брось заниматься этим, актер. И вообще, потом, потом... — он взял из рук Ланского записки и запихал их обратно в мешок.

Я же, честно говоря, должен еще раз признаться в своей предвзятости и скажу, что меня очень даже обрадовало то, что какая-то Муся из аудитории назвала Светозара попом Гапоном. Это же означало, что моя кличка привилась массам. А может быть, Муся сама додумалась.

Академик Кмит взглянула на один из бочонков с вином и скромно произнесла:

Можно мне каплю "нектара", которым вы меня угощали днем?

Конечно. Сделайте одолжение, Нина Аркадьевна, тотчас же отозвался Кутырев и налил ей полный стакан. Может быть и борща отведаете?

— Спасибо, я не голодна. Ведь мы с Женюрой обедали в ресторане гостиницы "Советская". Шикарный ресторан. С зеркалами на потолках. Но вот стакан кахетинского в честь успеха нашего замечательного поэта я выпью. — Она подняла стакан и воскликнула: — Светозару виват!

Ланской заплотировал.

Кмит выпила вино.

— Нина Аркадьевна, вы меня вгоняете в краску... — скромно заметил Евгений.

Нет, я просто влюбилась в вас, Женюра. Честное слово!

Нина Аркадьевна, мы с вами поговорим на эту тему, когда сядем в самолет и полетим в Париж.

Кмит сама покраснела и, чтобы выйти из неловкого положения, обратилась к Кутыреву:

— Я знаю, Андрей Алексеевич, у вас небольшие литературные неприятности, о них мне рассказал Евгений, но... бодритесь. Пройдет. Эх, Андрей Алексеевич, вот бы вам приехать к нам в Новосибирск, пожить в нашем академическом городке. Вот бы вы почувствовали пульс страны, вот бы вы поняли, что в стране происходит.

— А что в стране происходит? — спросил Кутырев.

— А то, что... — Кмит повысила голос: — Наступила новая эра. Сталинщина кончилась. Светозар сверг тирана.

— Ой, Нина Аркадьевна, не приписывайте эту заслугу только мне. Так вы можете оказать мне медвежью услугу. Да и нельзя полностью отрицать Сталина. Да и до сих пор...

Кмит перебила Евгения:

— Да, да, конечно, в нашей жизни все еще существуют отдельные рецидивы прошлого и весьма опасные тенденции. Но это уже невосвратимо. Наука забирает бразды правления в свои руки. Во главе государства в скором времени будут только ученые. И все социальные проблемы будут решаться с помощью кибернетики. Нет, нет, не спорьте со мной; теперь уже мир не разделишь на социалистический и капиталистический. То и другое идет друг другу навстречу. Знаете анекдот: "Какая разница между капитализмом и коммунизмом? При капитализме один человек угнетает другого. При коммунизме наоборот". Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мир уже один, Андрей Алексеевич. Новый век, век микроэлектронный, атомный, протонный, эзотонный, магнетонный и т. д. и т. п., диктует новое в отношениях между людьми и странами.

— Извините, Нина Аркадьевна, — с наивной улыбкой на губах, спросил Кутырев. — А как же насчет классовой борьбы?

— Это анахронизм, — уверенно ответила она. — Мы и Маркса частично сдаем в архив. Всё течет, всё меняется. Безусловно, наши партийные лидеры поговаривают об этой классовой борьбе иногда, но это больше для китайцев, для

раскосых, для отвода глаз. Нет, нет, приезжайте к нам в Новосибирск, Андрей Алексеевич, вы увидите такое, что у вас дух перехватит. У нас в академгородке, например, есть бар "Под интегралом", и каждый год мы выбираем "Мисс интеграл". Перед вами "Мисс интеграл" нынешнего года. Я. Как вам нравится моя "логарифмическая" прическа? Мы не обращаем внимания на секретаря обкома КПСС, он на побегушках у нашего патриарха, знаменитого физика, академика Лаврентьева. Мы как бы государство в государстве. У нас свои законы, свои правила. Нас боятся даже в Москве. И, главное, мы будущее человечества, смелое, умное, сильное, образованное. Мы за мир и дружбу со всеми странами на земном шаре; мы за научный гуманизм, и мы, конечно, за мосты между странами. Мы мостостроители. Как это у вас в вашем чудесном стихотворении сказано, Женюра?

Светозар продекламировал немного в нос, размахивая правой рукой:

Мосты над пропастью!
Люди без страха,
Мысль лопастью,
Душа — рубаха!

Браво! Брависсимо! — воскликнула Кмит. — И ведь не случайно же меня посылают в Париж на конгресс...

Форум, — поправил ее Светозар.

— Ну, форум, какая разница?

— Да, да, так хочется ходить по этим мостам туда и обратно без всяких выездных комиссий ЦК и таможенных досмотров, — воодушевленно произнес Светозар.

— Пам-пам-пам... неопределенно прокомментировал Кутырев.

— Разрешите узнать, мисс интеграл, зачем вам бинокль? — спросил Ланской.

— Во-первых, послезавтра мы летим за границу, стало быть для того, чтобы рассматривать эту самую "заграницу", а во-вторых, нынче на поэтическом рауте в Лужниках я рассматривала в этот бинокль лица людей, наш великий народ-созидатель.

— Можно?

— Пожалуйста.

Кмит сняла с груди бинокль и передала его Ланскому.

— Все это хорошо, но меня беспокоит отсутствие Клары. Где Клара? — Светозар обратился к Кутыреву: — Андрей Алексеевич, где же Клара, наконец?

— Откуда мне знать? Не знаю...

— Ну вас совсем с вашей Klarой, — рассердилась Кмит. — Нельзя же перед лицом одной женщины интересоваться другой.

Простите, Нина Аркадьевна, но Клара моя жена.

— Ну и что ж?

— Евгений!

Ланской позвал Светозара, разглядывая Кмит в бинокль.

— Чего тебе?

Он отошел с Ланским в сторону.

Слушай, трубадур, а ведь "кмитихе" придется доплачивать в аэропорту за груз.

Какой груз?

А груди? — и Ланской захохотал.

Кмит же обратилась к Кутыреву:

— Я не только специалист в своей области; я смотрю на жизнь шире, я готова принять самое активное участие в ее реорганизации на основах либерального рационализма, современных знаний, то есть на основе научного подхода. Наука. Знания. Вот решающий элемент. Все остальное временно. Да, да, перед знаниями уступают все прежние аксессуары жизни.

Кутырев, прищелкнув языком, вполне серьезно задал вопрос:

И страх?

— И страх! — решительно ответила Кмит.

И по какому-то необъяснимому стечению обстоятельств именно в этот момент к даче подъехала темно-бурая "Волга", лучи которой ударили по бревенчатой постройке дачи и погасли.

— Кого это еще нелегкая принесла? — проговорил Светозар.

— Это не такси... — чуть надтреснутым голосом произнес Кутырев.

— Кажется, гости пожаловали... — сказал Ланской и направил бинокль в сторону "Волги". — Н-да, это... это гости в

штатском...

— Я люблю гостей, — игриво бросила Кмит.

— Даже если они из КГБ? — спросил Ланской.

— Что? Из КГБ? Не может быть, — сорвалось у Кутырева.

Да, это пожаловали гости из КГБ, "гости в штатском", как их определил Ланской. Их было трое. Они вылезли из машины и пошли к террасе гуськом. Первым шел человек лет шестидесяти, невысокий, плотный, с перебитым носом и двумя ямочками под глазами; на носу у него были роговые очки, на голове фетровая шляпа с загнутыми сверху полями; у него был большой зоб, который он иногда поглаживал рукой; он чуть прихрамывал на левую ногу и нес в руке кожаный портфель. Второй "гость" был молод, красив, строен, с голубыми глазами и обворожительной улыбкой: он был в пыльнике, из-под которого выглядывали изящные офицерские сапоги. Последним шел мужчина средних лет, мрачный, похожий на ворона, одетый в стандартный темный костюм со сползающим галстуком. За ними, несколько отступя, следовали два "понятых". Это были Рошаль, в полосатой пижаме, в шелковом халате и в ночных туфлях, и поселковый монтер Банин, которого я описал в начале моей хроники; напомним лишь, что у него было угреватое лицо, что он был одноглаз и был не дурак выпить; на нем были помятые и волочащиеся по земле брюки и серая рабочая рубаша.

Приблизившись к террасе, как-то интуитивно (или он знал Кутырева по фотографиям) угадав среди присутствовавших Кутырева, первый сотрудник КГБ, взглянув на него, сказал:

— Андрей Алексеевич Кутырев? Вы?

Андрей невольно вытянулся так, точно его проверяли в солдатском строю.

— Я!

— Разрешите представиться, продолжал чекист. — Полковник органов Гос. безопасности, Шубин, Антон Романович. А это мои помощники и, так сказать, коллеги: лейтенант Локтев, Фердинанд и... шофер, подполковник Рыбкин.

Кутырев в ответ тоже представился, хотя в этом и не было необходимости:

— Член ССП, Андрей Кутырев.

Шубин показал на Рошаля и Банина:

— А это наши понятия: драматург Рошаль, живет в Переделкино неподалеку от вас, и монтер поселка Банин. Возражений, я надеюсь, нет? Вы же их знаете?

(Продолжение следует)

Юрий Кротков

МОЯ РЕКА ВРЕМЕН

Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя? Псалтырь, 6:6.

Река времен уже десятилетия
Течет, и чайка, хищная, жирна,
Хрипит, и молодость — ужели третья
Еще рябиной октября красна.

Сочится кровь, оранжевая. Горько...
Трамвайные арбаты позади
И ночи белые — двойная зорька...
Уже Америка. Еще гряди.

Колючки Мексики и урны Рима,
Лавр áгоры и клобуки: Афон.
Река еще благословенна: длима.
А устье — море смерти: скверный сон.

Гримасой, судорогой, смрадной рвотой,
Агонией — прославлю ли Творца?
Полуживой, седой, но желторотый
Молю я: сроки растяни конца.

Юрий Иваск, 1980

Я УНЕС РОССИЮ

Т. II. "РОССИЯ ВО ФРАНЦИИ"*

Русские театры (драма, опера, балет)

Международное имя русскому театру было создано — именно здесь, в Париже — еще до революции, в 1912-13 гг., "Русским Балетом" С. П. Дягилева. В 30-х годах это эхо дягилевской славы продолжалось, несмотря на неожиданную (на 57-м году) смерть создателя "Русского Балета", уже эмигранта, С. П. Дягилева. Дягилев умер не в Петербурге, не в Москве, а в любимой им Венеции, на Лидо, в "Отель де Бэн" и похоронен на венецианском кладбище на острове San Michele. На надгробном камне вырезано по-русски: "Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений".

Из трех линий театра — драма, опера, балет — за рубежом русский балет был несравненно более долготелен и блестящ. Неудивительно. Природа искусства танца (как и музыка) международной, не связана ни языком, ни национальной почвой, как — опера и особенно драма. А зритель танца — интернационален.

В эмиграции Дягилев восстановил свой балет в Монте Карло в начале 1920-х гг. Выступали у него русские "звезды" первой величины: Тамара Карсавина (сестра замученного в советском концлагере известного философа Льва Платоновича Карсавина)**, Бронислава Нижинская (балерина и хореограф), Ольга

*См. кн. 147, 145, 144 "Н. Ж"

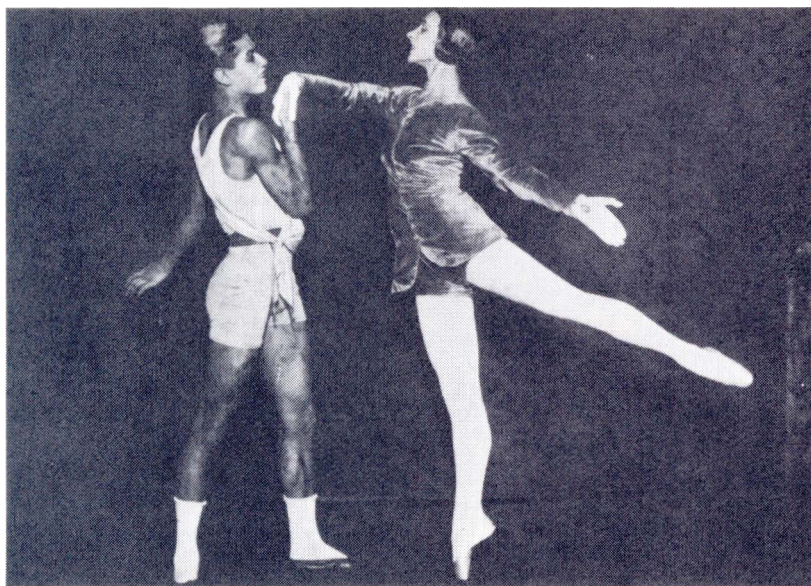
** О Т. Карсавиной хорошо записано у В. Н. Буниной: "Сегодня был завтрак у М. С. Цетлиной: чествовали Карсавину... Карсавина очень мила, проста той особенной простотой, какая бывает у некоторых знаменитостей, которые тактично не дают чувствовать окружающим — кто ты, а кто я. Карсавина не похожа на балерину..." ("Устами Буниных", публ. М. Грин. 1981).

Спесивцева, Екатерина Девильер, Вера Трефилова, Лидия Лопухова, А. Никитина, Любовь Чернышева, Лидия Соколова, Вера Савина, Фелия Дубровская, Вера Немчинова (потрясшая "весь Париж" в балете "Les Biches", вызвав восторженную статью "самого" Жана Кокто*, а он в балете был "свой человек" и "понимал толк"), Ида Рубинштейн, которая, впрочем, не столько танцевала, сколько "появлялась" на сцене, но "появлялась" удачно, Александра Данилова, Георгий Баланчин (позднее балетный завоеватель Америки), Сергей Лифарь (позднее руководитель балета парижской Гранд Опера), Леонид Мясин (танцовщик и хореограф), Борис Романов (танцовщик и хореограф), Николай Зверев (танцовщик и хореограф), Анатолий Вильзак, Станислав Идзиковский, Леон Войчиковский и др.

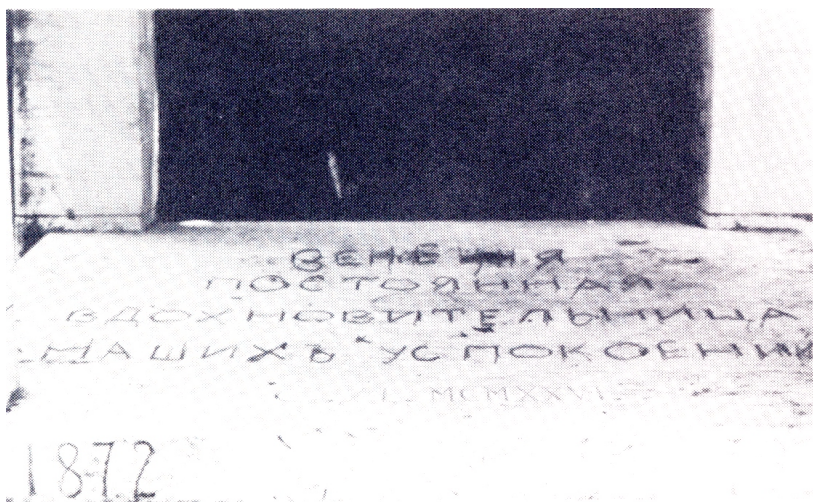
Надо сказать, что в то время как советский балет Москвы и Петербурга (мне противно, как и Бунину, писать слово "Ленинград") много больше полувека всё топтался (и топчется) на одном "классическом па", что вызвало бегство на Запад балетной "премьерной" молодежи (Макарова, Нуреев, Барышников, Годунов и др.) — Дягилев в своих художественных и хореографических исканиях шел резко "вперед", поведя за собой весь балет Запада. В этом ему помогали русские композиторы: И. Ф. Стравинский ("Песнь соловья", "Пульчинелла", "Поцелуй феи", "Аполлон Мусагет"), С. С. Прокофьев ("Стальной скок", "Блудный сын"), Н. Черепнин, А. Глазунов; из молодых эмигрантов — Н. Набоков ("Ода"), Вл. Дукельский ("Зефир и Флора"), Игорь Маркевич; из композиторов-иностранцев — Дариус Мило, Ф. Пуленк и др. С Дягилевым работали худож-

*В своей статье Жан Кокто писал, что когда "эта очаровательная девушка вышла из-за кулис на пуантах ее длинных классических ног, мое сердце забилося. Я был поражен, как чудесно сумела она соединить классические фигуры с новыми жестами и движениями плеч..."

В. Н. Немчинова рассказывает, что на первой репетиции "Les Biches", когда она начала танцевать в сшитом для нее длинном муслиновом платье (по рисунку Марии Лоренсен) Дягилев вдруг взял ножницы, подошел и обрезал платье, обнажив тем все её ноги в трико. Так он предложил ей танцевать. По тем временам это было "неслыханно". Немчинова говорит, что сначала ей было стыдно, ей казалось, что она танцует почти голая. Но Дягилев знал, что делал. В "Les Biches" Немчинова имела оглушительный успех. Другие "лоретки" танцевали в длинных, необрезанных платьях.



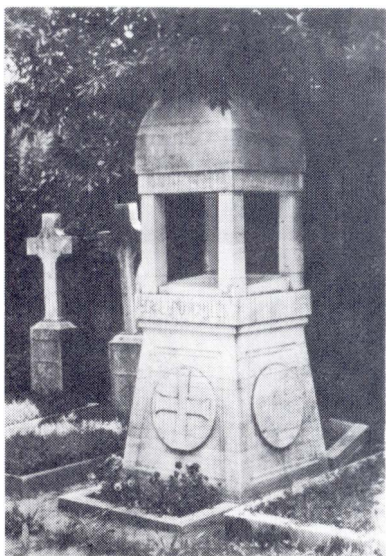
Вера Немчинова и Сергей Лифарь в "Les Viches". За предоставление фотографии сердечно благодарю В. Н. Немчинову.



Надгробие на могиле С. П. Дягилева. На камне по-русски вырезано: "Венеция постоянная водохводительница наших успокоений". 1872 — 1929.



*Кладбище "San Michele".
В конце аллеи могила С. П. Дягилева.*



Могила С. П. Дягилева.



Могила С. П. Дягилева.

ники: М. Ларионов, Наталия Гончарова, Леон Бакст, Павел Челищев, Мст. Добужинский, Сергей Судейкин, кн. А. Шервашидзе, Жорж Якулов; из художников-иностранцев: П. Пикассо, Ж. Брак, М. Утрильо, А. Дэрэн, Жорж Руо, Мария Лоренсэ, Наум Габо и др.; хореографы: М. Фокин, Н. Зверев, Б. Нижинская.

Русскую балетную традицию Дягилева за рубежом подхватили многие: Георгий Баланчин (в Америке), Сергей Лифарь в парижской Гранд Опера, путешествующие по разным странам труппы — князя Церетели и Colonel'я de Basil (в переводе на русский — быв. полк. Василий Григорьевич Вознесенский). Иды Рубинштейн, маркиза де Кузваса, Леонида Мясина, В. Немчиновой-А. Долина, Бориса Романова, Георгия Скибина и др. К тому же — время шло. На мировую сцену вышла и молодая русская зарубежная смена: Андрей Еглевский, Борис Князев, Д. Липин, М. Панаев, Т. Рябушинская, Т. Туманова, Ир. Баронова, Л. Черина (черкешенка Чемерцина), В. Блинова, О. Морозова и др. Это все воспитанники нескольких балетных студий знаменитых русских балерин: в Париже преподавали — М. Кшесинская, Л. Егорова, О. Преображенская, А. Балашова*, так что русская балетная традиция не порывалась. О русском балете за рубежом литература громадна. И мемуары (С. Лифарь, Борис Кохно, М. Фокин и др.) и работы критиков-балетоманов: из русских Андрея Левинсона, а работам иностранцев несть числа! Прав Сергей Лифарь, писавший, что "мировой балет всей первой половины XX-го века есть создание балетных сил русской эмиграции". Это не самохвальство, а авторитетное утверждение факта в истории современного искусства.

Русская опера тоже одно время блеснула русскими зарубежными силами во главе с Ф. И. Шаляпиным. Но блеск этот был,

*Александра Михайловна Балашова, знаменитая прима-балерина московского Большого Театра с 1921 года жила в Париже. Здесь она открыла балетную школу в зале Плейель. В 1963 году директор балетного Театра в Страсбурге обратился к ней с просьбой поставить балет "Гнетная предосторожность" Доберваля, в котором в свое время в роли Лизы А. М. выступала в Москве. А. М. согласилась. В постановке Балашовой балет в Страсбурге имел большой успех. Труппа совершила с ним турне по всей Франции. Скончалась А. М. под Парижем в 1978 году.

естественно, не столь длителен, как у балета. В Париже 20-х, 30-х годов жило много известных оперных и камерных певцов-эмигрантов: М. Н. Кузнецова (из Большого театра), Н. С. Ермоленко-Южина, Лидия Липковская (примадонна театра Зимина), Н. Карандакова, Ян Рубан, Женя Турель, Нина Кошиц, Е. А. Садовень, М. С. Давыдова, А. Е. Яковлева, Лисичкина, бас А. Мозжухин, бас Запорожец (ему, говорят, сам Шаляпин признавался: эх, братец, мне бы твою "октавку"!); тенор Поземковский, тенор Александрович, Кайданов, Г. Гришин и наконец гений русской оперы Федор Иванович Шаляпин. Сил для первой-классной оперы было больше чем надо. Тем более, что в Париже жили: и известные режиссеры — А. Санин, Н. Евреинов; и дирижеры — Э. Купер, А. Лабинский; и театральные художники — И. Билибин, К. Коровин и др.; и такие хореографы, как М. Фокин.

И вот стараниями М. Н. Кузнецовой, при материальной поддержке ее мужа Альфреда Масснэ, в 1929 году в Театре Елисейских Полей (больше 2000 мест!) открылись спектакли "Русской Оперы" с участием Ф. И. Шаляпина. Режиссеры — Санин, Евреинов; художники — Билибин, Коровин; хореограф — Фокин. В течение шести месяцев эти представления стали неким русским "триумфом": "Борис Годунов", "Князь Игорь", "Русалка", "Царская невеста", "Царь Салтан". Успех — и, конечно, прежде всего ошеломительный успех Шаляпина, — по своей художественной силе был равен успеху лучших балетов Дягилева.

Театральный критик "Последних Новостей", быв. директор Императорских Театров кн. С. М. Волконский об одном из спектаклей писал: "Русский праздник продолжается. Это было торжество! Кто не видел, не может себе даже вообразить тех зрительно слуховых видений, которые перед нами проходили... Видевшие московскую постановку в декорациях Врубеля отдают пальму первенства парижской". Столь же восторженно писали и французы; "Presentation magnifique!.. Veritable manifestation d'art qui ne peut manquer de donner complete satisfaction au spectateur le plus difficile". ("Paris Soir", 2/II.1929).*

*"Восхитительное представление!.. Спектакль подлинного искусства, который

Но долголетия у русской оперы в Париже, разумеется, быть не могло. Через шесть месяцев "Русская Опера" отправилась в Южную Америку, где гастролировала с успехом, но потом... распалась. Правда, кн. Церетели удачно дал эти оперы в Лондоне, Брюсселе, Барселоне. Но в Париже русская опера уже не поднялась.

Еще труднее было создать некий "репертуарный театр" русской драмы. Для него, как и для русской оперы, не хватало зрителей. Но попытки создать русский театр начались с самого начала появления во Франции русской эмиграции, ибо известных и больших русских актеров было много. Из МХТ в эмиграцию ушла т. н. "Пражская группа": гениальный Михаил Чехов, Вырубов, Массалитинов, Лев Булгаков, Варвара Булгакова, Германова, Астрова, Крыжановская, Греч и Павлов, Барановская, Токарская, Вера Соловьева, Николай Колин, Зелинский. Из студии МХТ — Е. Липовская, Григорий Хмара, Богданов. Из других театров — знаменитая Е. Н. Рощина-Инсарова, Д. Кирова, И. Можухин, Рахматов, Эс-Пе. В театре "Мадлен" Н. Ф. Балиев с успехом возобновил свою неповторимую "Летучую Мышь". В театре Шатлэ открылся "Театр Русской драмы", где Е. Н. Рощина-Инсарова выступала в пьесе Немировича-Данченко "Цена Жизни", выступали В. М. Греч, П. А. Павлов, А. А. Вырубов. В пьесе Гольдони "Хозяйка Гостиницы" под режиссурой Рахматова с успехом выступала молодая актриса студии МХТ Е. Липовская. Актриса Д. Н. Кирова основала "Русский Интимный Театр", дававший спектакли на улице Кампань Премьер. Актер Эс-Пе основал "Зарубежный Камерный Театр". Известный режиссер Федор Комиссаржевский открыл театр-кабарэ "Радуга", вскоре объединившийся с Никитой Балиевым. Большим заслуженным и длительным успехом пользовались Георгий и Людмила Питовевы, дававшие в театре "Матюрэн" на французском языке пьесы Поля Клоделя, Жана Ануи, Пиранделло. Из молодых актрис сделала французскую карьеру Елизавета Кедрова (Лиля Кедрова), выступавшая в театре и в кино.

Но в дни моего въезда в Париж эти театральные начинания

не может не удовлетворить даже самого требовательного зрителя".

были уже в прошлом (кроме Питовых). При мне организовался довольно скромный русский театр, главным образом, из молодых актеров (всех не помню): Богданов, Петрункин, Бологовской, Чернявский, Загребельский, Карабанов, Бахарева, Мотылева, актрисами со стажем были Крыжановская (из МХТ), Токарская (из МХТ).

Этот театр, дававший пьесы в зале "Журналь" (100, rue Richelieu), был задуман, как более-менее "репертуарный": пьесы шли еженедельно по субботам и воскресеньям. В 1936 году (с января по май) театр дал 90 представлений. И с успехом. Причем ставились пьесы не только эмигрантов-писателей, но и советских: "Новый дом" Булгакова, "Дорога цветов" Катаева, "Чулеса в решетке" Толстого, "Волчья тропа" Афиногенова и др. Из эмигрантов — "Линия Брунгильды" Алданова, "Крылья Фелора Ивановича" Хомицкого, вечер юмора из произведений Тэффи, "Изобретение Вальса" Набокова, поставлен был и мой "Азеф". Режиссировал его артист студии МХТ Григорий Хмара, в Москве стяжавший успех в пьесах "Потоп" и "Сверчок на печи".

Сие событие с моим "Азефом" произошло так. В Париже 20-х, 30-х гг. большую роль в русской культурной жизни играл Илья Исидорович Фондаминский (Бунаков), мученически погибший в гитлеровском концлагере Аушвиц. Передают, что уже арестованный, в Компьенском лагере (под Парижем) он принял там христианство. А в Аушвице будто бы вступился за избиваемого заключенного и был забит насмерть.

Илья Исидорович был человеком необычайной, как говорят, "кипучей" энергии, что-то юношеское было в этих его вечных, беззаветных заботах о деле русской культуры в эмиграции. Он был одним из создателей и редакторов "Современных Записок", где публиковал свою большую историософскую работу "Пути России", при "С. З." создал русское издательство, он же основал "Русские Записки", но по "независящим от него обстоятельствам" этот журнал перешел в руки П. Н. Милюкова: издатель, М. Н. Павловский, в прошлом эс-эр, как и Фондаминский, не пожелал, чтоб "Р. З." велись Фондаминским в христианско-демократическом духе, предпочитая позитивиста П. Н. Милюкова. И. И. Фондаминский от эсерства в эмиграции ушел, став христианским демократом. Оставив "Р. З." Милюкову, он стал

вместе с "созвучными" ему Г. П. Федотовым и Ф. А. Степуном издавать христианско-демократический "Новый Град". Большое участие И. И. принимал в привлечении к эмигрантской литературе молодых (уже эмигрантских) поэтов и писателей. Создал их литературную группу под названием "Круг" и помог издавать альманах того же названия. Будучи человеком состоятельным, И. И. помогал многим материально. Вообще в смысле кипучести, разносторонности, неутомимости и бескорыстия его дел (я думаю) Илье Исидоровичу в эмиграции не было равных.

Вот и "Русский Театр" был его созданием. Он сколотил некую "группу содействия" (А. Гурвич, М. Алданов, Н. Тэффи, Н. Авксентьев, В. Зензинов и др.), сбил для театра актерскую группу, преимущественно из молодых и создался "Русский Театр". Я попал в его орбиту после случайного разговора с В. М. Зензиновым о моем романе "Азеф" ("Генерал БО"). Не в пример другим эс-эрам, усмотревшим в моем романе чуть ли не пасквиль на эс-эров (напр. Брежневская даже запретила, чтобы кто-нибудь приносил мою книгу в ее дом), Зензинов (он тоже в романе выведен под его настоящей фамилией, как и другие) никаких "плохих чувств" к роману не питал. Улыбаясь, он сказал мне, что спервоначала подумал, что я написал роман из китайской жизни. — "Почему?" — "Да потому, что у нас никто Боевую не называл - "БО", всегда говорили "Б. О." (то есть "Бе. О."). — И еще В. М. удивился, что я использовал его воспоминания о Б. О., которые печатались в газете "Форвертс" на идиш. — Может быть вы владеете идиш? — улыбаясь, спросил В. М. — Нет, к сожалению. Но Николаевский дал мне ваши воспоминания на русском языке. — Этому В. М. не удивился, он знал: — что только в архив Николаевского ни попадало.

В этом разговоре я и упомянул, что по этому роману у меня написана пьеса "Азеф". Зензинов заинтересовался. — А знаете, я скажу об этом Илье Исидоровичу, это может заинтересовать "Русский Театр".

Сказать И. И. было просто, ибо Зензинов жил у Фондаминского. Они были друзья с отроческих лет, к тому же партийные товарищи, эс-эры. Вскоре я получил от Фондаминского "пневматичку", он приглашал меня к нему. Я пришел. Дверь открыл сам Фондаминский. Высокий, хорошо сложенный, красивые черты

лица, седоватые волосы — в целом — человек видный, приятного облика. Поздоровались. Провел через ряд комнат в гостиную. Еще недавно, когда была жива его жена Амалия Осиповна, женщина (как говорили) редкой красоты и обаятельности, друг Зинаиды Гиппиус, кому Гиппиус посвятила немало стихотворений, в этой просторной и (вероятно) дорогой квартире Фондаминские давали "чай", на которых (как говорил Зензинов) перебывал весь русский литературно-музыкально-артистический и политический Париж: Мережковский и Гиппиус, Бунины, Зайцевы, Шмелев, Тэффи, Аминадо, Ходасевич, балерины Карсавина и Федорова 2-я, художники А. Яковлев, Н. Гончарова, М. Ларионов, В. Шухаев, Борис Григорьев, мексиканец Диего Ривера, пианист Артур Рубинштейн; политики: Милюков, Керенский, Струве, Авксентьев, Церетели, Вольский (Валентинов), литературная и актерская молодежь... Теперь квартира носила холостяцкий характер, жили только Фондаминский и Зензинов. Комнаты, через которые мы прошли, заставлены полками с книгами, в одной комнате — стучала на пишущей машинке мать Мария (Скобцова, погибшая в гитлеровском концлагере Равенсбрук). Из другой вышел Зензинов.

Мы сели в гостиной — Фондаминский, Зензинов и я. Фондаминский сразу "взял быка за рога". Видимо к роману он, как и Зензинов, не относился "в штыхы" (как Бренсковская). Я коротко рассказал о пьесе, о ролях. Фондаминский спросил, не хочу ли я прочесть пьесу у него всей труппе "Русского Театра". Я согласился. И вскоре чтение состоялось. "Председательствовал" Фондаминский, были: Григорий Хмара и все актеры труппы — Богданов, Петрункин, Чернявский, Загребельский, Карабанов, Токарская и другие.

Когда я читал, я был уверен, что пьеса моя хороша. Только позже я понял, что всё "как раз наоборот". По окончании чтения Фондаминский попросил присутствующих высказываться. Актеры высказывались: и все положительно. Только один (помню) выразился "загадочно": — "Во всяком случае, — сказал он, — пьеса Романа Борисовича не хуже пьесы Алданова "Линия Брунгильды". — Комплимент довольно двусмысленный, ибо поставленная этим театром "Линия Брунгильды" была, по моему, каким-то "нагромождением разговоров". Итак, мой

"Азеф" пошел на сцену "Русского Театра".

Теперь-то я знаю, почему моя пьеса была плоха. Потому, что в ней не было никакого *"театра"*, никакой, совершенно необходимой для сцены, *"театральной игры"*, никакой *"игровой завлекательности"*, без чего *"театра"* нет. Это были *"исторические сцены"*, быть может, неплохие по диалогам, но *театра, игры, сцены* не было. Правда, когда я прочел, левой ногой состряпанную в СССР А. Толстым пьесу "Азеф", я увидел, что такой *халтурищи* я, конечно, не написал. Но "Азеф" Толстого и не увидел рампы даже в СССР, сцены которого больше полувека трещат от отвратительной халтуры.

Режиссировал "Азефа" Гр. Хмара. Он же взял роль Савинкова. Каляева — Богданов, Сазонова — Петрункин, Азефа — Загребельский, Ивановскую — Токарская, жандармского генерала — Чернявский. Присутствуя на репетициях, я видел, что никакого Савинкова Хмара не сыграет. Савинков слишком для него *"тонок"*. Эту психологическую *"тонкость"* Хмара заменял каким-то *"надрывным криком"*, что было, разумеется, фальшью. Кто был на месте *по внешности*, так это Загребельский — Азеф. Он вполне мог играть эту роль без всякого грима: вылитый живой Азеф. Но и только. А этого было, конечно, маловато. Кто, по-моему, был хорош, это Чернявский — жандармский генерал и Токарская — старая террористка. Но это были роли эпизодические.

Итак, день премьеры настал. Смотреть свою пьесу на сцене никому не советую. Разве только известным драматургам известных пьес, когда от аплодисментов публики — *"рухнул зал и театр застонал"*. Но смотреть мне, никакому не драматургу, свою плохую пьесу в плохой постановке — это был с моей стороны *"героизм"*, совершенная пытка, подлинное мучительство. На *"Линии Брунгильды"* Алданов не отважился остаться в зале, *"не хватило нервов"*, ушел в ближайшее кафе и в антрактах друзья прибегали и *"докладывали"* ему: как и что. Думаю, привирали, вероятно, из *"сострадания"*. Нервно я оказался крепче Алданова. *"Стиснув зубы"*, *"несмотря ни на что"*, решил стать зрителем. Только сел в самый дальний угол самого последнего ряда, а Олечка и двоюродная сестра Ляля остались во втором ряду (авторские места).

Театр был полон до отказа. Билеты все проданы. В первом ряду Вл. Л. Бурцев, И. А. Бунин, И. И. Фондаминский, Б. К. Зайцев с женой, Тэффи рядом с кн. Феликсом Юсуповым (убийцей Распутина), коего я улицезрел впервые, М. Алданов, В. Зензинов, Илья Сургучев, многие знатные россияне, рецензенты газет. Занавес поднялся. И началась моя мука. Я видел: и это не то, и то не так, и это никуда не годится, и то фальшиво. Публика была вежлива. После каждого акта хорошие аплодисменты (конечно, "не переходящие в овацию", но продолжительные). Стало быть, публика "приняла".

В антракте из своего "угла" я пошел к жене. И она и Ляля довольны. Только жена сказала, что Бунин из первого ряда всё поворачивался и смотрел больше на Лялю чем на сцену. "Это было совершенно неприлично", проговорила жена*. Когда же на сцене (при крайней убогости обстановки) Азеф должен был спать и во сне бормотать фразы, могшие его разоблачить — и тучный Загребельский вместо постели с превеликим трудом улегся на какую-то убогую, кузую для него кушетку, Бунин во всуслышание произнес: "Недурна картинка!". И был, конечно, прав.

В этом же антракте я встретил Вл. Л. Бурцева в коридоре, он был в полном восторге. Но вот от чего:

— Господи, да откуда вы выкопали такого Азефа? Ведь это же вылитый, ну, вылитый, живой Азеф, а уж я-то Азефа знал!

И это была сущая правда. И я был рад, что хоть этим обрадовал Владимира Львовича. Встречные знакомые говорили мне приятные слова. Но я-то чувствовал полное "авторское отчаяние", хоть и не показывал вида. Единственно чем я себя утешал, — что сбор полный и я получу хорошие авторские. Но, увы, и тут меня постигла неудача. Администратор театра был многоопытный жулик, умевший "остричь" любого автора. Наговорив мне с три короба какой-то чепухи, он сказал, что сейчас не может решительно ничего заплатить: расходы, расходы и расходы. Этим и кончилась для меня "премьера".

Отзывы русских газет о спектакле были положительные.

*У Ивана Алексеевича была эта слабость разыгрывать из себя некоего охваченного страстью, юного Арсеньева, и нарочито, на-людях. Но страсть эта — вполне безобидная.

"Последние Новости" похвалили, они всегда поддерживали "Русский Театр". Но и младоросская "Бодрость" (30.3.37) отзывалась доброжелательно: "Пьеса смотрится с неослабевающим интересом... Хороша г-жа Токарская в роли старой революционерки, очень неплохо переданы Петрункиным и Богдановым — Сазонов и Каляев. Остальные артисты дружно поддерживали общий темп пьесы, прошедшей с несомненным успехом". В "Возрождении" (22.5.37) Илья Сургучев дал большой отзыв, меня слегка удививший, ибо Сургучев имел несомненное отношение к театру, его "Осенние скрипки" прошли в МХТ (правда, кажется их провел Вл. И. Немирович-Данченко при большом сопротивлении К. С. Станиславского, но все же как бы там ни было — прошли!). "Пьеса г. Гуля, — писал Сургучев, — не пьеса, собственно, а скорее — ревью, обозрение, в котором кружится ряд зловещих, окровавленных покойников. Театр хорошо сделал, напомнив о том зловонном дне, на которое упала большая политическая партия, наделавшая России много труднопоправимых бед. Пусть молодежь поймет, что нет ничего легче, как бросить топор в воду: попробуйте его вынуть. Спектакль будет полезным и для молодежи... г-н Загребельский отлично "взял" Азефа с его низким лбом, бычьей шеей и кувшинным рылом. Очень хорошо задумана его "спина" в начале первого акта. Роль еще эскизна, но наличие большой театральной находки несомненна. Хорошо, отчетливо и тоже в масштабе большого рисунка сделан Савинков у г. Хмары. Если бы у автора хватило сил по настоящему сделать жандармского генерала, то г. Чернявский мог бы дать фигуру, стоящую на уровне Порфирия из Достоевского... Гг. Богданов, Петрункин, Новоселов, Кононенко, Карабанов, чета Бологовских высоко несли знамя русского театра... Поставлена пьеса очень хорошо и тщательно, иногда — в манере Гран-Гиньоля".

Ну, насчет "Гран-Гиньоля" это, конечно, от лукавого. Ничего, разумеется, похожего на "Гран-Гиньоля" в пьесе не было, да и быть не могло. "Гран-Гиньоля" переживал я, в самом дальнем углу последнего ряда.

"Азеф" прошел четыре раза. И все разы "с аншлагом". Публика шла. Отмечу, что Вл. Л. Бурцев смотрел "Азефа" все четыре раза, сидя в первом ряду. Вероятно, будил в себе

"заснувшие страсти" и "прошлую славу". Но я за все "четыре страдания" от администратора-жулика так никакого "утешения" и не получил. А когда, возмущенный, сказал об этом Григорию Хмаре, тот, иерихонски расхохотавшись, проговорил: "Да разве вы его не знали? Он — живоглот, он так жаден, что носки стирает в одном стакане воды, а второго ему жалко".

После четвертого представления "Азефа" сняли с репертуара, но не потому, что не делал сборов. Снятию предшествовало заседание у И. И. Фондаминского. Председательствовал Н. Д. Авксентьев, кратко сказавший, что при начавшихся преследованиях евреев в Германии он считает, что лавать пьесу "Азеф" — *unzeitgemäss*. Почему-то Авксентьев так и сказал по-немецки: — "*unzeitgemäss*". Я знал, что он обучался наукам в Гейдельбергском университете. Не думаю, чтоб Авксентьев был прав. На эту тему правильно когда-то сказал первый президент Израиля Х. Вейцман: — "разрешите и нам иметь своих мерзавцев". Но так или иначе моя "драматургия" кончилась. И никогда других пьес я не писал, поняв, что я не драматург. И вообще *театр, как таковой*, не моя стихия. Я не театроман, не балетоман. Духовно и душевно для меня ничего нет более неприемлемого, чем, скажем, "театрализация жизни" Н. Н. Евреинова или "нарочитая снобистика" В. Набокова. Мне первоценно в жизни то, что немцы хорошо называют "*das Elementare*" (первозданное, первопричинное, стихийное). Я люблю *реалику* жизни, люблю "пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужиков", а не Жизель, которая умирая, "дрыгает ножкой на сцене лунно-голубой" (по Ходасевичу).

Русские во французском кино

Хочу хотя бы вкратце отметить работу русских эмигрантов во французском кино. Пожалуй, даже не работу, а "вклад", если согласиться с известным французским кинорежиссером Жаном Ренуаром (сыном знаменитого живописца-импрессиониста), писавшего о фильме Ивана Мозжухина и Александра Волкова "Пылающий костер": "Зал свистал и рычал, шокированный этим спектаклем, настолько отличавшимся от обычной банальщины. Но я был в восторге. Наконец-то я увидел хороший фильм, созданный во Франции. Правда, он был сделан *русскими*, но — в

Монтройе, во французской атмосфере, в нашем климате". А историк французского киноискусства Марсель Лапьер писал о кинорежиссере А. Волкове, поставившем фильм "Гений и беспутство" (по роману А. Дюма-отца "Кин"): — "Фильм чрезвычайной кинематографической напряженности и должен быть отмечен во всех антологиях немого искусства".

После такого "французского эпитафия" полагаю себя в праве помянуть добрым словом русских деятелей французского кино 20-х и 30-х годов: актеров, художников, режиссеров, продюсеров. Упомяну лишь главных, дабы не начал зевать и скучать "от перечня" мой читатель.

Начнем с актеров, но с некой печальной оговоркой: фильмы со знаменитыми русскими актерами Иваном Мозжухиным, Николаем Колиным, Валерием Инкижиновым шли во всем мире. Этих чудесных "немых актеров" знал *мировой кинозритель*, но... но только до первого "говорящего" фильма, то есть, до 1931 года. Когда "великий немой" неожиданно заговорил, международные карьеры "немых" знаменитостей вместе с баснословными гонорарами, мировой рекламой и беспечной жизнью оборвались. Утешеньем могло служить, что такую же судьбу разделил "сам" Чарли Чаплин. Утешение малое.

Во времена "немого" кино наиболее блестящим зарубежным русским актером во Франции (а стало быть во всем мире) был Иван Ильич Мозжухин. В Париже я встретил его раз, но мельком и во времена уже "говорящего фильма", когда Мозжухин был в полном упадке. В мировой славе я его лично не знал. Но помню его со стародавних времен, ибо Иван Мозжухин — земляк, как и я, пензяк, "толстопятый". Только разница в возрасте была большая. Я — в I-м классе Первой гимназии. А Мозжухин — в 8-м классе Второй гимназии. Но уже тогда Мозжухин часто выступал на сцене в любительских спектаклях и спектаклях смешанных из актеров и любителей. Помню его в пьесе Островского "Лес" в Зимнем Театре Вышеславцева (в Пензе было два репертуарных театра — Зимний и Летний). В "Лесе" Мозжухин играл "Алексиса". Богатую, пожилую помещицу Гурмыжскую играла наша близкая знакомая — Арсеньева (запомню имя и отчество), а недоучившегося гимназиста, за которого она выходит замуж, Алексея Буланова, "Алексиса".

играл Можухин. И играл превосходно, по крайней мере — я его запомнил.

В Пензе гимназист Можухин был необычайным франтом, таких тогда звали "пижонами": в обтянутых брючках со штрипками, в фуражке с крошечными полями (мода тех времен), в шинели с иголки. После гимназии пошел на сцену и выдвинулся сразу, (если не ошибаюсь) в Петербурге в Народном Доме и в первых тогдашних кинофильмах (помню, очень хорошо играл "Отца Сергия" по одноименному рассказу Льва Толстого).

Заграницей же, в эмиграции в Париже начался "блеск": фильмы "Буря" (1921), "Дом тайны" (1922), "Казанова" (1922), "Пылающий костер" (1922), "Белый дьявол" (по "Кавказскому пленнику" Лермонтова, 1922), "Кин" (по роману Дюма, 1923), "Мишель Строгов" (по Жюль Верну, 1925), "Сержант Икс" (1932), "Моналеско, король грабителей", "Халджи Мурат" (по Льву Толстому) и многие, многие другие. Кроме актерства Можухин был и режиссером вместе с А. Волковым. Слава и деньги лились рекой. Но все это... до 1931 года, до тех пор пока "немой" не заговорил. Тогда для талантливейшего русского актера Ивана Ильича Можухина началось угасание: угасание славы, безденежье, ибо ничего не копилось, а по-русски всё пролетало: "гений и беспустество", "однова живем!". И наконец — заболевание (туберкулез, кажется) и тяжкая смерть в нужде, в безденежье, в чужом Париже. Хоронить Можухина было не на что. Друзья актеры, художники, музыканты вскладчину похоронили на Пер-Лашез пензяка Ивана Ильича Можухина.

В советской "Театральной Энциклопедии" — ни одной строки нет о талантливейшем И. И. Можухине. Память о нем только и осталась в истории французского "немого" кино.

Столь же знаменит во французском немом кино был Николай Колин, об игре которого французы писали восторженно - "великий Колин"! Он действительно был актер Божьей милостью. Николай Федорович Колин начал актерскую работу в I Студии МХТ вместе с Ричардом Болеславским, в эмиграции ставшим большим режиссером в Голливуде, поставившим множество фильмов. Десять лет Колин был бессменным членом Правления I Студии. В МХТ с подлинным блеском выступал в

"Двенадцатой ночи" Шекспира, в "Гибели Надежды", "Вельме", "Юбилее", "Сверчке на печи", в "Селе Степанчикове" и многих других пьесах. В I-й Студии с учениками консерватории поставил оперу "Евгений Онегин". Уже в России у Колина было настоящее большое имя. В МХТ он играл те же роли, что и Михаил Чехов. О своей работе в I Студии МХТ Колин пишет: "Я не выходил из студии, разве когда был занят в самом МХТ. А почему не выходил? Очень просто: я жил в студии. Спал на диване (он так и назывался "Колинский диван"), в комнате, где гримировался мужской персонал". В кино в России Колин не снимался (запрещали Константин Сергеевич и Владимир Иванович, оба не признававшие кино настоящим искусством).

Став эмигрантом, в Париже Николай Колин начал сниматься в кино и создал себе во Франции большое имя. Особенно известны его фильмы: "600 тысяч в месяц", "Втихомолку", "Парижский тряпичник", "Пылающий костер", "Кин" и многие другие. В "Кине" и "Пылающем костре" Колин выступал вместе с И. Можухиным. Вот что Николай Федорович пишет об Иване Можухине в письмах к режиссеру К. Е. Аренскому, которые я напечатал в "Новом Журнале" (кн. 113): -"Заметьте, многие киноартисты кончают жизнь нелепо. Можухин, краса и гордость русского кино, снимался без передельшки, гонорары имел аховые, а на похороны собирали деньги по подписке. Куда ушли деньги, непостижимо, он и сам не знал".

А о себе Колин пишет: "Мой жизненный монтаж тоже был сделан плохим сценаристом. Бум! Трах! Бах! Фейерверк на весь Париж. Потом говорящий фильм, который нас всех по башкам... Да, Париж... Париж город сверхъестественный. Прожил в нем почти 20 лет, сжился с ним, полюбил его всеми фибрами души. Здесь начиналась и кончилась моя кинематографическая карьера (немой фильм). Достиг высот необычайных и с приходом говорящего фильма тихо спустился вниз. Сказка кончилась".

Русские актеры (по крайней мере настоящие, прежние, свободные) люди совсем иной породы. Европейские и американские "звезды" сходят со сцены нормально: с хорошим капиталом и комфортабельно доживают свой век (Чаплин, Джон Вейн, Жан Габэн, Гари Грант, Грегори Пек, Мэри Пикфорд, Грета Гарбо, Марлен Дитрих и пр.). Русские же "звезды" почти

все — "с иступлением чувств", и конец их часто трагический. У Мозжухина было беспутство и сорил деньгами без удержу. У Колина тоже был "порок": никак не мог оторваться от тотализатора. Даже на старости лет (79 лет от роду), уезжая из Европы в Америку, пишет Аренскому: "Теперь о самом главном: где в Америке существуют бега? (это значит лошадки бегают...). Не смешайте со скачками, хотя и скачки меня тоже интересуют. Не случайные бега, а регулярные, т. е. летом и зимой, и во всякую погоду. Это моя вечная страсть". Кстати, та же страсть разорила знаменитого Никиту Балиева и вместе с ним его "Летучую мышь" (не мог оторваться "от лошадок").

В 1956 году Н. Ф. Колин приплыл из Европы в США. Тут под Нью Йорком, в Наяке, и скончался в 1973 году 95 лет от роду. Жил в бедности. Друзья собирали для него деньги вскладчину. А он писал Аренскому: "Раскрываю книгу, моя "святая святых", которую берегу как зеницу ока. Это все рецензии о I Студии МХТ... И везде Колин, Колиным, о Колине... Рецензии такие, что реву белугой, когда читаю их..."

Видное место среди русских киноартистов на Западе занимал Валерий Инкижинов, советский актер, сотрудник Вс. Мейерхольда, получивший известность исполнением главной роли в советском фильме "Буря над Азией". В середине 20-х годов, будучи на Западе, В. Инкижинов "выбрал свободу", став эмигрантом. Исполнял главные роли в фильмах "Безрадостная улица" с Гретой Гарбо, "Амок" фильм Ф. Оцепа (советского режиссера, тоже "выбравшего свободу" и ставшего эмигрантом), "Пираты рельс", фильм Кристиана-Жака, "Волга в огне", фильм В. Стрижевского, "Триумф Строгова", фильм В. Туржанского, "Дочь Мата-Хари", фильм Э. Мерузи и во многих других.

Наталия Кованько, киноактриса, получившая известность еще до революции, в Париже играла главные роли в фильмах В. Туржанского "Прелюд Шопена", "Песнь торжествующей любви" (по Тургеневу), "Тысяча и одна ночь", "Замаскированная дама" и во многих других. Наталия Лисенко, киноактриса тоже известная еще до революции, в Париже выступала в главных ролях в фильмах "Тревожная авантюра", Я. Протазанова, "Дитя карнавала", "Кин" — фильмы А. Волкова, "Афиша", фильм И. Эпштейна, "На рейде", фильм Кавальканти и во многих дру-

гих. В письме К. Аренскому Н. Колин пишет о ней то же, что и о Мозжухине: "Лисенко, красавица, одевалась в лучших мезонах Парижа, сорила деньгами, никаких счетов в банках не имела, и теперь кончает жизнь в старческом доме под Парижем без единого сантима" (письмо от марта 1962 г.). Сандра Милованова, ученица Анны Павловой, стала киноактрисой, играла в фильмах: "Тревожная авантюра", Я. Протазанова, "Мимолетные тени", А. Волкова, "Призрак Мулэн Руж", "Жертва ветра" — фильмы Ренэ Клэра, "Мишель Строгов", фильм В. Туржанского и во многих других. Поликарп Павлов, известный артист МХТ играл в фильмах "Раскольников", "Шехерезада", фильм А. Волкова, "Панама", фильм Н. Маликова, "Идиот" (по Достоевскому), фильм Г. Лампена, "Анастасия", фильм А. Литвака, "Монпарнас 19", фильм Ж. Беккера и во многих других. Николай Римский (актер Юга России) в Париже выступал в кино — "Роковой срок", фильм А. Волкова, "Тысяча и одна ночь", "Эта свинья Морэна", "Замаскированная дама" — фильмы В. Туржанского, "Счастливая смерть", "Белый негр" — фильмы Надеждина и во многих других. Владимир Соколов, артист Московского Камерного Театра, играл в Париже в фильмах: "Опера за 4 гроша", фильм Пабста, "На улицах", фильм В. Триваса, "На дне" (по М. Горькому), фильм Жана Ренуара, сценарий Евг. Замятина, "Мейерлинг", фильм Литвака и во многих других. Григорий Хмара, артист I Студии МХТ играл в фильмах "Распутин", "Человек, который убил" (по Клоду Фарреру), "Один раз в жизни", "Друг придет вечером", фильм Раймона Бернара и во многих других. Ольга Чехова — в России начинающая, но известная уже актриса, выступала в Париже в фильмах: "Соломенная шляпа" Ренэ Клэра, "Мулэн Руж", фильм Э. Дюпона и во многих других. Федор Иванович Шалапин в Париже играл Дон Кихота в фильме "Дон Кихот" (по Сервантесу), Аршавир Шахатуни выступал в фильмах: "Мишель Строгов" В. Туржанского, "Наполеон" А. Ганса, "Угроза" Ж. Бертэна, "Андроник" и в других. Обрываю перечень, который совсем не полон, но для очерка "Русский Париж", думаю достаточен.

Перейду к русским художникам, работавшим во французском кино, из которых многие имели большое имя, а другие

создали себе имя в кино. Названий фильмов не указываю, ибо это отяжелит перечень: А. Андреев, Мих. Андреев, Юрий Анненков, А. Бакст, А. Бенуа, Н. Бенуа, Борис Билинский, А. Божерянов, К. Бруни, Г. Вакевич, М. Добужинский, И. Лошаков, Л. Мейерсон, П. Минин, Н. Ремизов, Петр Шильдкнехт и мн. др. Обрываю.

Как фильмовые режиссеры в Париже работали: А. Волков, А. Грановский, Г. Лампен, А. Литвак, Вяч. Туржанский, Вл. Стрижевский и др. Как "продукторы" — ветеран русского кино, начавший еще в России, И. Н. Ермольев ("Тревожная авантюра", режиссер Як. Протазанов, "Роковой срок", режиссер А. Волков, "Денщик" /по Мопассану/, режиссер В. Стрижевский). Ермольев поставил много фильмов, имевших большой успех. Еще больше фильмов выпустил А. Б. Каменка ("Прелюд Шопена", режиссер В. Туржановский, "Кармен", режиссер Жак Федер, "На дне" /по Горькому/, режиссер Жан Ренуар, "600 тысяч в месяц", "Песнь торжествующей любви" /по Тургеневу/, режиссер В. Туржанский, "Цвет папоротника", фильм марионеток Вл. Старевича, (кстати, режиссер и оператор В. Старевич был первым, выдумавшим в кино театр марионеток). В своем обществе "Альбатрос" А. Каменка поставил великое множество разнообразных фильмов. Интересные фильмы ставил и А. Р. Гурвич в обществе "Луна-фильм": "Собака Баскервильей", по Конан Дойлю, главную роль играл артист МХТ Георгий Серов из Студии МХТ, выступавший и во французском театре Шарля Дюлена. Умер Серов на сцене от разрыва сердца. Стоит отметить, что "собаку" (баскервильскую) "играла", если так можно выразиться, сестра поэта Ю. Терапиано. Она так выла, что у зрителей шли мурашки по коже. В "вытье" и была ее роль. В "Луна-Фильм" вышли: "Вдова повешенного" с югославской артисткой Итой Риной, "Драма Маттерхорна", оперетта "Только не в губы", музыка Мориса Ивена, режиссеры Н. Римский и Н. Евреинов, "Управляйте мной, мадам!", "Любимица батальона", музыка польского композитора Казимира Оберфельда, "Дядя из Пекина", режиссер Никита Гурвич под псевдонимом Жак Дармон. Много фильмов выпустил известный продюсер Григорий Рабинович, раньше работавший в большом немецком фильмовом Обществе

"Уфа": "Набережная в тумане", режиссер М. Карнэ, "Я была авантюристкой", режиссер Р. Бернар, "Биение сердца", режиссер А. Декуэн, "Травиата", "Фауст", "Маскарад", "Божественная каста" и мн. др.

С годами во французское кино пришли русские "эмигрантские дети", "почти французы": — Роже Вадим (Племянников), Марина Влади (Полякова-Байдарова), Натали Натье (Н. Беляева). Но это уже много лет спустя после моего "въезда" в Париж. И к моей теме не относится.

Русские художники в Париже

Тема о русских художниках в Париже "объемна", как говорят теперь по-советски. Не знаю, дам ли я в кратком наброске достаточно для общей картины "русского Парижа"?

Общеизвестно — Париж всегда был столицей мировой живописи. Помню мое парижское уличное удивление, которого не пережил ни в одной стране, ни в одном городе. Сидит на площади (или на улице) на каком-то "треножнике" художник, пишет пейзаж. Вокруг плотным кружком стоят разные люди (остановившиеся прохожие) и молчаливо, внимательно, заинтересованно следят за его мазками по полотну. Стоят долго. И я вижу, что все они относятся к работе художника, как к *настоящему делу*.

Русские художники подолгу жили в Париже и до революции. А после нее наводнили Монпарнас, Монмартр, Сан-Жермен-де-Прэ, став парижанами. Тут были все: реалисты, мирискусники, предметные символисты, импрессионисты, экспрессионисты, абстракционисты, кубисты, дадаисты и т. д. Основоположник "Мира искусства" Александр Бенуа; Юрий Анненков, иллюстратор "Двенадцати" А. Блока, рисовальщик портретов Ленина, Троцкого и автор двухтомных воспоминаний "Дневник моих встреч", Наталия Гончарова и Михаил Ларионов ("Бубновый валет", "Ослиный хвост"), о них убитый чекистами Н. Гумилев писал: — "Восток и нежный и блестящий / В себе открыла Гончарова / Величье жизни настоящей у Ларионова сурово". Иван Билибин, Константин Богаевский, Мстислав Добужинский, Борис Григорьев ("Расея"), Константин Корвин,

Н. Милиоти, Зинаида Серебрякова, Константин Сомов, Сергей Судейкин, Дм. Стеллецкий (когда Дягилев в Париже предложил ему написать декорации к какому-то балету, показавшемуся Стеллецкому кощунственным, отказ свой художник объяснил так: — "Во-первых, я дворянин, во-вторых, я русский дворянин, в-третьих, я русский православный дворянин"; Стеллецкий расписал церковь на Сергиевском Подворье в Париже); А. Яковлев (участник двух экспедиций, устроивших Андрэ Ситроэном, — "Черный поход" через Африку и "Желтый поход" через Азию — давших Яковлеву сотни полотен, рисунков, эскизов, выставлявшихся в Париже); Василий Шухаев (вернувшийся в 1935 году в СССР и за сию глупость получивший 15 лет концлагеря, как "вредитель"; работал 15 лет на лесоповале); Леон Бакст — столп "Мира искусства", портретист и театральный художник, оказавший влияние на декорационное искусство Франции, Сергей Чехонин, делавший чудесные, смелые костюмы и декорации в балете Немчиновой-Долина и в "Летучей Мыши" Никиты Балиева; Иосиф Браз (известный портретист /портрет Чехова/ приехал в Париж в 1930 году после 10-летнего заключения на Соловках), Владимир Лебедев, стяжавший у французов известность, как гравер и иллюстратор; бежавший от Гитлера, знаменитый отец абстракционизма Василий Кандинский, автор книги "Духовное в искусстве"; не менее знаменитый Марк Шагал, живописец летающих местечковых евреев, зеленых хасидов, мистических иллюстраций к Библии, сделавший плафон для парижской Гранд Опера; Георгий Лукомский, известный иллюстратор книг многих городов ("Киев", "Московский Кремль" и др.), Хаим Сутин, Конст. Вещилов, Григорий Шильян, Дм. Бушен, А. Серебряков, Иван Пуни, Константин Терешкович, Сергей Шаршун, Леон Зак, Ник. Исаев, Ник. Бенуа (театральный художник, сын Александра Бенуа), Р. Пикельный, Мих. Андреев, Дм. Меринов, Любич, Кремень, Леонид, Борис Билинский (театральный художник). А. Андреев (театральный художник из МХТ, во Франции работал для кино), С. Лисим, Борис Шаляпин (сын Ф. И. Шаляпина). Обрываю перечень, хоть знаю, что многих пропустил. Отмечу еще только четырех, попавших в эмиграцию совсем "зелеными" и сделавших себе международное имя:

Андрей Ланской, Николай де Сталь, Павел Челищев и Сергей Поляков (из известной цыганской семьи Поляковых). О их творчестве много написано. Их работы — в музеях Европы и Америки.

Русская музыка в Париже

Общеизвестно, что большевицкие псевдонимы выбросили из России за рубеж цвет русской культуры во всех ее областях: в философии, в науке о праве, в экономике, истории, социологии, археологии, в точных науках, в адвокатуре, в литературе, в театре, балете, опере, в живописи, в музыке. Конечно, кто-то из представителей старой русской культуры остался и в Сов. России (либо не хотел уйти в изгнание, либо не мог). С годами оставшиеся были уничтожены: одни физически, другие приведены к молчанию. Были и такие, кто пошел в услужение к псевдонимам, покончив, так сказать, духовным "самоубийством".

Можно утверждать, что русская музыка в Париже 20-х и 30-х годов была явлением не русским, а мировым. С 1920-х годов до 1939-го в Париже жил Игорь Федорович Стравинский, создавший себе мировое имя. В СССР музыки Стравинского в эти годы *не существовало*, ибо это был "сумбур вместо музыки", и в течение десятилетий Стравинского там успешно заменял... Тихон Хренников. Говоря о творчестве И. Ф. Стравинского, упомяну лишь некоторые его композиции, созданные за рубежом: одноактная опера "Мавра" по поэме Пушкина "Домик в Коломне", хореографическая кантата "Свадебка", мелодрама-балет "Персефона" (по А. Жиду), "История солдата", "Русская песнь", "Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана", "Фавн и пастушка", балеты "Песнь соловья", "Пульчинелла", "Попелуй феи", "Апполон Мусагет". В 1926 году в Италии, в Падуе, на праздновании 700-летия св. Антуана Падуанского с атеистом-эстетом Стравинским "что-то произошло": что мы точно не знаем. Стравинский "обрел веру". И с тех пор его музыка обогатилась религиозными темами. Он создал "Отче наш", "Верую", "Богородице, Дево радуйся". В 1939 году Стравинский переехал в США. Скончался в 1971 году. Похоронили знаме-

нитого русского композитора, по его желанию, в Венеции на кладбище "San Michele" недалеко от могилы Дягилева.

Столь же громкое мировое имя приобрел за рубежом Сергей Сергеевич Прокофьев. Его вещи: — скомороший балет "Сказка про шута семерых шутов перешутившего", "Любовь к трем апельсинам" по Карлу Гошши, опера-сказка "Огненный ангел" по Валерию Брюсову, балеты — "Стальной скок", "Блудный сын". Кроме того *пианист* Прокофьев концертировал во всем мире и везде с "бушующим успехом". Но в 1932 он возвратился в СССР. Думаю, из-за своей природной "экстравагантности". И что же? Как пишет советская театральная энциклопедия: "Прокофьев занял почетное место в ряду активных *строителей* (ну, конечно же "строителей", а как же иначе?!) *музыкальной культуры*". Ведь в СССР трудящиеся 65 лет *строят* социалистический "хрустальный дворец с золотыми уборными". И С. С. Прокофьев "включился" в *строительство*, создав оперу "Семен Котко" по халтурной повести В. Катаева "Я сын трудового народа" и оперу "Повесть о настоящем человеке" по халтурной повести Б. Полевого. За 20 лет "строительства музыкальной культуры" С. С. Прокофьев шесть раз был "удостоен Сталинской премии" ("Иван Грозный", "Александр Невский", "На страже мира", "Здравища" и пр.). Но умер Прокофьев неудачно: 5 марта 1953 года, в один день со Сталиным. Смерть прошла незамеченной (народ оплакивал великого вождя народов). Но посмертно новые вожди наградили Прокофьева Ленинской премией! И о когда-то свободном, дерзком, насмешливом, экстравагантном композиторе Прокофьеве казенные органы писали, что в СССР у Прокофьева произошел "поворот к подлинно-реалистическому искусству, проникнутому глубокой человечностью". Эта "глубокая человечность" прильглась и к Ленину, и к Сталину.

Жил и работал в эти годы в Париже Александр Константинович Глазунов, бывший директор Петербургской консерватории, в 1922 году даже — Народный Артист Республики. Но Глазунов променял эту "золотую уборную" на трудную, свободную жизнь за рубежом. Упомяну его прежние произведения: балет "Раймонда", музыка к пьесе "Саломея" Оскара Уайльда, к драме Лермонтова "Маскарад", 8 симфоний. В Париже А. К. Глазунов написал эпическую поэму для Французской

Академии изящных искусств. А как Глазунов относился к "золотым уборным" СССР — приведу цитату из воспоминаний Анны Кашиной-Евреиновой (жены Н. Н. Евреинова). Вот разговор Н. Н. Евреинова и А. К. Глазунова в монмартрском кафе.

"Николай Николаевич, объясните мне, почему мы с вами здесь? Зачем? Вы — русский деятель театра, я — русский композитор. Зачем мы здесь? — говорил уже подвыпивший Глазунов.

— А вам разве ТУДА хочется, Александр Константинович?"

— Ой, что вы, что вы! — испуганно замахал руками Глазунов. — Когда и во сне-то вижу, что я ТАМ, так просыпаюсь в холодном поту!" Скончался знаменитый русский композитор А. К. Глазунов в Париже в 1936 году. В Париже Глазуновым созданы: "концерт-баллада" для виолончели, концерт для саксофона с оркестром, элегия для струнного квартета, 7-й квартет, "прелюд и fuga" для органа, "фантазия" для органа, романсы и др. Для церковного хора — знаменный распев "Да воскреснет Бог".

Жил в Париже Александр Тихонович Гречанинов, написавший здесь музыку к "Женитьбе" по Гоголю (декорации С. Судейкина, 1950), детскую оперу "Кот, петух и лиса", "Литургия Доместика" с участием оркестра, исполнявшуюся во многих католических храмах, "Римские сонеты", сюиты для фортепиано и виолончели, а также вокальные произведения. Я познакомился (и можно сказать даже подружился) с Александром Тихоновичем уже в Америке, в Нью Йорке. Он был милый человек и интересный рассказчик о прошлом, но, к сожалению, обремененный навязчивой идеей: "Чем я хуже Рахманинова, а вот его повсеместно исполняют, а меня замалчивают, да, замалчивают", — то и дело говорил Гречанинов. Незадолго до кончины А. Т. подарил мне книгу своих воспоминаний "Моя жизнь" и хорошую, большую фотографию: он снят в нью-йоркском Сентрал Парке, сидит у какой-то скалы.

Приведу небольшой отрывок из этой книги.

"В 1937 году в Париже был объявлен конкурс на сочинение католической мессы и пяти мотетов для четырехголосного смешанного хора и органа. Я решил принять участие в этом конкурсе. Он был открытый, т. е. имя автора не скрывалось под каким либо девизом. У меня было мало уверенности в том, что бу-

лучи православным, я смогу конкурировать с католическими композиторами в этой области, а потому, написав один мотет, я послал его аббату Henri Delerpin'у, директору издательства, объявившему конкурс, чтобы узнать, стоит ли мне участвовать в конкурсе, могу ли я иметь какой-нибудь шанс на получение премии. В ответ на мое письмо ко мне приезжает сам аббат и выражает восторженные похвалы этому мотету и советует писать дальше. Все пять мотетов написаны, отосланы аббату, — "писать ли мессу?" — спрашиваю.

— Конечно, писать, — отвечает аббат.

Написана и месса. Опять приезжает ко мне аббат, новый мой поклонник, и уверяет, что все написанное мною так хорошо, что я получу все десять премий — и за мессу и за мотеты.

— Вы в этом уверены? — спрашиваю я.

— Настолько, — отвечает он, — что могу дать вам аванс, если желаете.

Это было как-раз кстати, т. к. я собирался в турне в прибалтийские страны с г-жей Макушиной и мне нужны были деньги, чтобы тронуться в путешествие. Уже будучи в Стокгольме я получил официальное извещение, что все мои мотеты и месса получили премии (10.000 франков). А было у меня 38 конкурентов католиков — французов и бельгийцев.

Весной того же года, по возвращении моем из Прибалтики, я дирижировал в Париже своей мессой — названной "Missa Festiva", — в одной католической церкви, а в следующем сезоне месса была торжественно исполнена в соборе Notre Dame de Paris хором в 200 человек также под моим управлением. Служил кардинал Verdier. Собор был переполнен молящимися".

Часто наезжал в Париж Сергей Васильевич Рахманинов. Но в 20-е, 30-е годы Рахманинов больше концертировал во всем мире, особенно подолгу — в Америке, и стяжал мировую славу и богатство. Выступал С. В. и как дирижер, и как пианист. Как композитор С. В. работал мало, написал за границей всего 42-45 опусы. В 1933 году в интервью парижской газете "Последние Новости" Рахманинов сказал: "После России мне как-то не сочиняется... Воздух здесь другой что-ли..." За рубежом Рахманинов написал: "Вариации на тему Корелли" (1931), "Рапсодию на тему Паганини" (1934), "Симфонию № 3" (1935/36).

“Симфонические танцы” (1940). Знатоки его музыки эти произведения считают лучшими достижениями Рахманинова-композитора. В письме к Эм. Карл. Метнеру (брату композитора Н. К. Метнера) Рахманинов в 1929 году писал: — “Я эстральный человек, т. е. люблю эстраду и в противоположность многим артистам не вяну от эстрады, а крепну...” В том же интервью “Последним Новостям” Рахманинов сказал: “В Америке я работаю уже 15-й сезон. За это время я дал около 750 концертов. Я никогда не мог делать два дела вместе. Я или играл, или только дирижировал, или только сочинял”. В сезоне 1929/30 Рахманинов дал 54 концерта: 30 в Европе и 24 в Америке. В Америке не было не только уж большого города, но и маленького городка, где бы не выступал Рахманинов. И всегда — с ошеломляющим успехом, особенно когда играл свои вещи. “Я концертировал в Америке чуть не ежедневно подряд три месяца. Играл исключительно свои произведения...” Может быть никто из русских композиторов и пианистов не завоевал такого — в поллинном смысле — *мирового* имени, как Рахманинов. И это тогда, когда в СССР Рахманинов всего-навсего был “недобитым белогвардейцем” и его произведения не исполнялись. После смерти Рахманинова — спохватились. Номенклатурщики (это людьё), видите ли, “реабilitировали” (перед кем?) великого русского музыканта Сергея Васильевича Рахманинова (какая честь!); и музей его имени, и издание его писем, и исполнение его произведений...

В Париж из Лондона наезжал и другой знаменитый русский композитор-эмигрант: Николай Карлович Метнер, автор ценной книги “Музы и мода”. О нем, как музыканте, хорошо пишет Рахманинов в письме к его брату: “Я решительно сомневаюсь, были ли когда на свете такие пианисты! Непонятно, как он остается жив, источая такое количество энергии и какой энергии!” Но Н. К. Метнер в Союзе не “реабilitирован”. Надо понять и номенклатурщиков: нельзя же “реабilitировать” всю Россию, которую они убили.

Жил в Париже композитор Фома Александрович Гартман, автор оперы “Эстер” и балета “Аленький цветочек”, шедшего в свое время в Мариинском театре. Гартмана высоко ценили и Рахманинов и Шаляпин. В эмиграции Гартман сначала в

Константинополе, потом в Берлине организовал симфонический оркестр для пропаганды русской музыки. Потом переехал в Париж и здесь стал профессором русской консерватории. Написал балет "Бабетта", поставленный в 1935 году в Нише, 4 симфонии, писал и камерную музыку (романсы на слова К. Бальмонта). После войны переехал в США, скончался в Принстоне (1956).

Своеобычным композитором в Париже был Иван Александрович Вышнеградский, из плеяды "русских модернистов" (А. Рославец, Артур Лурье, Обухов, Литинский). По своему мировоззрению Вышнеградский был близок к Скрябину. В Париже он написал свое главное произведение "День Бытия" для симфонического оркестра с чтением, декламирующим текст. Впервые "День Бытия" был исполнен в 1976 году в Париже. Кроме "Дня Бытия" композитор написал ряд этюдов и прелюдий. Писал Вышнеградский и статьи по теории музыки, давая объяснения своего стиля: — трактат "Manuel d'harmonie à quatre de ton", "Musique et Pansonorité", публикуя их во французском журнале "Revue Musicale". Зарубежный музыковед Андрей Лишке в некрологе Вышнеградского пишет, что любимым словом композитора было "Всеzvучие" (Pansonorité) и приводит фразу из его статьи, которая, по мнению Лишке, дает исчерпывающее определение художественного мировоззрения Вышнеградского: "Музыка есть умение наилучшим образом отражать Всеzvучие при помощи музыкальных звуков". Произведения И. А. Вышнеградского исполняются во Франции, Зап. Германии, США, Канаде. Правда, А. К. Глазунов так отзывался о музыке Вышнеградского: "Вчера слушал музыку Вышнеградского на изобретенном им готовом четвертитонном пианино. От этих "четвертей" у меня разболелась голова".

Из преподававших в Русской Консерватории композиторов я ничего не пишу о Вл. Ив. Поль (муж известной камерной певицы Ян Рубан), А. К. Требинском и Л. Л. Сабанееве. Владимира Ивановича Поля я часто встречал в Париже, но совсем не по "музыкальной" линии, а по другой (о чем речь будет дальше). Композиций Поля, к сожалению, не знаю, так же как не знаю, к сожалению, творчества А. К. Требинского и Л. Л. Сабанеева. Я читал много статей Л. Л. Сабанеева по вопросам иску-

ства, и всегда с интересом, ибо Л. Л. был большим знатоком во многих областях искусства.

Жили в Париже известные композиторы, отец и сын, Черепнины. Николай Николаевич Черепнин был первым директором "Русской Консерватории имени Рахманинова". Композитор и дирижер Н. Н. Черепнин, как и А. К. Глазунов, в России был профессором Петербургской консерватории, был дирижером в Мариинском театре. За рубежом создал оперу "Ванька Ключник" (1935), балеты "Вакх" (1922), "Сказка о царевне Улыбе" (1922), "Роман мумии" (1924), редактировал оперу М. Мусоргского "Сорочинская ярмарка", аранжировал для балета оперу Н. А. Римского-Корсакова "Золотой петушок" (1937, Лондон), выступал, как дирижер и пианист.

Александр Николаевич Черепнин (его сын), композитор и пианист, много дал русской музыке за рубежом. Как пианист, концертировал во Франции, Англии, Германии, Австрии, Канаде, США, во всем мире. Ему принадлежат: опера "Оль-Оль" (1928), "Свадьба Зобеиды" (1933), "Трепак" (1938), "Легенда о Разине" (1941). Черепнин оркестровал и завершил неоконченную оперу М. Мусоргского "Женитьба" (1937).

Другими молодыми композиторами Зарубежья были Н. Д. Набоков (балеты "Ода", "Юнион Пасифик", оратория "Иов", "Лирическая симфония" и др.) и Влад. Дукельский (в Париже — балет "Зефир и Флора", в Америке, под псевдонимом Вернон Дюк, Дукельский сделал себе имя в области "легкой музыки").

Жил в Париже композитор А. А. Бернарди, бывший дирижер в Мариинском театре в Петербурге, в молодости друживший с членами "Могучей кучки", особенно со знаменитым М. А. Балакиревым. В Париже А. А. был профессором "Русской Консерватории Имени Рахманинова". Музыкальное наследство А. А., к сожалению, мало известно широкой публике. Во французском журнале "Revue de Musicologie" (1982) об А. А. Бернарди помещена статья Андрея Лишке. Из произведений А. А. Бернарди мы знаем сюиту "Кружевной век", "Вариации на тему Янки Дудль", кантату "Лес" на слова Кольцова. Скончался А. А. Бернарди в 1943 году в Париже.

Столь же мало знаем мы о другом зарубежном русском

композиторе и дирижере Юр. Ник. Померанцеве. В России Ю. Н. Померанцев был автором балета "Волшебные грезы", оперы "Покрывало Беатриче", многих романсов на слова А. Фета и А. К. Толстого. Был дирижером сначала в театре Зимины, потом — в Большом. На концертах выступал совместно с Н. К. Метнером. В Париже Ю. Н. Померанцев был директором "Музыкальной школы" при русском Народном Университете. Музыкальное наследство Ю. Н. Померанцева еще ждет исследователя.

Совершенно особое место в русской музыке за рубежом занимает глубокий знаток и историк богослужебного пения русской православной церкви Иван Алексеевич Гарднер, автор капитального двухтомного труда "Богослужебное Пение Русской Православной Церкви". Музыке православного литургического пения посвятил себя и зарубежный композитор Иван Семенович Лямин, окончивший Парижскую Национальную Консерваторию с отличием первой степени. Чтобы существовать с семьей И. С. писал музыку к многочисленным фильмам: — "Les Cathédrales de France", "Alpinisme", "Ski de printemps", "Dessins animés", "Au clair de la lune" и мн. др. Но это был лишь "хлеб насущный", а подлинный художник "единым хлебом" не живет. Приведу выдержку из письма И. С. Лямина к своему другу (от 1937 года), опубликованного в статье М. Ковалевского "Композитор И. С. Лямин" в парижской "Русской Мысли": "Работа у меня совсем не интересная и делаю я ее механически, ни головой, ни сердцем в ней не участвуя... Это я говорю, конечно, о "настоящем" творчестве, нужном не для меня, не для людей, а вообще так, как бы для выявления и прославления истины — вне зависимости от чего бы то ни было... Вот не знаю, суждено ли мне когда-нибудь приобщиться к этому... А ведь только это интересно, только то и ценно, что никому не нужно, а нужно только "истине" и через нее... нужно всем..."

В 1944-м году в день освобождения Парижа от немцев И. С. Лямин был убит шальной пулей, влетевшей в окно. Друзья И. С. Лямина стараются обнародовать церковные песнопения, созданные этим интересным человеком и композитором: "Господи сил с нами буди" для смешанного квинтета, "Благовослови, Душе моя, Господи", "Заповеди блаженства", "Херувим-

скую песнь” для большого смешанного хора, и другие. Дай Бог им удачи!

Перечислю русских зарубежных дирижеров, пианистов, скрипачей. Мировую известность, как дирижер, завоевал С. А. Кусевицкий, начавший выступления в Париже, а с 1924 года, переехав в Америку, — в Бостоне. Большую известность приобрел Игорь Маркевич, одно время дирижировавший в знаменитых концертах Ламурэ в Париже, основавший школу дирижеров в Зальцбурге. Выдающимся дирижером был и Н. Малько. Как пианист в Париже выступал Владимир Горовиц, позже в Америке ставший мировой знаменитостью. Как всегда с большим успехом в Париже выступал известный дирижер и пианист Исай Александрович Добровейн. По заказу известного общества Патэ И. А. проделал громадную музыкальную работу, зарегистрировав всю оперу “Борис Годунов” Мусоргского с Борисом Христовым в главной роли. Лжедмитрия пел Николай Гедда. Регистрация происходила в парижском Театре Елисейских Полей под тщательнейшим руководством Добровейна и является до сих пор самой лучшей музыкальной записью этой оперы. Из пианистов надо отметить: А. Браиловского, Н. А. Орлова, А. Боровского, Сулима Стравинского (сына И. Ф.), Кс. Прохорову. Из скрипачей — Цецилия Ганзен, Н. Мильштейн, А. Андреев, М. Эльман, Е. Цимбалист. Из виолончелистов: Гр. Пятигорский, Дмитрий Маркевич. Обрываю. Вероятно кого-нибудь пропустил, да простят мне “пропущенные”.

Пища этот набросок о “русской музыке в Париже”, я знаю, что делаю не свое дело, ибо в музыке я всего навсего “любящий слушатель”. О музыке в “унесенной России” должен написать книгу кто-нибудь из зарубежных музыковедов, например, Андрей Лишке, не только знающий эту музыку как должное, но и лично знававший многих знаменитых зарубежных композиторов и музыкантов.

Хоры, цыгане, Вертинский, Плевницкая

Очерк о русской музыке в Париже был бы неполон, если бы я не сказал о русских хорах. Эти зарубежные русские хоры пели не

только для русских: гастролировали во всем мире с неизменным успехом. Русский народ — певческий: чего-чего, а поют русские от природы хорошо.

В эмиграции первым созданся хор знаменитого еще по России хормейстера А. А. Архангельского. Архангельский создал свой хор в Праге в 1923 году из 120 человек. Но через год Архангельский скончался, управление хором перенял известный А. Г. Чесноков, но ненадолго: переехал в Париж и хор самораспустился.

В Париже выступало несколько русских зарубежных хоров: Хор Донских Казаков Сергея Жарова, воспитанника (если не ошибаюсь) Московского Синодального Училища. Этот хор (с "плясками и свистом") имел международный успех, гастролируя во всем мире. Вокально соперничавший с ним был хор имени Атамана Платова, руководимый Николаем Кострюковым. И этот хор успешно объездил весь мир.

Но если хоры русской народной песни в Париже успешно делали ставку на "русскую грусть" и "русскую удаль" с залихватскими плясками, то знаменитый (так вполне можно сказать) парижский церковный хор Н. Афонского был хором тонкой и сложной художественности исполнения, как церковных песнопений, так (иногда) и светского пения. Хор Афонского выступал (в концертах) вместе с Ф. И. Шаляпиным. Н. Афонский был не только выдающимся регентом, но и композитором церковных богослужебных песнопений. Говорят, что Шаляпин считал хор Афонского "лучшим в мире". Похвально и лестно отзывались о хоре Афонского — Гречанинов, Черепнин, Рахманинов. А им и книги в руки!

Большую вокальную русскую ценность за рубежом представлял знаменитый квартет Ник. Ник. Кедрова. До революции его квартет знала вся музыкальная Россия. Н. Н. Кедров был профессором петербургской консерватории и руководителем придворной певческой капеллы. Став эмигрантом, в Париже в 20-х годах Н. Н. Кедров восстановил квартет и объехал с ним весь мир, имея везде успех. Н. Н. Кедров был не только "душой квартета", но и композитором церковного пения, он автор "Вселенской Литургии" и "Отче наш", до сих исполняющихся в зарубежных русских православных церквях. Много духовных

концертов квартет Н. Н. Кедрова давал в католических храмах. Умер Н. Н. Кедров в 1940-м году. Сменил его, как "душу квартета", Н. Н. Кедров, младший (его сын).

Говоря о русских хорах не могу не сказать о зарубежных цыганах. В России цыганская песня, как нигде (м. б. в Венгрии, в Румынии?), навсегда переплелась с русской. Кто только не был страстным "цыганоманом" из русских писателей: Лев Толстой, А. Пушкин, Н. Некрасов, Аполлон Григорьев, А. Апухтин, Н. Лесков. Н. С. Лесков изумительно передал самую суть цыганщины, этого "достигательного", как он говорил, пения. Приведу цитату из "Очарованного странника": "Вот цыгане покашлиали и молодой взял в руки гитару, и она запела. Знаете... их пение обыкновенно достигабельное, и за сердца трогает, а я как услышал этот самый ее голос... ужасно мне понравилось! Начала она так, как будто грубовато, мужественно эдак: "Мо-о-ре во-оо-ет, мо-оре стонет". Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночек поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращенье к звезде: "Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна для меня". И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими обращениями, то плачет, томит, просто душу из тебя вынимает, а потом вдруг хватит в другом роде и точно сразу опять сердце вставит... Так и тут она это "море"-то с "челном" всколыхнула, а другие как завизжат всем хором:

"Джа-лّا-ла, Джа-лّا-ла,
Джа-лّا-ла, прингалّا..."

Почему цыганская песня могла так действовать на русского человека? По-моему потому, что в славянах вообще, а в русских особенно, живет некая тяга к *исступлению чувств*. Пример тому — страстный жизнелюб Аполлон Григорьев, обессмертивший себя "Цыганской Венгеркой". Это тоска по стихийности, по первозданности, по первичности, по этому самому "das Elementare".

В молодости, в России, я любил цыганщину. Но послушать настоящих цыган *живьем* довелось только раз. Зато "этот раз" я навек запомнил. Было это, к сожалению, не у "Яра" и не с загулом. А был это чинный большой концерт в Благородном

Собрании в Москве в 1915 году всего цыганского хора от "Яра" во главе с незабываемой Настей Поляковой. Концерт давали цыгане в пользу раненых на войне солдат и офицеров, лежавших в московских госпиталях.

Как сейчас помню, чудесный зал Благородного Собрания — битком. На сцену выходят яровские цыгане и цыганки в разноцветных, своеобразных, ярких одеяниях с монистами. А когда этот очень большой хор заполнил эстраду, под бурные аплодисменты зала, вышла и знаменитая Настя Полякова: одета в ярко-красное (какое-то "горящее") платье, смуглая, как "суглинка", статная. А за ней два гитариста — в цыганских цветных костюмах. Настя встала в середине эстрады, впереди хора, гитаристы — по бокам. И началось. Чего только Настя Полякова тогда не пела: "Ах да не вечерняя" (любимая песня Льва Толстого), "В час роковой", "Отойди, не гляди", "Успокой меня беспокойного, осчастливь меня несчастливого"... А гитаристы на своих "краснощековских" гитарах (гитары все в лентах) такими переборами аккомпанировали, что "закачаешься".

А потом? А потом — всего лет через семь-восемь Настя Полякова с цыганским хором (уж не таким большим, но хорошим) пела в дорогом, ночном, парижском ресторане (кажется, у "Мартьяныча"). Хором управлял ее брат Дмитрий Поляков, в хору и соло пели, ей подстать, знаменитые цыганки — Нюра Массальская, Ганна Мархаленко, пел и ныне здравствующий (95 лет) знаменитый Владимир Поляков, ее племянник, пели чудесные цыгане Дмитриевичи.

Настя Полякова концертировала во Франции, в Германии, в Америке — пела даже в Белом Доме перед президентом Ф. Д. Рузвельтом. Но вряд ли Рузвельт "понял" что-нибудь в этом "исступлении чувств" (это специальность русская, а никак уж не американская). Теперь все эти знаменитые зарубежные цыгане ушли в лучший мир (остался один-одинёшенек Владимир Поляков).

В былой России цыганщина жила как у себя дома. В Москве — Поляковы, Орловы, Лебедевы, Панины. В Петербурге — Шишкины, Массальские, Панковы. Сколько цыганок вышло замуж за русских дворян и купцов. Цыганское пение было на высоте. Русский эмигрант, парижанин, в былом известный

театральный критик, А. А. Плещеев в книге воспоминаний "Под сенью кулис" рассказывает, как во время "загула" у яровских цыган знаменитый композитор и пианист Антон Григорьевич Рубинштейн рухнул вдруг перед хором на колени и прокричал: — "Это душа поет, душа говорит! Слушайте!!! А я? Что я? Инструмент играет, а не я! Я не должен играть перед вами!" — Вот как понимали цыган такие музыканты, как Рубинштейн!

Известно, что Ленин и Гитлер физически истребляли цыган, *как таковых*. Ленин потому, что кочевое, таборное "фараоново племя" не укладывалось в "марксову теорию" и к пресловутому "пролетариату" никак не подходило. Поэтому цыгане "массовидно" уничтожались. Гитлер потому, что не считал цыган "арийцами", хотя таинственное "фараоново племя" к истинным арийцам было, вероятно, гораздо ближе, чем австрийский ефрейтор. Но в начале тридцатых годов в СССР произошла некая "реабилитация" (после того, как цыган, *как племя*, уничтожили). В 1931 году в Москве (для привлечения иностранных туристов и выкачивания из них валюты) даже открыли "советский цыганский театр 'Ромэн' при Главискусстве Наркомпроса РСФСР", при чем задача театра определялась так: — "театр должен пропагандировать переход цыган к оседлой трудовой жизни". Художественным руководителем театра стал М. И. Гольдблат (не цыган). Потом С. А. Бакран (не цыган), Эмигрант "третьей волны" рассказал мне такой анекдот о театре "Ромэн". Кто-то будто бы спросил Бакрана: — "Скажите, пожалуйста, сколько у вас в театре настоящих цыган?" — На что Бакран будто-бы ответил: "Кроме меня и Рабиновича, остальные все евреи". Это, конечно, "хохма". В театре "Ромэн" есть цыгане, но их "кот наплакал". Мне называли фамилии цыган: — Тимофеева, Волшанинов, Жемчужина, Шишков, Туманский, кто-то еще. Исторический же факт: *цыгане, как племя, в СССР уничтожены*.

Отмечу двух знаменитых эстрадных певцов русского Парижа. Александр Вертинский и Надежда Васильевна Плевицкая. До революции у обоих в России гремело "всероссийское имя". В Париже Вертинский выступал и в своих концертах, и в благотворительных для русских зарубежных организаций. Сначала его пение "делало сборы". Вперемежку со старым он пел и новое: "Хорошо мне в степи Молдаванской", "И стоят чужие

города / И чужая плещется вода”, положенное им на музыку, чуть измененное стихотворение Георгия Иванова “И слишком устали и слишком мы стары / Для этого вальса, для этой гитары”. Но, конечно, за рубежом публики для Вертинского было маловато. К тому ж некоторые эмигранты относились к нему подозрительно-недружелюбно. Один знакомый как-то сказал мне: “У Вертинского красные подштанники!”, намекая на какие-то советские связи. Не знаю, были связи иль их не было, но когда Вертинский вернулся в СССР, встречен был с распростертыми объятиями. Актеры часто, увы, — не граждане. В Париже Вертинский пробовал петь по-французски — не вышло, “не оценили”, пришлось оставить. Перенес свои выступления в русские ночные кабаки. Но это мало давало. И из Парижа А. Вертинский уехал на Дальний Восток, а оттуда в СССР.

В связи с Вертинским вспоминаю Эренбурга. Правда, это относится не к Парижу, а еще к Берлину. Как-то на концерте Вертинского мы с Олечкой оказались в зале совсем рядом с Эренбургом и его женой Любовью Михайловной. Близко к эстраде: Эренбург в первом ряду, мы во втором. Вертинский — “в своем репертуаре”. Тут и “Бразильский крейсер”, и “Пей моя девочка”, и “На смерть юнкерам”, и “Концерт Сарасатэ”. Пел по-своему хорошо, голос приятный (и довольно большой, к удивлению), жест выразительный, актерское исполнение тонкое. Конечно, это не “Критика чистого разума” и не “Диалоги Платона”, мы знали, для чего сюда пришли. И Эренбург все это, конечно, прекрасно понимал. Но сидя перед нами, вел себя нагло, нахально, невоспитанно. После каждой вещи начинал демонстративно хохотать, так что и Вертинский мог это заметить с эстрады. Такое отношение к выступлению артиста (любого) мне было противно. И я невольно вспомнил, что ведь совсем еще недавно этот же Эренбург подражал именно Вертинскому, изо всех сил пища стихи “под него”, но гораздо хуже. Вот эти перлы Эренбурга:

“Иль может быть в вечернем будуаре,
Где ровен шаг от бархатных ковров,
Придете вы ко мне в небрежном пенюаре,
Слегка усталая от сказок и духов.

Портьеру приподняв вы выйдете оттуда,
Уроните в дверях свой палевый платок,
И обойдя кругом тяжелые сосуды,
Дадите мне вдохнуть неведомый цветок”.

Тут, по-моему, очень хороши: и какой-то ”палевый платок” (почему он палевый?), и совершенно непонятные ”тяжелые сосуды” (вызывающие странные ассоциации). У Вертинского все было и легче, и милее, и веселее: ”А когда придет бразильский крейсер / Капитан расскажет вам про гейзер!”, ”Хорошо мне в степи Молдаванской... И российскую горькую землю / Узнаю я на том берегу”. — По сравнению с беспомощным стихом раннего, ”томного” Эренбурга, это просто отдохновение.

Когда после ”въезда” в Париж я пришел в один книжный магазин, владельца которого я знал по Берлину, он сказал мне, что после заметки в ”Последних Новостях” о моем аресте и заключении в концлагерь Ораниенбург, в магазин к нему пришел как-то, Эренбург, он говорит, Эренбургу: ”Илья Григорьевич, слышали Романа Гуля гитлеровцы арестовали и заключили в концлагерь”. А Илья Григорьевич ”с презрением”:

— ”И хорошо сделали, пусть там и сидит”.

В это время Эренбург был уже ”маршалом советской литературы”, раньше отвратительно беззубый — вставил белоснежные протезы, раньше грязный и ”тухлый” (по выражению Алексея Толстого) — теперь в дорогом новом костюме, чистый, отрастил большое брюхо. Только походка у Эренбурга осталась та же: ходил по-бабьи, неприлично крошечными шажками, как гейша.

Знаменитую исполнительницу русских народных песен Н. В. Плевицкую я слышал многожды. И в России, и в Берлине, и в Париже не раз. Везде была по-народному великолепно. Особенно я любил в ее исполнении ”Сумеркалось. Я сидела у ворот / А по улице-то конница идет...” Исполняла она эту песню, по-моему, лучше Шаляпина, который тоже ее пел в концертах.

В Париже Н. В. со своим мужем генералом Н. Скоблиным жили постоянно. Но не в городе, а под Парижем, в вилле, в Озуар ля Ферьер. Концерты Н. В. давала часто. Запомнился один — в пользу чего-то или кого-то, уж не помню — но помню только множество знатных эмигрантов сидели в первых рядах:

Милюков, Маклаков, генералы РОВСа, Бунин, Зайцевы, Алданов (всех не упомяну). Надежда Васильевна великолепно одета, высокая, статная, была, видимо, в ударе. Пела "как соловей" (так о ней сказал, кажется, Рахманинов). Зал "стонал" от аплодисментов и криков "бис". А закончила Н. В. концерт неким, так сказать, "эмигрантским гимном" (не знаю, кто писал слова и музыку):

Замело тебя снегом Россия,
Запуржило суровой пургой.
И одни только ветры степные
Панихиду поют над тобой!

И со страшным, трагическим подъемом:

Замело! Занесло! Запуржило!..

Гром самых искренних эмигрантских аплодисментов. "От души". Крики искренние — "Бис!", "Бис!". И кому тогда могло прийти в голову, что поет этот "гимн" погибающей России — не знаменитая белогвардейская генералыша-певица, а самая настоящая, грязная чекистская стукачка, "кооптированная сотрудница ОГПУ", безжалостная участница предательства (и убийства!) генерала Кутепова и генерала Миллера, которая окончит свои дни — по суду — в каторжной тюрьме в Ренн и перед смертью покается во всей своей гнусности.

Как сейчас слышу ее патетические ноты, как какой-то неистовый, трагический крик:

"Замело!... Занесло!... Запуржило!..."

(Продолжение следует)

Роман Гуль

South Jamesport

ВИНОВНИК

Опаздывал хранитель мой небесный
На станцию, откуда поезда,
Свистя, пыхтя, уходят навсегда —
В чистилище и рай немногочестный.

Он пропускал обедни час воскресный,
Подернутый на лужах пленкой льда,
Чтоб я поспал — какая в том беда? —
Под шубами в камерке затхло-тесной.

Жалел меня. Покамест не в аду,
Туда и я по шпалам прибреду,
Чтоб заплатить за смуты разномыслий.

А пестун мой, хитончик теребя,
В слезах твердит: — "Прости меня, Валерий,
За то, что я не вышколил тебя!"

Валерий Перелешин

”ЛЕГЕНДА” А. И. ГЕРЦЕНА И ”ЖИТИЕ СВ. ФЕОДОРЫ”*

При упоминании А. И. Герцена мы привыкли представлять себе революционера-эмигранта, талантливого мемуариста, политического публициста, смелого редактора-издателя первого русского бесцензурного журнала ”Колокол”. Для большинства из нас Герцена как писателя-художника почти не существует, чему способствовала его биография: революционная деятельность, продолжительная эмиграция, цензурные запрещения, тяготевшие над именем писателя более полувека — все это затрудняло контакты между произведениями писателя и читателями.

При жизни Герцена отдельными изданиями вышли в свет очень немногие его произведения, к тому же издавались они не в России, а в Лондоне или в Женеве. Основная масса им написанного либо оставалась в рукописях, либо появлялась на страницах газет и журналов. Достаточно сказать, что первое собрание сочинений Герцена было издано только после его смерти, в 1870 г., а в России первое собрание его сочинений появилось в 1905 г.!

Между тем, еще при жизни Герцена были люди, утверждавшие, что он — первоклассный мастер именно художественного повествования. Достоевский, например, пытаясь оторвать Герцена от его леворадикальной деятельности, убеждал его в том, что он — ”поэт по преимуществу”. То же писал Герцену и революционер А. Серно-Соловьевич, критиковавший умеренность взглядов Герцена: ”Вы — поэт, художник, артист.

*Глава из исследования ”Жития православных святых как литературный жанр и творческие обращения русских писателей к агиографии”.

рассказчик, романист — только не политический деятель".

Разговоры о Герцене-художнике почти прекратились после его оценки Белинским, который для либералов и радикалов всегда был неким литературным оракулом. Белинский без обиняков заявил, что "главная сила Герцена не в художественности, а в мысли — глубоко прочувствованной, вполне осознанной и развитой. "Могущество этой мысли — главная сила его таланта; художественная манера — второстепенная, вспомогательная его сила".

Впрочем, какие бы причины этому ни способствовали, какие бы факты такое положение ни вызвали, надо признать, что с годами слава Герцена — журналиста и общественно-политического деятеля победила славу Герцена-художника и на Западе, и в России. На Западе Герцен как писатель-художник почти не упоминается, а на его родине литературоведы неукоснительно утверждают, что его художественные произведения являются "постоянной и неотъемлемой частью служения Герцена революции" и что он "обращался к литературе, чтобы сделать ее оружием своей борьбы". (Формулировки "Литературной энциклопедии".)

Исходя из таких предпосылок, советские литературоведы из всех художественных произведений Герцена больше всего лансируют и изучают роман "Кто виноват?", а также рассказы "Сорока-воровка" и "Доктор Крупов" — произведения, в которых автор особенно заостряет внимание на невралгических проблемах дореформенной русской жизни. В то же время литературоведы, не имеющие вкуса к политизации литературы, к изучению так называемой художественной публицистики, вообще проходят мимо Герцена.

Поэтому ранние произведения писателя (те, что Белинский не одобрил за их "условно-романтическую форму и религиозно-мистические тенденции") остаются и мало изученными и — даже специалистам — малоизвестными.

Между тем, среди художественных произведений есть весьма интересные — и совсем не тем, чем интересны его поздние произведения. Они интересны тем, что свидетельствуют о религиозном мировоззрении, духовной начитанности и романтической экзальтации Герцена-юноши, и тем, что (говоря

словами самого писателя) именно "в них явно виден путь, которым" его "религиозное воззрение перерабатывалось в социализм".¹ К тому же эти произведения обладают объективными художественными достоинствами — такими, например, как яркость и выразительность стиля, точность и острота слова, тщательно продуманная композиция и т. д.

Одним из этих произведений является "Легенда", написанная Герценом в 1835 г. Впервые опубликованная лишь в конце 1881 г. ("Русское слово" № 12), эта повесть привлекла внимание очень немногих литературоведов и только как произведение автобиографического и аллегорического характера.

Об автобиографичности "Легенды" не раз писал сам Герцен. Особенно интересно в этом смысле его письмо к кузине и будущей жене Н. А. Захарьиной о планах доработки повести: "В 'Легенде' я прибавлю новый опыт своей души, там хочу я выразить, как самую чистую душу увлекает жизнь пошлая, такая, которую я веду здесь, жизнь та же, которую ведут все".

Об аллегорическом смысле повести, то есть об изображении Герценом под видом легенды далеких лет вполне реальных событий своего времени, догадаться не очень просто, поскольку никаких указаний на это в окончательном тексте произведения обнаружить невозможно. Однако, в первоначальных набросках повести Герцен объявляет читателям, что намеревается рассказать историю борьбы вокруг идей, выдвинутых утопическими социалистами, последователями Клода Сен-Симона.

По-видимому, упорство, с которым сенсимонисты отстаивали свои социальные планы, навело Герцена на мысль о самоотверженной борьбе за утверждение христианской идеи, жившей в первые века по ее возникновении. Форма христианской легенды давала автору максимальную возможность для художественного воплощения современных концепций.

Однако, погрузившись в процессе работы в историю христианства, Герцен, по всей вероятности, понял, что сходства

1. Существует несколько неоспоримых свидетельств, что, несмотря на все эти "перерабатывания" и социалистические взгляды позднего Герцена, он до конца жизни никогда не расставался с томиком Евангелия.

лишь одной ведущей идеи, под знаком которой он намеревался сопоставлять события конца V века и начала XIX века, для превращения повести в аллегорическое произведение было недостаточно, и он полностью отказался от введения в ”Легенду” любых намеков на второй план.

Единственное обращение в ”Легенде” к современности не только не говорит о какой бы то ни было аналогии, а, наоборот, строится на антитезе. Думается, что нелишне привести соответствующие строки (конец вступительной главы) — тем более, что в них и авторская формулировка основной идеи произведения:

”Я вспомнил всю блестящую эпоху монастырей; живо представлялись мне люди с пламенной фантазией и огненным сердцем, которые проводили всю жизнь гимном Богу, которых обнаженные ноги сжигались знойными песками Палестины и примерзали к льдам Скандинавии. Эта жизнь для идеи, жизнь для водружения креста, для искупления человека казалась мне высшим выражением общественности — ее нет более, и она невозможна теперь. Тогда были века, умевшие веровать, умевшие понимать власть идеи, умевшие покоряться, умевшие молиться в храме и умевшие воздвигать храмы... Тут, казалось, я слышал свист и смех, с которым встретило XIX столетие религиозное направление.

Забудемте, ради Бога забудемте наш век, перенесемтесь в эти времена тихого созерцания, в эти времена неба на земле”.

Проблема аллегоричности ”Легенды”, проблема осовременивания этого произведения, по меньшей мере, не бесспорна. Однако мы не будем пускаться в полемику с ее адептами из числа советских герценоведов, поскольку это может отвлечь нас от нашей прямой задачи — не мешкая, приступим к выяснению того, в какой мере было использовано в процессе работы Герцена над ”Легендой” произведение агиографии.

Начнем с того, что укажем житие, легшее в основу повести. Полное его заглавие таково: ”Житие и подвиги преподобной матери нашей Феодоры, подвизавшейся в мужеском образе”.² Впрочем, следует отметить, что, приступая к работе над ”Леген-

2. В ”Четьих Минеях” Дмитрия Ростовского это житие помещено под 11 сентября.

дой", Герцен изучил отнюдь не только это житие, а огромную по объему литературу.

Простое знакомство с одними только эпитафиями к главам повести поражает начитанностью автора как в церковных, философских, исторических произведениях, так и в классической поэзии. Среди этих эпитафий мы находим тексты из Книги Бытия и из Евангелий (от Луки, от Матфея, от Иоанна), из Послания к коринфянам и из Послания к евреям, из писаний Блаженного Августина, из Жития Св. Екатерины, из "Чистилица" Данте, из поэзии Гюго и Гёте...

Молодым писателям свойственно украшать свои произведения "текстами из авторитетных источников", однако в использовании эпитафий Герценом нельзя видеть ни внешний прием, ни, тем более, манерничанье — каждый эпитафий "Легенды" идеально выполняет возложенную на него задачу — выявить и дать читателю в максимально концентрированной форме идею соответствующей главы. Взятые же в совокупности, эпитафии к главам вскрывают основную идею произведения.

Еще более впечатляет эрудиция Герцена при чтении текста самой повести. Как о совсем общеизвестных понятиях на ее страницах говорится, например, об ксенобитии, арианстве, ессеях; естественно и как бы между прочим упоминаются имена Динократа, Клеопатры, Оригена, Тертуллиана, Гермисдаса, Аллариха, Понтифара, Аполлония, Метафраста, Прокла, Далилы, Самсона, множества пророков, апостолов, ангелов... А как живо описаны древние Фивы, Александрия, Антиохия, Никея, Константинополь, Патмоса, какое великое множество деталей и аксессуаров цивилизации первых веков христианства отмечены автором... Кажется, стоит забыть, кто этот автор, и представишь его современником рассказанных им событий!..

Но забыться невозможно, забыться не позволяет сам же автор, ибо композиция его повести, психологизм в описании событий и обрисовке характеров, построение диалогов и многие другие художественные особенности "Легенды" не оставляют сомнения, что перед нами произведение новой литературы.

Все сказанное до сих пор — предварительные рассуждения, основанные главным образом на непосредственных впечатлениях. Теперь пора перейти к текстовому анализу "Легенды"

Герцена и ее агиографического источника. Начнем с жития, посмотрим, что и как в нем рассказано. Прежде всего — сюжет.

Первые же фразы жития заключают в себе завязку всех будущих событий, о которых в нем повествуется. Это — происшествие (и обоснование этого происшествия), которое круто изменило жизнь Феодоры, балованной и бездумной жены александрийского богача, превратившее ее в одну из первых христианских подвижниц.

“Очи Господни в тысячу тысяч крат светлее солнца, прозирают они все пути человеческие и проникают во все места сокровенные, Ему известно было все, прежде, чем оно свершилось”, — начинает автор жития свое повествование словами библейской “Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова” и продолжает: — “Не знала сей истины Феодора и, надеясь, что Господь ничего в ночном мраке не увидит”, эта “молодая, простодушная и неопытная”, хотя и замужняя женщина, согласилась на уговоры “молодого, богатого и легкомысленного человека”, жившего, как и она, в Александрии, и совершила прелюбодеяние.

С наступлением утра, однако, она “стала сокрушаться, бить себя по лицу, рвать волосы, стала стыдиться самой себя, сама себе стала противна”. Промучившись несколько дней, Феодора пошла в ближайший монастырь побеседовать с игуменьей, не намереваясь, впрочем, открывать ей своего грехопадения.

Однако, читая Евангелие от Луки и дойдя до слов: “Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узналось бы. Посему, что вы сказали в темноте, то будет услышано при свете и, что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях”, Феодора зарыдала и покаялась.

И хотя игуменья успокаивала Феодору, уверяя ее, что раскаянием в прошлом и чистой жизнью в будущем она заслужит прощение Господа, та все же не могла смотреть в глаза мужу и скоро, обрезав свои длинные волосы и надев мужскую одежду, бежала из дома.

Пройдя восемнадцать верст, она увидела монастырь “Октодекад” и попросила превратника впустить ее. Однако игумен решил испытать, “с усердием ли пришел странник служить Богу”, и не велел привратнику впускать его до утра. Всю ночь

проплакала Феодора от страха перед дикими зверьми. бродящими неподалеку, и от неменьшего страха, что ее так и не впустят в монастырь и ей не удастся замолить свой грех. Однако, когда настало утро, ее позвали внутрь.

Игумен, увидев перед собой слабого и изнеженного юношу, подумал, что тот "воспитан в мирских удовольствиях" и потому "не сможет переносить тяготу иноческого подвига". Он решил не принимать его в монастырь, но Феодора была настойчива, и игумен, в конце концов, разрешил ей остаться.

Восемь спокойных лет безвыходно прожила в монастыре Феодора. На девятый год игумен отправил ее с верблюдами в Александрию — закупить для монастыря масла. Здесь она, проходя мимо собора св. Петра, увидела своего мужа, которому накануне во сне ангел поведал о предстоящем приходе в город Феодоры — тяжело было даже небожителям смотреть на измучившегося без любимой жены доброго человека. Однако за восемь лет умерщвления плоти Феодора так сильно изменилась, что муж, хотя и увидел ее, не узнал. Только на следующую ночь, когда ангел объяснил ему в новом сне его встречу, он был вознагражден, узнав, что жена его жива.

Между тем Феодора совсем привыкла к иноческой жизни, и ей уже мало было того, что делали другие монахи. Она стала часто и много поститься, пребывая без пищи иной раз по целой неделе. "Желая узнать благодать Божию, обитающую в Феодоре", игумен однажды повелел ей сходить по воду на близлежащее озеро, в котором жил крокодил, часто выходивший из воды, чтобы пожирать шедших мимо людей.

Феодора отправилась, и крокодил не только не тронул ее, но даже отнес ее на своей спине на середину озера, где она набрала воды, и принес обратно. Тогда Феодора заклала крокодила, и он тотчас же оказался мертвым.

Все, за исключением нескольких монахов-завистников, были восхищены чудом Феодоры. Но завистники решили избавиться от святого человека и, дождавшись позднего вечера, попросили Феодору от имени игумена (который ничего об этом не знал) отнести письмо в соседний монастырь, надеясь, что дикие звери ее растерзают.

И действительно, Феодора встретила в пустыне льва.

Однако он не только не тронул ее, но и проводил до самой двери монастыря. Впрочем, не это было главным чудом, а то, что произошло потом. Произошло же следующее. Пока Феодора беседовала с игуменом, лев напал на монастырского привратника. Прибежавшая на его крик подвижница беспощадным словом умертвила зверя, а израненному человеку вернула его невредимый облик, смазав раны елеем и призвав имя Христово. Вернувшись в свой монастырь, Феодора никому ни о чем не рассказывала, и ее подвиг открылся случайно. Завистники были посрамлены и уверовали в святость Феодоры.

Казалось, что она могла теперь наслаждаться спокойной жизнью в монастыре. Но ее стал преследовать бес, сказавший ей, что он будет всеми силами бороться с ее святостью. Однажды, когда Феодора, купив в Александрии пшеницу для своего монастыря, заночевала на обратном пути в некоем монастыре, носившем название „Энат“, он подослал к ней девицу, дочь тамошнего игумена.

Феодора прогнала девицу, но та согрешила с другим путником, забеременела от него, а когда беременность открылась, обвинила Феодору, знатские же монахи подкинули ее ребенка в Октодекадский монастырь, насмеявшись над „развратным, а не святым Феодором“.

Терпеливая Феодора приняла грех на себя и была с бранью и побоями изгнана братией из монастыря. Уйти далеко она побоялась и устроила рядом с монастырской оградой хижину для ребенка. Она выкормила младенца молоком, которое выпрашивала у пастухов, сама же питалась дикими травами, запивая их морской водой.

Прошло семь лет такой голодной и холодной жизни, и игумен решил взять мальчика в монастырь. Оставшись одна, Феодора ушла в глубь пустыни. Она скиталась, не помышляя об отдыхе и живя среди диких зверей, которые повиновались ей, как овцы. Дьявол, принимая различные облики, много раз пытался ее искушать, но она всегда догадывалась вовремя, с кем имеет дело, и, сотворив крестное знамение, произносила святые слова. Чаще всего это были слова из Псалтыря: „Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их“. И он, наконец, отступил от Феодоры навсегда.

Через семь лет скитаний Феодоры игумен Октодекадского монастыря по заступничеству братии призвал святую вернуться в монастырь, и та стала жить там, как и ее мнимый сын Феодор. Она учила его грамоте и страху Божию, а также смирению, послушанию и другим добродетелям. А еще через два гола преподобная Феодора скончалась, так никому и не открыв своей тайны.

Оканчивается житие рассказом о том, что Октодекадский игумен, узнав после кончины Феодоры ее подлинный пол, призвал к себе игумена и монахов Энатского монастыря и устыдил их за клевету на святую, а затем привел в монастырь ее мужа. По погребении преподобной Феодоры ее муж занял ее прежнюю келью, а ее приемный сын "достиг такого совершенства", что с годами стал игуменом.

Вот, пожалуй, и все события "Жития преподобной Феодоры". Агиограф изложил их в простой хронологической последовательности, беспретенциозно, безыскусно, избежав и пафоса, и нарочитого психологизирования; даже описания внешности действующих лиц или пейзажи играют здесь только подсобную роль. Такой манерой письма агиограф как бы говорит своим будущим читателям: чтобы вы уверовали в величие христианской идеи, не нужно рассказывать с какими-то "ухищрениями художественности", не нужно приукрашений, не нужно занимательности, ибо факты говорят сами за себя; убедитесь в этом — ведь я излагаю только факты.

Но Герцену и тем, для кого он писал "Легенду", одних фактов было недостаточно: XIX век совсем не был похож не только на V-й — век Феодоры, но даже на X-й, в который византиец Симеон Метафраст создавал "Свод житий". Поэтому под пером 23-летнего Герцена жизнеописание Феодоры становится таким, каким его хотели видеть романтически настроенные юноши 30-х годов XIX столетия, каким только и мог его написать Герцен, писатель-реалист, которому, несмотря на все его старания, так и не удалось до конца его дней побороть в себе романтика.

"Легенда" — произведение романтическое. Это проявляется в каждом ее элементе, и именно поэтому она сильно отличается от породившего ее жития. Прежде всего бросается в глаза отличие между героинями жития и повести. Агиографическая Феодо-

ра — обыкновенная простая горожанка. Автор жития рассказывает о ней, о ее делах, о ее мыслях все без утайки, и, узнав эту женщину, мы должны признать, что она отличалась от всех прочих жительниц Александрии только необычайно сильным религиозным чувством. Убежден в этом и сам агиограф: ведь даже о чудесах, которые она творит, он рассказывает как о простом и естественном результате ее могучей веры.

Феодора Герцена... Простите, в герценовской “Легенде” Феодоры, собственно, нет вообще: только из десяти заключительных строк повести мы узнаем, что юноша Феодор, о котором рассказывалось на протяжении всех предшествующих страниц, в действительности был переодетой женщиной, Феодорой.

Впрочем, и юноша этот описан не очень-то отчетливо, ибо максимально окутан романтической таинственностью. Кто он? Почему покидает Александрию? Почему решает поступить в монастырь? Почему вера его была столь исступленной? Почему он в споре с игуменом так заинтересованно защищает женщин? Что за любовь была у него в прошлом (о ней он упоминает в разговоре с дочерью Энатского игумена)? Почему он решил *вдруг* посетить храм св. Петра в Александрии? Почему он смутился, увидев у входа в храм некоего человека и почему обрадовался, не найдя этого человека при выходе?.. Недомолвок, неясностей, необъяснимых поступков и недосказанных фраз в повести десятки. Ради создания в повести атмосферы таинственности, загадочности автор идет на многочисленные изменения первоисточника.

Проследим хотя бы одно из таких изменений. Не желая допустить, чтобы романтический герой ездил в Александрию с весьма прозаическими целями (для покупки масла и пшеницы), Герцен вообще не объясняет читателям причин, по которым Феодора едет в Александрию, вводя в этот вопрос мотив таинственности. Такой, казалось бы, пустяк вынуждает автора пойти на многочисленные изменения житийного сюжета: из двух поездок сделать одну, объединить посещение Феодором Александрии и Энатского монастыря, отобрать у него верблюдов с корзинами, посадить его на ослицу и т. д. и т. п.

Романтической подаче биографии героя и его романтиче-

скому поведению соответствует и романтическая обрисовка его внешности: — "Белое лицо его было чрезвычайно нежно, и, когда он отбрасывал рукою кудри, падавшие ему на глаза, его можно было принять за деву; большие черные глаза выражали особое чувство грусти и задумчивости, которое видим в юных лицах жителей Юга и Востока, столь непохожие на мечтательность в очах северных дев. Во взорах юноши проглядывал фанатизм, что-то восторженно-религиозное, принадлежащее его родине, колыбели христианского аскетизма, где само умерщвление страстей превратилось в страсть".

Как видим, в соответствии с законами романтического произведения чисто описательный материал здесь сведен к минимуму, портрет героя лишь намечен двумя-тремя "привлекательными" деталями, за которыми следуют авторские обобщения. Подобными рассуждениями "от автора" перенасыщена вся повесть. Они сопровождают и описания внешности героев, и рассказы об их поступках, и пейзажи. Нередко они превращаются в обширнейшие лирические отступления, которые автор дает при малейшем поводе.

Стоит, например, герою "обратиться к востоку, броситься на колени" и погрузиться в молитву, которая "была без слов и без мыслей", как автор тут же поясняет, что "мысли и слова отняли бы всю духовность молитвы так, как они отнимают ее у музыки". Не думайте, что это — конец авторского отступления: прервав движение сюжета, автор как будто уж и не в силах остановить свои рассуждения. Во всяком случае после выписанной фразы он продолжает: — "Чиста и прелестна молитва невинности, как весеннее утро, как вода нагорного потока, но в ней есть чувство собственного достоинства, требование награды. Дева чистая называет себя невестою Христа — невестою того, которого Соломон называл женихом церкви. Не такова молитва преступного; рыдающий, поверженный в прахе, он алчет одного прощения, его молитва раздирает его душу; в ней вся его надежда и вместе отчаяние; он чувствует свою недостойность, но чувствует и безмерную благость Бога; он боится, трепещет, уничтожает себя и возрождается, живет токмо в нем, в искупителе рода человеческого. Сильна и пламенна молитва преступника, как поток каленого металла, бросаемого из

огнедышащего жерла к небу; и не для грешника ли создана молитва? Праведному — гимн”.

Другой пример, пожалуй, еще более показателен. Я имею в виду весьма краткое сообщение о том, что египтянка влюбилась в Феодора и сопровождающее это сообщение длиннейшее авторское отступление: — “В ленивой груди жителя ‘Ога бывают минуты торжественные; в такую минуту он переживает все, что по мелочи испытывает гиперборей. У него страсть родится, подобно дочери Зевса, в вооружении. Зажженная однажды, она может гореть и жечь его до гроба. Его страсть любит до уничтожения предмета любви, пылает мстью до уничтожения самого себя. Это огненная масса, внезапно воспламеняющаяся и никогда не тухнущая. Бледные девы Севера не поверят этому; они не знают этого ада страстей, привыкшие к своим мечтам о духовном, о небе, то есть не о настоящем небе, а о том, которое они создали себе для бегства от скупой и туманной природы”.

Впрочем, как ни насыщена повесть подобными рассуждениями, они не кажутся в ней чужеродными. Ибо занимают там свое собственное место, отведенное им законами романтической литературы.

В соответствии с этими законами Герцен широко пользуется в своей повести прямой речью (которой в житии нет совсем), облакает психологические наблюдения в особую, приподнятую над обычной, форму, вводит столь любимый романтиками момент мужской дружбы, основанной на общности идей... В “Легенде” это — дружба между Феодором и игуменом Октодекадского монастыря, совершенно отсутствующая в житии: “Житие преподобной Феодоры” посвящено именно Феодоре, и личность игумена играет в нем чисто служебную роль. Вопреки букве и духу жития Герцен также рассказывает в своей повести длинную биографию игумена, строя ее отнюдь не по правилам агиографов, а по правилам романтиков. Конечно, судьба с ранних лет готовила этому герою “путь особый”, конечно, он “не знал любви матери, ни ее ласки”, а отец был для него “посторонним”. В результате житейских невзгод “мрачность черными струями разливалась по его характеру”, он “долго блуждал, терзая душу потребностями, которым не находил удовлетворения”, пока случайно не прочел книг христианских писателей,

раскрывших ему новый мир, которому "он отдал себя безраздельно".

По тем же образцам романтических произведений автор описывает и других действующих лиц повести, и их взаимоотношения друг с другом. Вот, например, описание первой встречи Феодора с его соблазнительницей (продолженное, разумеется, авторскими рассуждениями о любви, которое я опускаю). "Близ Феодора стояла молодая женщина, прелестная собой, как те девы Востока, о которых пел Низами. Вскоре молитва исчезла с уст ее — беспрерывно смотрела она на юношу. Она уже любила Феодора пламенно, безвозвратно. Она с жадностью впитывала каждый взор его — но этот взор был обращен к небу; с жадностью слушала каждое слово — но это слово было о Боге. "Любовь, — сказал он, — вот основание мира, и апостол говорит, что недостаточна вера, ежели нет любви". Но не о земной любви говорил юноша, о земной понимала дева".

Не менее характерны для повести, как романтического произведения, и интерьеры в ней, и ее пейзажи, насыщенные то романтической экзотичностью, то романтической таинственностью. Возьмем два примера. "Простая скамья была отенена широкими листьями пальмы; каленый воздух наносил дивный запах алоэ и лимонных деревьев. Огромные цветы магнолии, прощаясь с солнцем, хвастались своими красивыми венчиками. Ручные антилопы спокойно щипали траву, пунцовые ориксы и зеленые голуби перелетали с ветки на ветку".

Это — пример пейзажа в повести. А вот как по романтическим рецептам Герцен рисует интерьер. "Вечерняя молитва началась. Тихое, стройное пение монахов едва было слышно, и тем невещественнее, тем неопределеннее, тем святее становилась песнь. Полузвук согласовались с полумраком, в котором был погружен храм; своды, казалось, исчезли, стены — какими-то массами тумана; дым из каминов, вися околото изображений, придавал им таинственное движение. И шаги по каменному полу, и мелькание черной рясы, и ее шорох увеличивали торжественность, возможную только в храме Божием и которую испытывал всякий, с чистой душою входивший в церковь. Тем сильнее действовала она на мечтательного Феодора, — его можно было принять за изваяние; именно он, как статуя, выражал одно

чувство — чувство молитвы. Иногда слабый вздох вырывался из груди его, как будто он упрекал себя в чем-то, иногда и слеза навертывалась, но восторг все поглощал, соединяя все мысли в гимн”.

Портрет, характер, пейзаж, интерьер Герцен рисует таким образом, что традиции агиографии постоянно вытесняются тридизиями романтизма. В этом же плане следует рассматривать и многочисленные отличия в композиционном построении обоих произведений.

Например, в повести и намека нет ни на одно из чудес, которые совершает Феодора в житии — ни с крокодилом, ни со львом, ни с исцелением умирающего. Нет и столь подробных в житии описаний жизни святой вне ограды монастыря, ее скитаний по пустыне, во время которых она питалась лишь дикими травами и морской водой, ее возвращения перед смертью в монастырь...

Более того, даже в единственной во всей повести и очень краткой цитате из жития Герцен обрывает конец, поскольку в нем говорится о том, что звери, среди которых жила в пустыне Феодора, “повиновались ей, как овцы”, а в этих словах можно усмотреть указание на чудодейственные возможности схимницы.

В повести не нашли отражения введенные в житие его автором проповеди-поучения, написанные просто, прочувствованно и очень к месту. Это прежде всего авторское рассуждение о причинах, по которым Бог попускает грехопадение, затем обращение игуменьи женского монастыря к Феодоре, поучение Феодоры своему мнимому сыну и ее предсмертная молитва. Зато большую главу (IV-ю) Герцен полностью посвящает рассуждению игумена о гибели Византии из-за повсеместного в ней разврата. (Вообще Герцен ввел, где только мог, нападки на Византию. Даже человека, совратившего Феодору, он из александрийца, каким тот назван в житии, превращает в византийца.)

Романтическое мышление автора “Легенды” проявляется и в многочисленных мелких изменениях, отличающих повесть от жития. Например, если в житии Феодор решает заночевать в Энатском монастыре просто из-за наступления темноты и, придя

туда, прямо является к игумену, то в повести свернуть с пути его заставляет гроза (любимое романтиками явление природы!), а в монастырь для большего эффекта он попадает прямо к церковной службе.

В повести девица-соблазнительница не приходит (как в житии) к Феодору во двор, где он устроился на ночлег среди верблюдов, а посылает за ним старуху (романтическая наперсница разврата!), ожидая его у себя в спальне, "полунагая, едва одетая легкой тканью, которая больше обнаруживала ее красоту, нежели скрывала"... Я хотел было на этом оборвать сцену, но её продолжение настолько немыслимо ни в каком житии, что его непременно следует выписать.

"Трепещущая и огненная, стояла она перед ним, не смея ни поднять на него взора, ни оторвать его от пестрых цветов ковра, до которого чуть касались ее маленькие ножки. Слезы катились из ее глаз, засыхая на разгоревшихся, воспаленных щеках.

— Странник, — сказала она, долго принуждая себя сказать то, о чем молчать ей казалось так трудно, — прости меня... Странник, я люблю тебя... но, Бога ради, не смейся надо мною... Я видела, как ты молился; твой вдохновенный взор, твое лицо, твой страстный взгляд не идут молитве; твоя душа пламенна, она не может удовлетвориться молитвою; ты обманываешь себя Люби меня... может, тебе неизвестно это море блаженства, я тебе раскрою его, мы потонем в его волнах; я сожгу тебя моим поцелуем, я обовьюсь, как эфеу, около тебя, я умру, целуя тебя... — И, говоря это, дева в самом деле тонула в океане страстей и, полумертвая, дрожащая, готова была броситься в объятия юноши; но они не раскрылись. Спокоен и тих был взор Феодора; таким взором смотрит луна на бешеную Этну, пламенем раздирающую свою грудь.

— Дева, — сказал он ей, — благодари судьбу, что ты это говоришь мне, отжившему для мира сего; я не воспользуюсь слабостью овцы гибнущей. Вспомни, что ты христианка. Я соединю свои молитвы с твоими, чтобы Господь извел из тебя злого духа, губящего душу твою. Дева, и я был порочен, и я знаю, как слабы женщины... тем сильнее будет молитва моя, тем спасительнее тебе.

— Как, ты любил! — воскликнула она. — Ты любил! — и

ревность к прошедшему взволновала ее грудь, в которой не было места и одной страсти. — Где она?.. но... но, может, ее уж нет, она изменила, может, в ней не было этой бешеной страсти? О, я заменю ее, я свободна, как птица небесная; бежим в Грецию, там...

— Остановись, — сказал Феодор, и ланиты его показали, что он еще человек; но что их оцветило — любовь или воспоминание? — Я Богу дал клятву, и ничто не сокрушит ее.

— Лицемер, деве дал ты клятву; обманщик, тебе ли носить монастырское платье? Да, это ясно; теперь все понимаю — но я умею мстить; ты видел, как необузданны страсти мои... И неужели твое сердце до того принадлежит другой, что нет места для меня? Один час, одну минуту дай насладиться тобою, и я счастлива, и возьми после жизнь мою, на что мне она тогда; и в этой минуте я солью все, и рай позавидует мне. Ты смущен; нет, эта грудь не из гранита!

И она бросила лампу на пол, и душистое масло струями разлилось по ковру, и святильня, вспыхивая, и потухая, и курясь, прожгла его... судорожная рука обвилась около юноши, дрожащие уста с своим огненным, сладострастным дыханием коснулись уст Феодора; тщетно хотел он вырваться.

— Нет, нет, ты мой, я тебя не пущу! — шептала она, целуя его”.

Я должен просить у читателя прощения за чрезмерно длинную цитату. Оправдание себе я вижу в том, что выписанная сцена может служить не только примером романтического мелодраматизма стиля повести, но и примером романтической композиции: ведь она обрывается таким образом, что у читателя создается впечатление, будто, несмотря на сопротивление Феодора, грехопадение все же произошло — в чем мы совершенно убеждаемся, когда впоследствии в Октодекадский монастырь приносят пояс, потерянный Феодором в Энатском монастыре, а через девять месяцев и родившегося у соблазнительницы ребенка.

Можно сделать множество выписок из повести Герцена, доказывающих принадлежность ее к романтической литературе. Думается, однако, что в этом уже нет необходимости, ибо и приведенных примеров для этого вполне достаточно. Впрочем,

не могу удержаться еще от одного — самого интересного и характерного: посмотрим, как рассказывают оба автора о грехопадении Феодоры.

У агиографа ее грехопадение есть и начало рассказа, и его завязка, и постоянный двигатель совершающихся в житии событий. В "Легенде" же о нем сообщается лишь между прочим, где-то в середине (в V главе), в виде истории некоего египтянина, причем о связи этой вставной истории с историей самой Феодоры мы узнаем буквально из самых последних строк повести.

Задачей автора жития было отвратить потенциальных прелюбодеев от греха прелюбодеяния, рассказать о трудности искупления этого греха и дать пример безгрешной жизни. Задача автора повести не имела ничего общего с этой задачей. Герцена не интересовал ни конкретный грех его героини, ни конкретные подробности искупления этого греха; его задача — создание благородного характера, одержимого благородной идеей, причем и "характер", и все, с чем он соприкасался, и сами эти "благородство" и "одержимость" ему надлежало изобразить так, как того требовали законы романтизма.

Не нужно, однако, думать, будто Герцен бесцеремонно использовал незаурядное духовное произведение в качестве полуфабриката для написания далеко не первого в русской литературе (и далеко среди уже написанных не лучшего) романтического повествования и что его отношение к русской агиографии следует оценивать отрицательно.

Да, в процессе работы над своей повестью он изменил характер главного героя жития, изменил характеры прочих его персонажей, изменил пейзаж и интерьер, среди которых разворачивается сюжет, изменил сам сюжет, композицию, стиль авторского повествования, язык героев... Есть ли что-нибудь, что он оставил без изменений? Есть! Он оставил в неприкосновенности то, что является в житии главным, что является его сутью — он сохранил и даже усилил преклонение агиографа перед "жизнью для идеи, жизнью для водружения креста, для искупления человека". Есть у Герцена и еще заслуга, о которой непременно надо сказать.

Известно, что первым из русских писателей, обратившим

внимание на художественное и нравственное богатство отечественных житий, был Пушкин. Он был первым среди наших писателей нового времени, кто ввел в свое произведение личность "святого человека". В этом его историческая заслуга.

Но немалая заслуга принадлежит и Герцену, который впервые в новой русской литературе использовал житие полностью, положив его в основу своего художественного произведения и доказав таким путем конструктивные возможности агиографии.

Вот два достоинства, за которые можно простить все недостатки.

А. Онульский

Не хочу тебя сегодня.
Пусть язык твой будет нем.
Память, суетная сводня,
Не своди меня ни с кем.

Не мани по темным тропкам,
По оставленным местам
К этим дерзким, этим робким
Зацелованным устам.

С вдохновеньем святотатцев
Сердце взрыла я до дна.
Из моих любовных святцев
Вырываю имена.

София Парнок

ДОСТОЕВСКИЙ И ЛИТЕРАТОРЫ

Все начала слухов, ставших легендами, о личности и характере Достоевского кроются во взаимоотношениях литераторов, в том, как Достоевский, по его слову, "завел процесс со всей литературой". Сложность работы над этой темой — в невозможности документированного опровержения некоторых окололитературных сплетен, отчего и встает вопрос: "кому же верить?" Личность писателя и некоторые особенности людей из его окружения становятся хотя бы косвенным убедительным ответом.

Личность Достоевского

Приведем пример, во что пришлось бы верить, если бы податься такому авторитету, как Иван Сергеевич Тургенев, который в 1882 году писал Салтыкову: "...прочел я также статью Михайловского о Достоевском ("Жестокий талант", А. О.). Он мог бы вспомнить, что и во французской литературе было схожее явление, а именно пресловутый маркиз де Сад. Этот даже книгу написал "Tourments et supplices", в которой он с особым наслаждением настаивал на развратной неге, доставляемой нанесением изысканных мук и страданий, — Достоевский тоже в одном из романов тщательно описывает удовольствие одного любителя... И как подумаешь, что по этом нашем де Саде все российские архиереи совершали панихиды и даже проповеди читали о вселюбви этого всечеловека. Поистине в странное время мы живем!"

Отметив, что этот документ (а письма писателей принято считать документами) появился через год после смерти Достоевского, обратимся к периоду жизни Федора Михайловича, от которого не дошло ничего дурного о нем. Это начало его жизни до знакомства с кружком писателей.

Детство Достоевского прошло в Москве, при Марииинской больнице для бедных, что при церкви Петра и Павла, где с людскими страданиями он познакомился рано. Несчастна была его мать, всю жизнь страдавшая от деспотического характера отца. Она умерла, когда Федору было только 15 лет. После смерти матери отец опустил, вскоре его убили крепостные. По семейным преданиям, когда весть о смерти отца дошла до Достоевского, с ним случился первый тяжелый припадок с конвульсией и потерей сознания, лишь гораздо позже определенный врачами как эпилепсия.

Того, кого Тургенев назовет де Садом, уже в раннем детстве потрясла Книга Иова, и не вкус к чужим страданиям, а сострадательность почти болезненную развили первые впечатления жизни. Вот одно из свидетельств: "Как-то на одном из светских приемов зашел спор: 'Какой, по вашему мнению, самый большой грех на земле?' Дошла очередь отвечать Достоевскому. Он помолчал, как будто сомневаясь, стоит ли ему говорить. Вдруг лицо его преобразилось, глаза засверкали, как угли... и он заговорил... Достоевский рассказал эпизод из своего детства, рассказал о своей дружбе с девочкой лет девяти, дочкой кучера или повара, своей сверстницей тогда... И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может" (З. А. Трубецкая. "Достоевский и А. П. Философова", публ. С. В. Белова, "Русск. литература", 1973, № 3).

Тяжелые впечатления, оставаясь пронзительно ясными всю жизнь, вначале ни в чем не выражались внешне. Товарищи по Инженерному училищу считали Достоевского "невозмутимым и спокойным по природе", а за религиозность он получил прозви-

ше "монах Фотий". Когда его пытались вызвать на откровенность, он часто отвечал словами Монтескьё: "Никогда не говорите правды в ущерб вашей добродетели". Став писателем, он уже не мог следовать этой осторожной мудрости и "творческий дух Достоевского, доступный горным высотам, заглядывался иногда в какую-то преисподню" (Ю. Никольский. "Тургенев и Достоевский"). Ранняя, большая и романтическая по выбору книг начитанность сделала Достоевского мечтателем и во многом противопоставила "живой жизни", хотя, как мы знаем, совсем не лишила его наблюдения остроты.

Достоевского отличала способность к романтической дружбе, но друга ему найти было нелегко. "И в юности он не мог мириться с обычаями и взглядами своих сверстников-товарищей. Он не мог найти в их сотне нескольких человек, искренне ему сочувствующих, его понятиям и взглядам, и только ограничился выбором одного из товарищей, Бережецкого. Это был юноша очень талантливый и скромный, тоже, как Достоевский, любящий уединение... Не нужно было особенного наблюдения, чтобы заметить в... друзьях выдающиеся душевные качества, например, их сострадание к бедным, слабым и незащищенным, которое у Достоевского и Бережецкого проявлялось... когда они видели грубое обращение товарищей со служителями и... с только что поступившими в училище..." ("Достоевский в воспоминаниях современников". Т. I, стр. 98).

Достоевский не слишком уважал Петрашевского, однако это мнение он мог доверить только другу, а в показаниях на следствии он запишет, что "всегда уважал Петрашевского как человека честного и благородного". Некоторые слова показаний Достоевского были прямым вызовом следствию: "Если же желать лучшего есть либерализм, то в этом смысле он, может быть, вольнодумец, точно так же как и всякий человек, который чувствует себя вправе быть гражданином и желать добра своему отечеству потому, что находит в себе и любовь к отечеству, и сознание, что ничем не повредил ему".

Исследование поведения Достоевского на следствии показало, что он стремился везде, где только возможно, отвести подозрения от других обвиняемых или облегчить их вину. О следствии дошел в записи рассказ самого Достоевского о том,

как генерал "Ростовцев обратился к нему со словами": "Я не могу поверить, чтобы человек, написавший 'Бедные люди', был заодно с этими порочными людьми. Это невозможно. Вы мало замешаны, и я уполномочен от имени Государя объявить вам прощение, если вы захотите рассказать все дело". "Я, — вспоминал Федор Михайлович, — молчал. Тогда Дубельт с улыбкой заметил: 'Я ведь вам говорил'. Тогда Ростовцев, вскричав: 'Я не могу больше видеть Достоевского', выбежал в другую комнату и заперся на ключ, а потом оттуда спрашивал: 'Вышел ли Достоевский? Скажите мне, когда он выйдет, — я не могу его видеть'".

О Достоевском генерал Ростовцев записал: "Умный, независимый, хитрый, упрямый".

Восемь месяцев провел Достоевский в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Вначале ему не была разрешена даже передача книг. Многие из петрашевцев не выдерживали. Григорьев и Катенев сошли с ума, Ястжембский пытался покончить с собой. После приговора Достоевский писал брату: "Я боюсь, что тебе был как-нибудь известен наш приговор (к смерти). Из окон кареты, когда везли на Семеновский плац, я видел бездну народа; может быть, весть дошла уже и до тебя, и ты страдал за меня. Брат! Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди и быть *человеком* между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее".

Самые нежные письма Федора Михайловича написаны брату Михаилу. Когда Достоевский попал на каторгу, то от брата, слегка задетого процессом, он почти не получал ни писем, ни денег — хоть у брата, тогда табачного фабриканта, дела шли успешно. В 1856 году, после каторги, Достоевский позволил себе единственную жалобу в письме к А. Е. Врангелю: —

"Как вы нашли моего брата? В каких он мыслях обо мне?... Он плакал, прощаясь со мною. Не охладел ли ко мне? Не изменил ли характера? Как грустно было бы мне это! Не обратился ли весь в наживу денег и забыл все старое? Не верится мне как-то этому. Но опять: чем же объяснить, что он не пишет иногда по семь по восемь месяцев, пишет Бог знает что, даже в бесцензур-

ном письме с Хоментовским не отвечал ничего на мои вопросы, и так мало я вижу прежнего, душевного! Никогда не забуду, что он сказал Хоментовскому, передавшему ему мою просьбу похлопотать за меня: 'Что мне лучше оставаться в Сибири'. В декабре... я просил денег... Вы знаете, как я нуждался! Что ж, ни слуху ни духу. Я понимаю, что он может их не иметь, ибо он торгует, но в крайних случаях спасают человека".

О необыкновенной доброте Достоевского осталось много свидетельств разных людей. "Когда вспомнишь, что плату за труд Федор Михайлович получал постоянно хорошую, что жизнь он вел, в особенности когда был холостым, чрезвычайно скромную и без претензий, то невольно задаешься вопросом, куда же он девал деньги? На этот вопрос я могу отвечать положительно верно, так как в этом отношении Федор Михайлович был со мною откровеннее, чем с кем-либо: он все почти свои деньги раздавал тем, кто был хоть сколько-нибудь беднее его; иногда же и просто таким, которые были хотя и не беднее его, но умели выманить у него деньги, как у добряка безграничного" (Из мемуаров С. Д. Яновского).

В записи Елены Андреевны Штакеншнейдер сохранился рассказ жены Достоевского Анны Григорьевны: "Вот получим, — всхлипывая говорила она, — от Каткова пять тысяч рублей, которые он нам еще должен за "Карамазовых", и куплю землю. Пусть ломает ее по кускам и раздает. Вы не поверите, на железной дороге, например, он, как войдет в вокзал, так, кажется, до самого конца путешествия все держит в руках раскрытое портмоне, так его и не прячет, и все смотрит, кому бы из него дать что-нибудь. Гулять ему велели теперь, но ведь он и гулять не пойдет, если нет у него в кармане десяти рублей".

Раз, за два года до смерти Достоевского, в Петербурге, на Николаевской улице какой-то пьяный ударил его с такой силой, что он упал и разбил лицо в кровь. Тут же случился городской, и пьяного повели в участок. Федор Михайлович просил отпустить обидчика, но дело дошло до суда. На разбирательстве ответчик, оказавшийся крестьянином Федором Андреевым, объяснял, что был "зело выпимши и только слегка дотронулся до этого 'барина', который от этого и с ног свалился". Достоевский опять просил судью простить обвиняемого и, когда его все же приго-

ворили к штрафу в 16 рублей, подождал наказанного у подъезда и вручил ему 16 рублей.

Зададим вопрос: кто же из героев Достоевского похож на автора? На наш взгляд, ответ искать недолго. Есть герой, свадьбу которого он описал, вспоминая свою первую женитьбу. Этому герою он отдал свою болезнь и вложил в уста свои переживания приговоренного к смерти. Это князь Мышкин, о котором мы узнаем в романе, что он даже и с каторжными успел познакомиться хорошо. Опыт зрелого Достоевского переносится на юного князя, сущность личности которого во многом совпадает с автором.

Свою способность угадывать людей и события Достоевский помимо князя отдает и другому лицу романа — Настасье Филипповне. "Я ваши глаза точно где-то видел... да этого быть не может! Это я так... Я здесь никогда не был. Может быть, во сне..." В той Настасье Филипповне, которую мы знаем на протяжении всего романа, сходства с князем нет, но вот что говорится о ней до того, как ей нанесли смертельную обиду: "...это был совсем не тот характер, как прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивленное..." До трагического столкновения с людьми характеры Мышкина, Настасьи Филипповны и творца их, Достоевского, обнаруживали и наивность, и глубину, раскрывающуюся лишь при случае. Настасье Филипповне хватило одной обиды, чтобы потом, до конца своего, бешеными поступками доказывать, что она не то, за что ее принимают (способность к бешеным поступкам чувствовал в себе и Достоевский: "всю жизнь за черту переходил").

Князя Мышкина на протяжении романа окружает хоровод каких-то безнадежно вывихнутых людей, доводящих его своим низким и мелким безумием до полного помешательства. Князь сходит с ума, как бы в упрек всем остальным, будто доказывая, что для того, чтобы стать душевнобольным, нужно иметь душу. (Возможность сумасшествия всю жизнь стояла и перед Достоевским. Симптом был в потере памяти после припадков, когда Федор Михайлович, не узнавая знакомых, наживал врагов, когда забывал то, что сам написал).

Известно, что Достоевский был крайне раздражительным. Это единственный из его недостатков¹, от которого могли страдать другие.

И. С. Тургенев

В 1846 году Достоевский познакомился с Тургеневым и тут же написал о нем брату: "Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, — я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец, характер неистощимо-прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе".

Знакомство состоялось во время огромного успеха, выпавшего на долю "Бедных людей", когда даже Николай I заинтересовался повестью, когда все хотели видеть автора, в частном письме которого читаем: "Я познакомился с бездной народа самого порядочного". И уже в самом восторженном состоянии обо всех из кружка Белинского: "Эти господа уж и не знают, как любить меня, влюблены в меня все до одного". Один из господ — Тургенев — "с первого раза привязался ко мне такую привязанностью, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня".

В том же духе наивной восторженности выдержаны и другие письма Достоевского этого времени. Успех пришел рано, к человеку молодому, в свете совсем неловкому. Да и позже он жаловался на себя — "жеста не имею". На вершине славы все это прощалось, но вот первый литературный неуспех — и он стал мишенью насмешек. Темы для насмешек странные, а тон пасквильный.

Если взять воспоминания Панаева о Достоевском, то даже непонятно, что вызывает у него злобу: "...Его мы носили на руках по городским стогнам и, показывая публике, кричали: "Вот только что народившийся маленький гений, который со

1. Есть письмо Достоевского к воспитателю пасынка с упоминанием об этом своём недостатке: "...если я и раздражителен (что в себе несколько не оправдываю), то я не обидлив, я сумею заглазить неловкость и обиду, и человек не мучается от меня, потому что видит, что это только наружность, внешность, а зла нет".

временем убьет своими произведениями всю настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему! Кланяйтесь!” О нем мы протрубили везде, и на площадях, и в салонах. Одна барышня с пушистыми буклями и с блестящим именем, белокурая и стройная, пожелала его видеть, и наш кумирчик был поднесен к ней... Барышня изящно пошевелила своими губками и хотела отпустить нашему кумирчику прелестный комплимент, как вдруг он побледнел и заштался. Его вынесли в заднюю комнату и облили одеколоном. Он очнулся, но уже более не выходил в салон”.

Речь идет об одном случае с Достоевским, когда его представили светской красавице Сенявиной. Не только Панаев решил увековечить этот случай в своих мемуарах, то же сделали в совместно написанном стихотворении Некрасов и Тургенев.

Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносый носом
Перед русой красотой,

Так трагически недвижно
Ты смотрел на сей предмет,
Что чуть-чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.

Стихотворение называется “Послание Белинского к Достоевскому” и начинается так:

Витязь горестной фигуры
Достоевский милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ.

Это произведение не отражало бы так отношение братьев-писателей, если бы в конце не было помещено маленькой клятвы:

Буду нянчиться с тобою,
Поступлю я, как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец.

Тургенев не устал рассказывать, как Достоевский, отдавая

повесть Белинскому для издания, просил поместить ее для заметности в начало или в конец и (в передаче Тургенева К. Леонтьеву) прибавил: "Знаете ли, мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюриком обвести".

Раз найдя своего собрата по искусству смешным, писатели из кружка Белинского уже не могли оставить его в покое. Как вспоминает Авдотья Панаева: "... и пошли перебивать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи... А Тургенев их подхватывал и потешался". К тому же "один приятель передавал ему все, что говорилось в кружке лично о нем и о его "Бедных людях". Приятель Достоевского, как говорят, из любви к искусству передавал всем, кто о ком что сказал". (Считают, что это был Д. В. Григорович, с которым Достоевский одно время жил на одной квартире. — А. О.).

Время первых отношений с Достоевским вспоминал и Тургенев: "Он возненавидел меня уже тогда, когда мы оба были молоды и начинали свою литературную карьеру; хотя я ничем не заслужил этой ненависти. Но беспричинные страсти, говорят, самые сильные и продолжительные".

Составив соответствующее мнение о Тургеневе, как о человеке, Достоевский высоко ценил писателя Тургенева. В 1848 году вышли "Белые ночи" с эпиграфом из тургеневского стихотворения "Цветок":

Иль он был создан для того,
Чтобы побыть хотя мгновенье
В соседстве сердца твоего.

После каторги и солдатчины отношения Достоевского с Тургеневым продолжились. Их можно назвать деловыми. У братьев Достоевских журнал, в нем Тургенев напечатал свои "Призраки". Большая часть творчества Тургенева вызывала искренний восторг Достоевского; он восхищался "Дворянским гнездом", Тургенев — "Записками из Мертвого дома". Однако вскоре наметилось, и уже окончательно, полное расхождение в

некоторых взглядах, которые не исчерпываются понятиями "почвенник" и "западник".

В 1867 году, в Бадене, произошла ссора, описанная Достоевским в письме к А. Н. Майкову: "Он сам говорил мне, что главная точка его книги ("Дым" — А. О.) состоит в фразе: "Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве". Он объявил мне, что это его основное убеждение о России".

Что-нибудь более противоположное взглядам Достоевского нельзя и представить, а поскольку такую позицию занял человек, чье творчество имело неоспоримое влияние, Достоевский не мог не бороться, тем более, что за тургеневской критикой он не находил чего-либо существенно положительного.

Одно из столкновений писателей отразилось в дневнике их современника; — "На днях на большом обеде данном Тургеневу представителями литературы, он произнес тост за те идеалы, которым сочувствует молодое поколение. Достоевский к нему обратился с вопросом: "Что это за идеалы?" Присутствующие не дали Тургеневу ответить: "Мы знаем, мы понимаем..."

Небезынтересно отметить, что, излагая ссору Толстого с Тургеневым в редакции "Современника", А. А. Фет отмечает примерно тот же вопрос, адресованный Толстым Тургеневу, и замечает по этому поводу: — "По всему, слышанному мною в нашем кружке, полагаю, что Толстой был прав и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были бы принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания".

Приступая к роману "Бесы", Достоевский заявлял, что желает "высказаться до конца". Там он высказался до конца и о Тургеневе, выведя его под именем Кармазинова. Принято называть этот образ карикатурой, хотя вскоре после опубликования романа прототип оказался хуже героя.

Воспользовавшись слухами о выброшенной из романа "Исповеди Ставрогина", где герой соблазняет и доводит до самоубийства девочку, Тургенев потихоньку стал рассказывать об исповеди ему Достоевского в сходном преступлении, особенно смелея после смерти Федора Михайловича.

При жизни Достоевского это было опасно, стоит только

вспомнить влияние публицистики "Дневника писателя". Еще за несколько месяцев до смерти, после Пушкинской речи, Достоевский писал в письме: "Тургенев и Анненков тоже бросились лобызать меня и, пожимая мне руки, настойчиво говорили, что я написал вещь гениальную! Увы, так ли они теперь думают о ней?"

Отношение Достоевского к Тургеневу, казалось, полностью исключало возможность исповеди, однако писательский талант Ивана Сергеевича помог ему создать видимость правдоподобия, и даже не то чтобы обвинить прямо, а — набросить тень.

Тургенев рассказывал, что раз, когда он приехал из Парижа, к нему в гостиницу пришел Достоевский, пришел "дабы высотой ваших эстетических взглядов измерить бездну моей низости". В пересказе пересказа детали выглядят так: "случилось вчера", "в шестом часу", гувернантка-француженка с воспитанницей в Летнем саду, "дерзкое предложение" гувернантке... Перечисление "наиболее возмутительных подробностей останавливает крик Тургенева: "Федор Михайлович, уходите!" — А Достоевский быстро повернулся, пошел к двери и, уходя, посмотрел на Тургенева не только счастливым, а даже каким-то блаженным взглядом. — А ведь это я все изобрел-с, Иван Сергеевич, единственно из любви к вам и для вашего развлечения". Рассказывая об этом свидании, Тургенев заключал неизменным уверением, что, конечно, "старый сатир" и "ханжа" все это действительно выдумал.

Со временем у Достоевского прибавился еще один исповедник. По Григоровичу, Достоевский пришел сначала к нему², а он, выслушав, сказал: "Ступайте к человеку, которого вы считаете своим лютым врагом и которого ненавидите больше всего на свете, и покайтесь ему во всем содеянном". Достоевский "подумал" и отправился к Тургеневу.

Однако даже и не Григоровичу принадлежит вершина того, что можно было сделать из "Исповеди Ставрогина". Пальма первенства осталась за человеком, написавшем о Достоевском теплые мемуары — за Страховым.

2. Ничего неизвестно о визитах Достоевского к Григоровичу, зато визиты последнего отражены в письмах Достоевского: "Был Григорович, много врал и злословил".

Н. Н. Страхов

Критик Страхов, сотрудник журналов "Время" и "Эпоха", соратник по борьбе с "нигилизмом", был связан с Достоевским долгими отношениями. Несомненная образованность Николая Николаевича привлекала Достоевского. Одно время он любил с ним беседовать, звал к себе за границу. Раз они неделю пробыли во Флоренции, где, вспоминает Страхов, "всего приятнее были вечерние разговоры на сон грядущий за стаканом красного местного вина".

Там же, во Флоренции, произошел их спор, после которого стало ясным, что совпадение их позиций по разным вопросам — дело внешнее, такая обнаружилась разница в фундаменте их идей.

О споре этом Достоевский не оставил записи, мы знаем его только из рукописи Страхова, что под заглавием: "Наблюдения. Посвящается Ф. М. Достоевскому".

Рукопись не закончена, и изложение конспективное. Описание спора начинается словами: "Я должен отдать вам справедливость, что в нашем споре вы попали прямо на большое место, да и не только мое, а и многих других".

Через несколько строчек характеристика позиций спора: "с одной стороны, именно с той стороны, на которой вы стоите, — часто молодость, всегда жар, страсть проповедовать, небрежность к форме и ко всякого рода правильности, но зато живые чувства и мысли, нередко талант, иногда гениальные проблески... С другой стороны — некоторая холодность, привычка к строгой и правильной мысли, отсутствие большого жара проповедовать, но вместе с тем, часто отсутствие всякого таланта, молчание всяких живых струн. На этой стороне я стоял во время нашего спора и на нее часто становлюсь".

Основание своей позиции критик находит в неверии в человека: "Когда... спросят нас: хорош ли человек, мы найдем в себе тотчас решительный ответ: нет, гнусен до последней степени!" И далее, почти в заключение: "Остается сказать еще одно: я не верю ни в философию, ни в экономию, и вообще ни в одну сторону цивилизации, потому, что я не верю в человека..."

Если то же было высказано и в споре у площади Сеньории,

то в тот момент Достоевскому в пору было с любовью вспомнить Тургенева. Тот все-таки на одну Россию замахнулся... Теперь яснее и начало страховской рукописи:

"В одну из наших прогулок по Флоренции, когда мы дошли до площади... и остановились, потому что нам приходилось идти в разные стороны, вы объявили мне с величайшим жаром, что есть в направлении моих мыслей недостаток, который вы ненавидите, презираете и будете преследовать всю свою жизнь".

Не только направление мысли, но и человеческие свойства Страхова любить Достоевский не мог. В 1875 году в письме к жене, Достоевский вспомнил: "Он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением „Эпохи“, и прибежал только после успеха „Преступления и наказания“".

Когда Страхов жалуется в письмах на раздражительность Достоевского, то по отношению к нему это, вероятно, что-то вроде полуистощенного терпения. Тем не менее они не раззнакомились всю жизнь. Не один Достоевский мучился друбой-враждой со Страховым. С ним трудно было поссориться до конца — это никогда не входило в планы Николая Николаевича. В книге воспоминаний Анна Григорьевна Достоевская с горечью, смешанной с удивлением, вспоминает о Страхове, бывшем свидетелем на ее свадьбе, и приводит слова одного из ее собеседников:

"Кто, в сущности, был Страхов? Это исчезнувший в настоящее время тип "благородного приживальщика", каких было много в старину. Вспомните, он месяцами гостит у Толстого, у Фета, у Данилевского, а по зимам ходит по определенным дням к знакомым и переносит слухи и сплетни из дома в дом. Как писатель-философ он был мало кому интересен, но он был повсюду желанный гость, так как всегда мог рассказать что-нибудь о Толстом, другом которого он считался".

После смерти Достоевского Страхов разбирал его бумаги и должен был наткнуться на отзыв о себе: "Литературная карьера дала ему четырех читателей и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать любит индеек и не своих, а за чужим столом. В старости... эти литераторы начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми".

Далее Страхов мог читать отзыв уже вполне пророческий,

который и поспешил оправдать: "Несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все".

Страхов, вероятно, принимает решение отомстить. Первоначально появляется отрывок под названием: "Для себя", начинающийся словами: "Во все время, когда я писал воспоминания о Достоевском, я чувствовал приступы того отвращения, которое он часто возбуждал во мне и при жизни, и по смерти".

Видна мысль под видом сугубо-интимного, "для себя" размышления, донести в будущее мнение близкого Достоевскому человека, в котором боролись сложные, противоречивые чувства: "Я должен был прогонять от себя это отвращение, побеждать его более добрыми чувствами (так свойственными Николаю Николаевичу, А. О.), памятью его достоинств и той цели, для которой пишу".

Отрывок остался не закончен, зато эти строчки становятся черновиком письма к Льву Толстому и через тридцать лет, в 1913 году, это письмо будет опубликовано.

Есть, может быть, и еще одна причина написать Толстому — его отношение к памяти Достоевского, о котором в письме к тому же Страхову Толстой писал: "Я никогда не видел этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек... Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал, и теперь плачу".

Не будем приводить всего письма Страхова Толстому, приведем его часть: "Его тянуло к пакостям и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие — это герой "Записок из подполья", Свидригайлов в "Преступлении и наказании" и Ставрогин в "Бесах". Одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, а Достоевский здесь ее читал многим".

В. Г. Белинский

Первыми и восхищенными читателями "Бедных людей" были Григорович и Некрасов. От них повесть попала к Белинскому, пришедшему от нее в самое восторженное состояние.

"Написать такую вещь в двадцать пять лет может только гений, который силою постижения в одну минуту схватывает то, для чего обыкновенному человеку потребен опыт многих лет".

Свои отношения с Белинским вспоминал не раз Достоевский в письмах, записных книжках, вероятно, в большой, к сожалению, пропавшей статье о нем и в "Дневнике писателя".

"Первая моя повесть восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях)" — отметим сдержанность Достоевского-публициста. — "...Тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился... обращать меня в свою веру... Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма".

Социалистическая критика Белинского в то время сильно подействовала на Достоевского, иначе бы в конце статьи не было признания: "Я страстно принял тогда все учение его". Что слово "все" относится только к социализму, видно из той же статьи: "Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современными науками и экономическими началами. Но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость и чудотворная красота". — "...Белинский не остановился даже и перед этим препятствием".

В "Дневнике писателя" нет всего, что мы знаем о том, как справлялся Белинский с "препятствием". Об этом можно прочитать в дневнике А. А. Киреева. "Достоевский рассказывал из дальних лет — Белинский так говорил об Иисусе Христе: "Этот подлец..."

Теперь вернемся к рассказу "Дневника писателя": "Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, указывая на меня: — каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет..."

Для того чтобы выработать ясное отношение к атеизму, Достоевскому пришлось много думать об этом на каторге, где единственной его книгой долго было Евангелие, где "каторжному без Бога нельзя". После каторги, на поселении, во время спора о Боге, с Достоевским случился припадок эпилепсии. По воспоминаниям Софии Ковалевской, Федор Михайлович считал его первым припадком: — "...неожиданно приехал к нему один его старый товарищ... Это было именно в ночь перед светлым Христовым воскресеньем. Товарищ был атеист, Достоевский — верующий, оба горячо убежденные, каждый в своем.

— Есть Бог, есть! — закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.

— И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! — закричал я. И больше ничего не помню".

Перед каторгой вера была почти утеряна и даже так, что приготовленный к расстрелу, поминутно целуя крест, протягиваемый священником, Достоевский все-таки, по позднему признанию, вряд ли в эту минуту "что-нибудь религиозное сознал".

Выходя с каторги, Достоевский написал Наталии Дмитриевне Фонвизиной: "Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю, и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ веры очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревливой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со

Христом, нежели с истиной”.

Белинский был сильным спорщиком, и может быть, это, “если б кто мне доказал”, — отголосок проигранных споров, один из которых, уже с другим противником, завершился видением.

Отчасти обратив Достоевского в свою веру, Белинский быстро отвернулся от него и не только оттого, что не понял “Двойника” — главное было в отходе Достоевского от “социальности” первой повести. Переход Белинского совершился от “вы сами не знаете, что вы написали!” к “надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!”

Постоянство мнений не было чертой “неистового Виссариона”. В 1839 году он пишет статью во славу русского самодержавия — “Бородинская годовщина”, в 1845 году приветствует социализм; в начале 1847 года пишет о “социалистах, этих насекомых, вылупившихся из навозу, которым завален задний двор гения Руссо”. Прочитав “Исповедь” Руссо, которого раньше, не читая, называл гением, Белинский “возымел сильное омерзение к этому господину... — Он так похож на Достоевского...”

Переменчивость критика Достоевский заметил сразу же. Еще в 1846 году он писал брату: “Что же касается до Белинского, то это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе”.

Больше чем через двадцать лет после знакомства Достоевский написал о Белинском: “Я помню мое юношеское удивление, когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям. Он до безобразия поверхностно и с пренебрежением относился к типам Гоголя и только рад был до восторга, что Гоголь *обличил*... Он с удивлением провозгласил ничтожество повестей Белкина... Он отрекся от окончания Евгения Онегина. Он сказал, что Тургенев не будет художником... Я бы мог набрать вам таких примеров сколько угодно, для доказательства неправды его критического чутья”.

Достоевский и другие писатели

Мало что так раздражало Достоевского, как критики и критика, иногда строившаяся на сознательном недопонимании. В работе Достоевскому помогало творчество великих писателей.

из критиков же, может быть, больше всех сделал Аполлон Григорьев, просто сказавший ему после "Записок из подполья": "Ты в этом роде и пиши". Выпады критиков против Достоевского вызывают недоумение. Все это началось задолго до "Бесов", вызвавших уже настоящее улюлюканье. Так, в 1863 году, в "Свистке" Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин поместил эпиграмму:

Самонадеянный Федя.

Федя Богу не молился.

"Ладно, мнил, и так!"

Все ленился, да ленился...

И попал впросак!

Раз беспечно он "Шинелью"

Гоголя играл, —

И привычной канителью

Время наполнял...

Одним из рядовых приемов враждебных Достоевскому критиков было сомнение в психической полноценности писателя.

Воспоминания Н. Г. Чернышевского написаны уже через семь лет после смерти Достоевского: "Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня..." После приветствий Достоевский заговорил о цели своего визита: "Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими". Я слышал, что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: "Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание". Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голо-

сом восторженные выражения личной его благодарности...”

Так в короткой заметке Н. Г. Чернышевский рассказал скорее о себе, а о Достоевском только подтвердил его всегдашнее желание ценить каждый добрый порыв даже в противнике.

Тому пример — отношения с Огаревым. Как-то, за границей, оставшись совсем без денег, Достоевский попросил взаймы у богатого Герцена и у бедного Огарева. Герцен денег не дал, а Огарев поделился последними десятью франками. Взгляды Огарева были неприемлемы Достоевскому, одно из стихотворений Огарева пародировано в “Бесах”, но личность поэта, отдавшего землю крестьянам и теперь доброго и в нищете, вызвала у Достоевского только симпатию: “у него сердце есть”.

Ничто так не говорит о благородстве натуры, как способность ценить противника. Этим Достоевский обладал в высшей степени. Никто над могилой Некрасова не защитил его память, нуждавшуюся в защите, лучше, чем Достоевский. Почему он сделал это? Ответ — в способности Достоевского отделять личность от убеждений, а убеждения от творчества.

Жизнь Достоевского во враждебной ему литературной среде, склонной к травле, к ядовитым сплетням, не уменьшила его способности к объективности в оценке чужого творчества.

Современная Достоевскому, да и позднейшая критика “с направлением” так и не научилась руководиться чем-то повыше “злости дня”. По тому, что в разное время писали о лучших русских писателях, можно думать, что русская литература осуществляла свой путь не с помощью критики, а несмотря на критику. Так, затравленный Лесков столкнулся с тем, что Бунин называл “русская либеральная толпа”. Так же заушали за “ретроградство” Достоевского, так, ходивший в “безыдейных” Чехов с горечью написал: “Погодите, у нас на Руси, под флагом искусства и свободомыслия будут царить такие жабы и крокодилы, что каждому подлецу в литературе будет где жить и умереть с честью!”

Александр Осипович

Как легко и простодушно лето!
Захочу и воздух всполошу.
Могут только маги и поэты
Слово раскрывать, как парашют.

А слова не плачут, не пророчат,
От обид и ласк не голосят,
Лишь сквозь чёрную решотку ночи
Гласные сверкают, как глаза:

И во всей сиреновой России,
Где от тайн кружится голова,
Ждущие поэта, как мессию,
Бродят терпеливые слова.

Может и моё, темно и гулко,
Запахнув худое пальтецо,
Ждёт меня в соседнем переулке,
Золотое выпростав кольцо.

Михаил Кренин

БОРИС НАРЦИССОВ

Борис Анатольевич Нарциссов родился в 1906 г. в мордовской деревне Нескофтым Саратовской губернии, где его отец работал врачом. Мать Нарциссова (урожденная Валентина Янссон) — эстонка шведского происхождения.

В 1919 г., вместе с отступившей армией Юденича, семья Нарциссовых переехала в Эстонию. Стихи Нарциссов начал писать рано, помещая их в журналах "Новь" (Таллин) и "Современные записки" (Париж). Своими предшественниками в поэзии он считает Гумилева, Бальмонта, Блока и Бунина, открывших ему красоту поэтического слова и окружающего мира. От Бунина Нарциссов унаследовал большой интерес к зрительному ощущению мира в разнообразных его проявлениях и к непосредственному, живому восприятию явлений. От Блока — звучный и часто мелодичный поэтический словарь. Но Нарциссов более современен, чем его "учителя". В какой-то мере его можно назвать поэтом сюрреалистического направления. Нарциссов видит мир и слышит музыку вселенной в духе Заболоцкого, в лирике философского склада о месте человека и разума в мироздании; или Ремизова в его новаторской и одновременно архаичной ритмически-организованной прозе. Причудливо и фантастично созданная вязь письма в стихотворении "Из монастырской хроники" ("Память") явно восходит к ремизовской манере повествования. Тут сочетаются церковные славянизмы, научная терминология и элементы просторечия. В дополнение к этому переплетению различных лингвистических планов Нарциссов употребляет неологизмы и оригинальные синтаксические вариации. Его сны и галлюцинации также напоминают бесконечную цепь видений в ремизовских поэмах в прозе.

Колдовство и черная магия, конфликты естественного бытия приближают стихи Нарциссова также и к произведениям Э. Т. А. Гофмана и Эдгара По, которых Нарциссов прекрасно перевел на русский язык. Алексис Раннит утверждает, что даже Игорь Северянин оказал определенное влияние на поэзию Нарциссова, но последний это отрицает: Игорь Северянин в глазах Нарциссова — "несерьезный поэт". К своим любимым русским писателям Нарциссов относит Достоевского с его гениальной техникой романа, Марка Алданова с его тонким психологическим анализом и Михаила Булгакова с его "исключительно оригинальной манерой повествования". "Непонятого поэта", Осипа Мандельштама, Нарциссов не любит.

У Нарциссова несомненно свой собственный почерк в его философской лирике и в технике стиха. Личная концепция поэта не видит разумной гармонии, действующей в мире. Отсюда некоторая мрачность эмоционального колорита с часто иронической, внезапной ломкой плавно текущего стиха. Вселенная Нарциссова состоит из двух реально существующих миров: мира преходящих естественных явлений, видимого, осязаемого и имеющего предельные границы, и мира чудес, с его неисчерпаемым разнообразием, вечным движением и обновлением. Леший, домовый и "лунники" населяют этот последний мир. По своей технике и художественному вкусу Нарциссов принадлежит к школе акмеизма, но у него есть и много гротескных стихотворений, исторических скетчей (например, о Кромвелле) и чудесных, поэтических описаний природы, например, в цикле стихов "Estonica":

АЛЕКСИСУ РАННИТУ

...Белая ночь

Совершенно жемчужный свет.

Совершенно стеклянная тишь.

— Ты, река, зеленеешь в ответ

И плавучие травы растишь.

Оседают в лесу туман

На колючем еловом ребре.

Ты подумаешь: это — обман.

Это — северный сон в серебре.

Совершенно немой покой,
Точно жизни и смерти порог.
Над совсем неподвижной рекой
Затуманенный воздух продрог.
(“Шахматы”)

Этот эстонский ландшафт, проникнутый тоской, пластичен и тонок по рисунку. Как у Северянина, у Нарциссова большое уважение к эстонскому национальному характеру: твердости воли, самообладанию перед лицом врага или бедствием и выносливости в тяжелом труде:

— Умирили викинги, стоя,
Непременно с мечом в руке.
У него наследство простое:
Ледяная решимость в зрачке.

Но всего дороже на свете
Ему вот эта земля,
И вот чахлые ёлки эти,
И в камень свои поля.
(“Estonica”)

Есть у Нарциссова и великолепные стихи о “бевзременной стране” Австралии и об Америке. В их большинстве он употребляет классические формы стихосложения, но иногда пишет и белым стихом, например, “Голова”, “Единорог”, “Разговор”.

Стихотворения Нарциссова являются как бы поэтическими фрагментами, мифологизацией научных воззрений автора, или научной концепцией мира, выраженной в иносказательной, поэтической форме. В основе его наиболее оригинальных и фантастических представлений о мироздании лежат личные научные знания. Например, в одном из циклов его стихов, “Мозг”, в центре эстетических размышлений — “морщинистый, налитый светом шар” — человеческий мозг, освещаемый с различных точек зрения, включая физиологическую.

Нарциссову великолепно удастся слияние древних мифологических образов с новыми, библейского Апокалипсиса и современного его обличья. Личная пророческая нота часто раздается в поэтическом изображении дня Страшного Суда.

Сюрреалистические *Angsträume*, иногда в простой форме, иногда в сверхъестественной и жуткой, отличаются верностью психологического рисунка. Несмотря на присутствие атавистических деталей в других его стихах (напр., "Домовой", "Болото"), бо́льшая их часть очень современна по своему "Kafkaesque" духу. Его призраки не только пугают, но и поражают своею обыкновенностью (напр., "Привидение" и "Свидетель").

Современный аспект творчества Нарциссова любопытно соединяется с традицией романтической поэзии: темой зеркала, темой двойника, образом луны, интересом к сверхъестественному, метафизическому и к *Naturphilosophie*. Как и в поэзии романтизма, луна и звезды появляются так же часто в стихах Нарциссова, как и апокалиптические видения, взрывы, картина гибели земли и неумолимое приближение Страшного Суда. С точки зрения звуковой "инструментовки" стиха Нарциссов продолжает традицию трезвого и строгого ритма, отказа от намеренно мелодического звучания стиха и его звукового символизма. В этом отношении поэт — прямой антипод Северянина, поэта "мелодического" стиля. Для образов Нарциссова характерна их наглядность и почти зрительная осязательность, как в стихотворении "Детство":

Но, стуча заслонкою тяжелой,
Торопясь завиться в дым седой,
Хохотал в печи огонь веселый,
Потрясая рыжей бородой.

Иногда образы располагаются по принципу звуковых сцеплений, причем звуки превращаются в звуковой образ, как в "Сказке":

Остеклень от луны
И овсы холодны.
Замани его в синь тишины.

Доедает палач
Под плач
Русалоч.

Часто образы из романтической и классической поэзии соединяются с фольклорными или с образами из каждодневной жизни.

Поэтизированы даже чердачная пыль и мокрицы в щелях. Образы, простые в лексическом плане, отличаются, однако, большой суггестивной силой, как в двустишии из "После бала":

Вот свеча золотым цветком
Распустилась в сумраке сером.

Широта интересов Нарциссова находит себе выражение в поэтическом словаре и образах: тут и химическая терминология, лингвистика, садоводство, мистицизм, антропология, философия, легенды, цитаты из Священного Писания и личное просвещенное и духовное отношение к миру.

Нарциссов часто пользуется двухсложной и трехсложной силлабической стопой, характерной для поэзии Серебряного века. Со своей любовью к цветам-краскам и к звуковой ощутимости стиха Нарциссов близок Блоку и Бунину. Но поэзия Нарциссова движется "по лунному" (теневому) пути. Поэт стирает разницу между сном и явью, между объективной предметностью и субъективным видением, между доисторическим прошлым и технологическим теперь. В магической вселенной Нарциссова ветер приобретает человеческие формы; тени превращаются в лемуrow; молча ползущие по стенам пауки обретают чудовищные пропорции. У Нарциссова наблюдается и большая склонность к изображению первичных элементов мироздания: земли, ветра (воздуха), огня и воды. Настроение беспокойства и одиночества в этом громадном первичном пространстве, передаваемое символическими, "Kafkaesque" образами в сочетании с сенсуалистическим описанием природы, воплощается в панораму сложного мироощущения поэта, занимающегося исследованием основных импульсов человека.

Характерной чертой этого калейдоскопического мира является экзистенциальное мировоззрение, подчеркивающее изолированность и отчуждение индивидуума. Развитие этой темы дается в различных художественных перспективах. Так, в стихотворении "Древность" проблема человеческого существования разворачивается параллельно детальному изображению древнего ритуала "Божеству наверху". Отчетливая ироническая нота раздается в последнем четверостишии: одетый в овечьи шкуры человек поклоняется "необтесанному мраморному богу",

улыбающемуся и напряженно всматривающемуся в "пустоту". Слово "пустота", как и описание неподвижного мраморного идола, указывает на отсутствие в мироздании гармонии и разумного начала и на крайнее одиночество в нем живущих.

Тема одиночества и покинутости человека развивается в стихотворении "Я не знаю теперь — был то сон или нет". "Безрадостный, холодный мир", "сыпучий, острый песок", "иссохшие травы", "зеленое небо" "огромных лун" проникают сознание поэта — он "совсем одинок... на этой далекой планете".

Борис Нарциссов опубликовал шесть сборников стихотворений: "Стихи" (1958), "Голоса" (1961), "Память" (1965), "Подъем" (1969), "Шахматы" (1974) и "Звездная птица" (1978). Его стихотворения печатались в разных антологиях и журналах ("Муза Диаспоры", "Новь", "Журнал содружества", "Возрождение", "Новый Журнал" и др.). Перу Нарциссова принадлежит ряд сюрреалистических рассказов, например, "Письмо самому себе" ("Возрождение"). Нарциссов известен также прекрасными переводами стихов эстонских поэтов, например, Алексиса Раннита и А. Таммсааре. Стихи Нарциссова на английский язык переводили Robert M. Morrison и John Glad. Канадский поэт Meery Devergnas перевела несколько стихотворений Нарциссова на французский.

Темира Пахмусс

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЯЧЕСЛАВЕ ИВАНОВЕ

БАШНЯ

Андрей Белый был один из тех москвичей, которые приезжали к нам прямо с чемоданом. Как-то при разговоре со мной Белый открыл, что мне нравится играть в солдатики. Это привело его в восторг — он объявил, что это его любимая игра. На башне была одна полупустая комната, где висели кольца для моей гимнастики, где я играла на скрипке и где стоял очень длинный раздвижной стол. Этот стол сделался нашим царством. Мы завели целые армии разнообразных солдатиков, разных наций, пехоты, артиллерии, кавалерии. Были созданы из чего попало что-то вроде крепостей: моя с одной стороны стола, его с другой, и происходили бои, при которых мы стреляли по враждебному войску горошком из минускульных пушек. Это увлечение у Белого длилось довольно долго. Он не раз привозил новых солдатиков при своих приездах в Петербург.

В этот период он писал свой роман “Петербург” и по мере его создания читал новые части Вячеславу. Вячеслав очень увлекался этим романом и называл Белого с ласкою “Гоголёк”.

Белый любил изображать кинематограф. (Дело шло о кинематографе той эпохи). Он подскакивал к стене и начинал двигаться, жестикулируя, вдоль нее. При этом все тело его начинало спазматически дрожать. Это должно было вызывать смех, но в соединении с его стальными, куда-то вдаль направленными глазами, это меня скорее пугало.

То и дело приезжал из Москвы Эмилий Метнер. Он обычно-

венно горько жаловался на своего друга, Белого, который в свою очередь всегда в чем-то винил Метнера. Белый, Метнер и Элис жили в Москве. Они были соединены между собою особою дружбой, проявляющейся чередованием трагических разрывов с патетическими примирениями.

Приезжала и бывала у нас одно время и жена Белого, очаровательная Ася Тургенева, художница и антропософка. Она делала неубедительный портрет Вячеслава.*

Одно время у нас гостил немецкий поэт Гюнтер. Он был очень симпатичный и уютный, и у нас в семье его звали обыкновенно Гюгюс. Вячеслав с ним дружил и между ними существует целая переписка в немецких стихах.**

Частый и дорогой гость был поэт Юрий Верховский, большой, бородатый, со светло-голубыми близорукими глазами. Его Вячеслав очень любил.

Мы очень много видались с Сергеем Городецким. Одно время он у нас гостил. Он был молодой, длинный-длинный, лицо некрасивое, но с ним было всегда весело. Мы с ним, Верой и Костей (когда тот приходил домой на праздники) ходили в Таврический сад. Нам по исключению разрешали проходить в ту часть его, которая была загорожена для Думы. Там на пруду был каток и чудные ледяные горы для салазок. Салазки слетали с них с захватывающей дух быстротой. Я помню себя сидящей на неизмеримо длинной спине правящего салазками Городецкого. Городецкий был прекрасный карикатурист. Он каждую неделю создавал домашний выпуск журнала, посвященного быту Башни. Он его назвал "Les puces de gamins". Надеюсь, что в России в каких-нибудь архивах он сохранился. Он был талантливо сделан и хорошо зарисовывал людей и семейный быт этого времени.

Вспоминается картина "Le lever du Roi". Отец проснулся и звонит в колокольчик. Часы показывают 2 часа дня. По коридору едет во всю прыть в какой-то вагонетке Маруся. В вагонетке поднос с завтраком, почта, на крючках висят предметы одевания. Вот семейная картина. Я возвращаюсь домой. Нарисо-

* Воспроизведен в Собр. Соч. III, 64.

**См. Cor Ardens, II, 337.

вано со спины. Две косы и руки невероятно вымазанные в чернильных кляксах; сбоку видны два рояля, стремглав убегающие от меня. Еще картина: шпиль Петропавловской крепости и к нему привязан воздушный шар с лицом Е. В. Аничкова. Внизу подпись: "Ballon captif".

* * *

Аничков наш большой друг. Сидел в одиночном заключении в Петропавловской крепости. Он был очень толстый. Семья Аничковых жила долго в Париже. Жена его, Анна Митрофановна, писательница, печаталась под псевдонимом "Иван Странник". Она дружила с Anatole France, и он, кажется, руководил немного ее литературными занятиями. У них было трое детей. Младшая Таня была моя подруга и сверстница. Вячеслав был приглашен специально, чтобы познакомиться со старшими: Игорь — 14 лет и Вета — 16 лет. Он вернулся в восторге от ума и высокого развития этих подростков и говорил, что они вели невероятно умные философские разговоры.

Аничковы пригласили меня к ним гостить в их имении "Ждани", и я у них прожила два лета, а зимой постоянно виделась с ними и в Петербурге. Отношения были самые семейные. Я помню, к моему ужасу, Игорь утверждал, что читает Канта. А Вета дала обет 4 часа в день делать медитации. Она часто проделывала эти медитации в то время, как я играла на рояле. Она ходила без конца вокруг круглого стола и отстукивала звонко каблучками свои мелкие и абсолютно аритмические шажки. Изредка слышался хруст отгрызаемого ее хорошими белыми зубами кусочка сахара. Она была права: сахар помогает думать. Но если старшие дети Аничкова вели себя, как мудрецы, нельзя сказать того же про Таню, по крайней мере в соединении со мной. Несмотря на осуждение крестьян нам сшили панталоны и почти весь день мы бегали по землям имения (500 десятин), лазили на крыши амбаров, воровали горошек и морковку у садовника, присутствовали при том, как телится корова, бежали под вечер в лес в надежде заблудиться, искали свободных лошадей, чтобы ездить верхом в седле или без. А один раз не спали всю ночь (ах, как это было трудно, но нужно было это

испытать), и до зари вышли на большую дорогу поблизости от цыганского табора, который тогда там кочевал. Мы мечтали, чтобы цыгане нас "похитили" и взяли с собой. Они нас выкрасят неузнаваемо в темный цвет (я, наконец, сделаюсь брюнеткой), научат ходить по канату и скакать через серсо, галопируя на лошади. Увы! Цыгане не только нас не крали, но даже лошадей у Аничковых не трогали из благодарности, что им разрешают у них останавливаться. Семья и в особенности дети Аничкова были монархистами и мечтали попасть в придворные круги. Но политические убеждения и аресты Евгения Васильевича этому препятствовали. Таня Аничкова сделалась талантливым скульптором, а позже и художником. Я с ней встречалась в Риме.

* * *

Лето, когда меня послали гостить на 10 дней к Мейерхольдам, было счастьем в моей жизни, так как я страшно полюбила Марусю — старшую дочку Мейерхольда. Они жили часто на даче в Финляндии, кажется, в Куокола. Сам он появлялся только на мгновения, семья же состояла из его жены Ольги Михайловны и трех девочек: Маруся, Таня, Ириша. Ирише было года 4 или 5, но она уже решила быть балериной. Она хотела славы и чтобы ей преподносили море цветов. Когда я приехала, меня сразу направили к детям в крошечный садик с большой кучей песка посередине. Я сильно почувствовала себя оскорбленной в своем достоинстве. Маруся была младше меня на 2 года, ей было 9 лет, и я должна была водиться с этим малышом, играть с ней, да еще с двумя бебе: выделывать из песка пирожки и шарики!.. Через 1/4 часа я этим занялась, забыв обо всем на свете. Марусю я обожала, считала святой и вообще идеалом. Она была добрая, великодушная, очень веселая и страстно любила танцевать. Когда где-нибудь организовывали детский бал, она так умоляла, чтобы ее пустили на него, что духу не было ей отказать. На следующий день она регулярно лежала с воспалением легких. Через год или два нашего знакомства ее по требованиям докторов отправили в Москву, где отдали в пансион Арсеньевской гимназии (чрезвычайно строгой). Петербург — яд для легочных заболеваний, а Москва со своим сухим, холодным и солнечным

климатом считалась целебной. Маруся приезжала на каникулы в Петербург, но после моего отъезда мы больше не встречались. Я слыхала, что она умерла совсем молодой от туберкулеза.

* *
*

Вера поступила на Высшие женские курсы на факультет классической филологии, и ее мэтры были М. Ростовцев и Зелинский. Ростовцев имел у себя на дому *jong fixe*’ы, которые часто посещали Вячеслав с Верой. Там бывало интересно и, по-видимому, весело. Вера с восхищением рассказывала нам один раз, как Ростовцев переоделся в кота, нацепил себе длинный меховой хвост и ходил на четвереньках по ковру. В эти дни появился какой-то человек, который утверждал, что нашел способ извлекать из травы всё нужное людям для питания. Голода больше не будет — провозглашал он по всему городу. Ростовцевы на свой очередной вечер пригласили всех кушать сено. Я спрашивала Веру, как произошло это, но она меня разочаровала, сказав, что сена не давали.

Что же до Зелинского, Вера задумала инсценировать и разыграть у него на семинаре маленький отрывок из какой-то античной пьесы. Костюмы были созданы из наколотых тканей, взятых из маминой корзины. Играли Вера и ее подруга Нахман, и они попросили Мейерхольда режиссировать эту сценку. Мейерхольд весело согласился и с терпением и охотой обучил их движениям, жестам и декламации. Нахман с диадемой на голове полулежала на диване. Входила Вера, одетая вестником (Вера обожала играть мужские роли), и что-то сообщала на древнем языке (по-гречески? по-латыни?). Нахман что-то драматически отвечала, вынимала браслет, сделанный в виде золотой змейки, накидывала его на руку и падала на подушки мертвой. Не помню, имело ли это представление успех или нет, но мы с Марусей долго передразнивали его. Одна из нас входила и говорила напыщенно — “Шурум, бурум!” Другая на диване отвечала с достоинством — “Рахат Лукум”, надевала браслет и падала мертвой.

* *
*

Мейерхольд ставил тогда Вагнера в Мариинском театре. Он как-то раз повел Веру за кулисы и поместил ее на какое-то место, находившееся прямо над сценой, откуда она видела все действие как бы в колоде. Она мне на следующий день это рассказывала как об огромном для нее событии. Опера, которую она так видела, была Лознгрин, и я в то утро узнала от нее ее содержание.

Помню, как Мейерхольд говорил за столом о своей работе при постановке Тристана. Он жаловался на обычную жестикуляцию певцов и уморительно передразнивал их. Он хвалился своей выдумкой. Он велел сделать декорации такие сложные, неудобные и опасные для малейшего движения, что несчастные певцы должны были стоять недвижно, как тумбы, из опасения сломать себе ногу. Актеры были очень рассержены, а режиссер потирал руки от удовольствия: он добился постановки, какой хотел.

* *
*

У меня были две подруги Саша и Таня Черносивитовы, племянницы А. Н. Чеботаревской, которые очень долго жили в Париже и говорили по-французски в совершенстве. Вера задумала сделать детское театральное представление на французском языке, дав нам главные роли и интересуясь сама режиссурой. Мы разыграли "Esther" Расина с приложением фарса "Maitre Patelin". Текста фарса у Веры не было, она только помнила его содержание по урокам литературы в Женеве. Она мне рассказала его и предложила мне написать своими словами фарс, распределив всё по сценам и наметив разговоры. Мы не учили наизусть мой текст. Он служил канвой, по которой разыгрывали пьесу, а когда наступил вечер спектакля, мы так разошлись, что стали многое импровизировать. На спектакле присутствовал Мейерхольд, который отнесся к нашему драматическому представлению с полным пренебрежением, но пришел в энтузиазм от "Maitre Patelin", находя, что эта постановка дает ему интересные идеи.

* *
*

Этот спектакль для Веры был как бы упражнением, подготовкой к осуществлению ее мечты общего театрального действия, к созданию "Башенного театра". Выбор пьесы долго обсуждали. Была избрана пьеса Кальдерона "Поклонение кресту". План постановки создавался месяцами и предприятие привлекало к себе интерес нас окружающих. В заключение ткани из корзины моей мамы попали в руки Судейкина, который создал из них декорации и костюмы, а на последние репетиции явился Мейерхольд и стал всем управлять. Вера играла Eusebio, главного героя (как всегда выбрав мужскую роль), вложив в нее всю душу. Даже мне дали небольшую и комическую роль, я играла Менгу. Было страшно весело. Публики, казалось, было больше, чем могла вместить тесная комната, да еще с отгороженной частью для сцены. Это благодаря какому-то фокусу Мейерхольда. О Башенном театре писали, а у моего отца есть стихи "Хоромное действо", описывающие этот вечер.

ХОРОМНОЕ ДЕЙСТВО

Лидии Ивановой

Менга, с честью вчера
Ты носила свой повойник!
А прекрасная сестра
Впрямь была святой разбойник.

Помню сжатые уста,
Злость и гибкость леопарда
И склоненья у Креста...
Страшен был бандит Рихардо!

Лестницу он уволок
Чрез партер, с осанкой важной.
Курсио, отец, был строг,
Черноокий и отважный.

В шлеме был нелеп и мил
Наш Октавио. И злобен
Дон-Лисардо, — только хил.
Фра-Альберто — преподобен.

В яму Хиль спустил осла;
С Тирсо Хиля ты тузила.
Круглолица и смугла,
Юлия изобразила

Гордость девы молодой,
Страсть монахини мятежной.
В залу мерной чередой
Долетал подсказ прилежный.

Кто шатром волшебным свил
Алый холст, червонный, черный?
В черной шапочке ходил
Мэтр-Судейкин по уборной.

Мейерхольд, кляня, моля,
Прядал лют, как Петр Великий
При оснастке корабля,
Вездесущий, многоликий.

То не балаган, — чудес,
Менга, то была палата!
Сцену складками завес
Закрывали арапчата...

Так вакхический приход,
Для искусства без урона,
В девятьсот десятый год
Правил действо Кальдерона.

* *
*

Мейерхольда я встретила еще раз, но гораздо позже, а именно в Риме в 1925 году (26?). Это было большой, неожиданной радостью. Он приехал со своей молодой женой, актрисой его театра Зинаидой Райх, получив командировку в Италию. Они были оба страшно влюблены друг в друга. Для нее он был муж, мэтр, учитель, создающий ее как актрису; для него она была его последняя радость, солнце его заката, еще яркого, еще сияющего во славе, но все же тускнеющего. Их влюбленность создала

много смешных анекдотов. Например, к нам явилась раз с протестом консьержка: "Кто эти двое, которые к вам приходят? У нас дом приличный, мы не можем позволить, чтоб у нас целовались на лестнице!" — "Но это муж и жена". — "Нет, это не может быть! Они слишком влюблены друг в друга".

Мейерхольд ревновал свою Зинаиду, как Отелло. Как-то раз вечером мы пошли целой компанией друзей есть мороженое в Виллу Боргезе. Все были веселы, и Зинаида, накинув на плечи новый, только что им подаренный ей венецианский платок, шла по тротуару, мурлыкая песенку и подплясывая. Ясно, что группа встречных итальянских матросов, увидев эту легкомысленную красотку, пустилась делать ей комплименты. Никто не обратил на это особенного внимания, но Мейерхольд замолк, лицо у него сделалось мертвым и серым — "Что с ним?" Зинаида отвечает — "Ничего, это Всеволод зарезался". Но осложнение ожидало нас впереди. По приглашению Мейерхольда мы доходим до Виллы Боргезе и входим в самое шикарное кафе ночного Рима. Кафе переполнено комендаторами, фашистскими иерархами, генералами, сливками буржуазии. Мы протискиваемся сквозь них, занимаем 2 стола, заказываем напыщенному официанту *chef d'oeuvre* кондитерского искусства. Вдруг Мейерхольд спазматически вскакивает и уходит. Вот он посреди столиков, вот он на освещенной площадке, вот он пошел в гуцу парка и вот... исчез. Проходят минуты, его нет, лакей приносит, высоко держа над головами клиентов, 2 подносы и ставит перед нами. Ни у кого из нас нет денег. "Всеволод зарезался, нужно идти в отель", уже беспокоится Зинаида, и нам приходится, оставив нетронутыми подносы, позорно встать и под выстрелами саркастических взглядов общества пробираться сквозь столики и удалиться.

Мейерхольд очень забавно показывал, как платить счет в ресторане, если вы не говорите по-итальянски. Хозяин подает счет, Мейерхольд, насупившись, долго смотрит в него и затем впивается глазами в хозяина. Тот быстро смущается, берет обратно счет, поправляет что-то и возвращает его Мейерхольду. Опять то же самое: изучение счета, упорный взгляд на хозяина, смущение хозяина, поправка счета, возвращение его Мейерхольду. Мейерхольд проделывает в 3-й раз это мимическое

упражнение и только после него платит со спокойной душой.

* *
*

У нас было полушуточно принято выражение "аудиенция". "Вячеслав Иванович, Н. Н. просит назначить ему аудиенцию". Н. Н. приходил, они с Вячеславом удалялись вдвоем и долго беседовали наедине. Я на башне больше не боялась Вячеслава, как в Женеве, но все же простоты в наших отношениях не было, и я сильно робела при нем. Однако случилось раз, что у меня возникла проблема, сильно меня смущавшая и которую мне не удавалось самой разрешить. В гимназии как-то одна девочка отвела меня с подругой в сторону и говорит — "Слушайте! Бог всемогущий?" Мы в ответ — "Да". — "А может ли он создать такой камень, какого он сам не сумел бы поднять?". Мы не смогли ответить. Я пришла домой, и этот вопрос меня все больше и больше беспокоил. Настолько, что я набралась храбрости и как-то, уловив момент, сказала Вячеславу: — "Можно ли мне иметь у тебя аудиенцию?". Вячеслав отнесся к моей просьбе с ласковым уважением и с крайней вежливостью. Условился со мной о времени. Он всегда обращался с уважением и вежливостью со всеми и даже с маленькими детьми.

С сильным волнением я явилась в назначенный час в комнату Вячеслава на Башне. Он любезно принял меня, предложил мне сесть в важное черное кресло (ренессанс) и спросил, в чем дело. Он выслушал внимательно вопрос гимназистки и дал мне сразу ответ, по моему мнению, достойный Соломона. — "Бог не только может, он уже создал такой камень. Это есть человек с его свободной волей". После этого Вячеслав подробно начал объяснять мне, что значит свободная воля, и я ушла от него счастливая и с легкой душой.

Осмелев, я позже еще раз попросила у него аудиенцию и была также ласково и внимательно принята. На этот раз мой вопрос был для меня чисто умственный, то есть не задевал меня душевно, как при первой аудиенции. Среди многих разговоров за нашим столом меня заинтересовало утверждение — "*La propriété c'est le vol*". Я спросила Вячеслава, что это означает. Он мне дал подробное историческое объяснение. Мы расстались

друзьями, но этот разговор на меня сильного впечатления не произвел, да и не мог. Изречение "La propriété c'est le vol" меня душевно не затрагивало, быть может и его тоже.

* *

*

Вячеслав работал много и регулярно. Отправив всех гостей, он ложился в постель и работал до восхода солнца. Естественно, что его утро начиналось иной раз в 2 часа дня. Он курил не переставая в подлинном смысле слова. Иной раз выкуривалось до 80 папирос в день. Правда, Вячеславу помогали его гости. Комната, где он находился, всегда была наполнена густым дымом. Как-то раз он отправился на извозчике (на санях, дело было зимой) на Высшие женские курсы, где он читал лекции по греческой литературе. Чтобы закурить, он зажег спичку и для защиты от ветра сунул ее в раздвинутую коробку, не обратив внимания на то, что спички в коробке были направлены головками вверх. Коробка вспыхнула, и пламя охватило ему полбороды. В этот день курсистки напрасно ждали: их профессор сидел у цирюльника, и с тех пор бороды больше не носил. О "самосожженной бороде" было много шуток.

А вот еще вспоминается забавный эпизод. Приходит домой Костя, ликующий, возбужденный. Великий князь Константин Константинович посетил в это утро первый кадетский корпус — "Я с ним лично разговаривал", — объявляет Костя. Великий князь Константин Константинович был поэтом, и некоторые его стихи пользовались огромной популярностью. На дворе были выстроены все кадеты. Обходя их ряды, Великий князь остановился перед Костей.

Шварсалон, поэт Вячеслав Иванов твой отчим?

Так точно, Ваше Императорское Высочество.

Ты читал его произведения?

Так точно, Ваше Императорское Высочество.

И понял их?

Так точно, Ваше Императорское Высочество.

Ну, значит, ты умнее меня, я ничего не понял!"

* *

*

Летом 1911 года была нанята дача в Силламягах (Эстония). Дача стояла посреди чудной роции недалеко от моря. Когда я туда приехала из Жданей (имение Аничковых), я застала на классическом дачном балконе сидящих за самоваром Вячеслава с еще неизвестным мне гостем. Это был Гершензон, который жил тоже на даче недалеко от нас и часто заходил к Вячеславу. Думаю, что это было начало их прочной дружбы. На даче было уютно и семейно. Приезжала также и Матреша со своим Флёкиным. В поселке рядом жила целая группа москвичей, профессора университета — помню имя историка Петрушевского и адвоката Ордынского. Все они после обеда собирались на площадке, где устраивали игру в городки. Вячеслав тоже к ним ходил и участвовал в игре. Было весело, и игра затягивалась до темноты.

* *
 *

Наступает весна 1912 года. Мне скоро минет 16 лет. И вдруг Вячеслав ко мне обращается и приглашает меня к себе в комнату на башню, чтобы со мною поговорить. Мы проходим через маленькую левую боковую комнату. В ней сидит Вера и робко смотрит, как мы проходим. Я опять сажусь в важное черное кресло и слышу невероятные вещи.

Вячеслав и Вера любят друг друга и решают соединить свою судьбу и всю жизнь. Это не есть измена маме. Для Вячеслава Вера есть продолжение мамы, как бы дар, который ему посылает мама. Будет ребенок. А ребенок всегда создает новую жизнь, новый свет. Принимаю ли я то, что Вячеслав мне говорит? Если да, я буду с ними. Если мне это неприемлемо, мне будет организована самостоятельная жизнь: если я хочу с Марусей.

То, что я услышала, переворачивало весь внутренний мир, в котором я жила. Для Вячеслава Вера продолжение мамы! Вот они оба, робкие и полные волнения, ждут как бы приговора какого-то подростка. И я должна быть судьей? Принять, что они говорят? Но, может быть, это будет измена матери? Я предаю её? Минута была острой... Сердце наполнилось любовью, и я решила: "Я с вами".

Вячеслав сказал: "Что бы ни случилось дальше в нашей

жизни, я этого момента не забуду". Мы вышли в соседнюю комнату, где ждала Вера. — "Она с нами", — сказал Вячеслав.

Несколько дней спустя мы уехали втроем: Вячеслав, Вера и я во Францию и поселились в Neuvecelle, около Evian на озере Леман.

ЭВИАН. РИМ. МОСКВА

Башенный период кончился. Наступила совершенно новая пора жизни. У меня было ощущение, точно рассеялись та туча, тот морок, которые висели над нами в Петербурге даже в радостные минуты. Точно наступило утро.

Не только мои отношения к Вячеславу стали иными, но он сам сделался другой: простой, полный юмора, лирический, беспомощный. Я долго не могла опомниться от удивления, что вот сижу за столом с совсем простым, как другие, человеком, другом, товарищем, с которым можно говорить и об умном и о всяком вздоре, который всем интересуется и во всех подробностях, с которым можно даже играть. Я стала писать музыку на его стихи, и одну балладу мы сочинили совместно. Я написала мелодию для первой строфы песни, спела ему и заказала стихи в форме баллады, в которых говорилось бы о лесе, волках и луне. Он обрадовался (он всегда любил, когда ему заказывали стихи) и написал "Уход царя".

Вошел, — и царь челом поник.
Запел, — и пир умолк.
Исчез... — "Царя позвал двойник", —
Смущенный слышен толк.

Догнать певца
Царь шлет гонца...
В долине воеет волк.

Царевых вежд дрема бежит;
Он бродит, сам не свой:
Неотразимо ворожит
Напев, еще живой...
Вся дебрь ясна:
Стоит луна
За сетью плюшевой.

Что вещий загадал напев.
Пленительно уныл?
Кто растерзал, как лютый лев,
Чем прежде счастлив был?...
 В душе, без слов,
 Заветный зов, —
А он забыл, забыл...

И царь пошел на смутный зов,
Тайком покинул двор.
Широкошумных голосов
Взманил зыбучий хор.
 И все родней —
 О н е й, о н е й! —
Поет дремучий бор.

И день угас; и в плеске волн,
Где лунною игрой
Спит, убаюкан, легкий челн, —
Чья песнь звенит порой?
 Челнок плывет,
 О н а зовет
За острой той горой.

На бреге том — мечта иль явь? —
Чертога гость, певец:
Он знает путь! — и к берегу вплавь
Кидается пловец...

 Где омут синь,
 Там сеть закинь —
И выловишь венец.

Первая строфа соответствовала моей мелодии. Я старалась сочинить музыку на остальные строфы, решив дать всей балладе форму канона, но замысел превышал мои технические композиторские возможности того времени, и баллада осталась неоконченной. В то же лето я написала песнь на слова Вячеслава "Амалфея". Мы шуточно основали совместное творческое содружество с девизом "Лапа об лапу". На нашем гербе изобра-

жался куб, называемый основой, на нем стояла лира, а по бокам лиры два кота себе подавали лапу. Кот был тотемом нашей семьи.

В Эвиане создавался сборник "Нежная Тайна". Вспоминаются мне Вячеслав и Вера, идущими по дороге. Они возвращаются с прогулки. Как всегда каждый вечер они были у Мадонны — в крошечной часовне на берегу озера. Там же бил маленький ключ. Почему-то, глядя на них, сердце сжимается: солнце закатывается, они идут тихие, покорные, хрупкие. За них как-то страшно и их жалко.

КАПЕЛЛА

Сердце, сердце, ты мир несешь,
и еще есть в тебе место, еще
есть место — для Бога.

Л. Зиновьева-Анибал, "Тени Сна"

У замка, над озером, ключ и капелла Мадонны:
Туда на закате приходим с тобой богомольно.
Цветы полевые вплетишь ты в решетку окна;
Испить ключевой — дотянусь до студеной криницы.
На камне сидим перед славой вечернего солнца:
Не больно глазам, и покорному сердцу не больно.
Над ласковой гладью промчатся пугливые птицы —
То чайки, то ласточки. Смолкнут недолгие звоны:
То Angelus дальний... И мнится: у милой гробницы
Мы побыли вновь, и родная прошла, нащептала
Нам Ave — и с нею молились уста мимовольно;
С улыбкой склонилась, улыбкой двоих сочетала...
Но мглою прозрачной лесные подернуты склоны;
Звезда разгорелась; как розовый пепел — дорога
Меж темных деревьев... Обителей светлых не мало
В просторе Господнем; и в сердце простора — для Бога.*

В это лето в Эвиане родился мой брат.

— А ты, какое бы хотела дать ему имя? — спрашивает меня Вячеслав.

*"Нежная Тайна", III, 15.

Одно из трех — Димитрий, Алексей или Александр.
Алексей и Димитрий, понимаю. Но почему Александр?

Мне кажется, что это имя талантливое, обещающее.

Брат был назван Димитрием.

* *
*
*

К нам заехала в нашу "Villa des bosquets", как назывался и называется до сих пор домик, где мы жили, А. Н. Чеботаревская. Она заехала по делу. Издавался роман "Мадам Бовари" в ее переводе, под редакцией Вячеслава. Когда дело шло о редакции перевода, Вячеслав обыкновенно спокойно, не желая думать о сроках, назначенных издателем, брал сначала текст оригинала, с любовью в него вчитывался, затем брал поданный ему перевод и начинал не торопясь его перечитывать, переделывать, вырабатывать во всех тонкостях, так что от первоначального текста не оставалось камня на камне. Это обычно вызывало бурные реакции переводчика и нередко кончалось серьезной ссорой. Вячеслав не обращал на это внимания: ему прежде всего важно было спасти художественное произведение.

На этот раз дело шло о стиле Флобера. Они оба с Александрой Николаевной засели работать вдвоем на многие часы; потом стали слышаться отчаянные крики, рыдания, и из окна наверху стали вылетать какие-то предметы. Переводчица была в ярости, и ссора произошла, но, слава Богу, не на всю жизнь. В России состоялось после этого много дружественных встреч, но о "Мадам Бовари" было лучше больше не упоминать.

* *
*

В конце осени приехала Маруся, и мы переехали в Рим и поселились на Piazza del Popolo в пансионе одной англичанки, мисс Dove. Место было восхитительное, на углу via del Babuino. Некоторые окна выходили прямо на площадь, а некоторые в парк Monte Pincio.

Вячеслав был счастлив и весел в своем любимом Риме. Он много и успешно работал. Знакомых было мало. Были встречи с проезжими друзьями; но самое ценное это было то, что в Риме

окрепла дружба с Владимиром Францевичем Эрном. Дружба на всю жизнь, до смерти Эрна в 1917 г. Много стихов ему посвящены. Эрно имел в себе немного шведской крови. Он был молодой, высокий, чуть рыжеватый, белокурый; что особенно останавливало внимание, это — замечательный цвет его глаз, такой почти неправдоподобной синевы, которая напоминала синеву полдневного южного моря. "Друг, был твой взор такою далью синь", — так Вячеслав обращался к Эрну в поэме "Деревья", о которой я напомним позже, описывая нашу совместную жизнь в Красной Поляне.

Эрно жил в Риме с женой Е. Д. Викиловой, армянкой, и трехлетней дочкой Ириной. Он был в командировке от Московского университета для подготовки своей докторской работы. Он писал книгу о Розмини.*

В Риме каждый день аккуратно после завтрака, часа в два являлся к нам Эрно, и начинались между ним и Вячеславом интереснейшие дискуссии, длящиеся до вечера. Главной темой римских разговоров была апология католичества со стороны моего отца, апология православия со стороны Эрна. — "Лидия у нас стала совсем богословом", — говорили они в шутку про меня, но т. к. я их слушала молча, я отвечала: "Не богослов, а богослушатель".

Интересное знакомство было у отца в Риме со священником Пальмьери, ученым августинцем, влюбленным в Россию и в православие (думаю, что тут было влияние Эрна). Когда в 1924 году мы зашли в его монастырь, мы узнали, что он порвал с орденом, и нам не могли или не хотели дать о нем сведений.

МОСКВА

Первого мая 1912 года я оставила наших в Риме и уехала в сопровождении Эрнов в Москву, чтобы приготовить свой приемный экзамен в консерваторию. Позже уехала и Маруся, чтобы найти и устроить нам квартиру: было решено переехать в

*В. Ф. Эрно (1881-1917), "Розмини и его теория знания", Москва, изд. "Путь", 1914.

Москву. На лето Вячеслав и Вера остались еще в Италии, где они венчались в греческой православной церкви в Ливорно и где был крещен, во Флоренции, Дима. Старенький и трогательный священник в Ливорно, венчавший Вячеслава и Веру, был тот же самый, который в свое время венчал Вячеслава с моей матерью.

Окончательный переезд в Москву, на Zubовский бульвар 25, произошел осенью. Наша квартира была меньше, чем на Башне: комнат было 5. Две выходили на двор и три на Zubовский бульвар, посреди которого был широкий сквер с лужайками, скамейками и развесистыми деревьями. Вид из всех трех комнат был великолепный, т. к. квартира находилась на верхнем этаже, а впереди не было высоких домов, перед нами расстилалась широкая и открытая панорама на весь город.

Первая из комнат служила столовой, вторая гостиной, но в обеих находился широкий диван, на котором можно было спать. Последняя комната принадлежала Вячеславу. Богатая библиотека покрывала все стены ее до самого потолка. Вячеслав любил, чтобы его постель находилась в алькове, замаскированном занавесями и книжными шкафами. На окне были гардины, на полу ковер. Господствовал темно-красный, бордовый цвет.

Москва приняла Вячеслава с тем радушием, которое ее всегда характеризовало. Мы сразу почувствовали себя дома, и образовались тесные отношения со многими москвичами, с которыми прежде не приходилось встречаться. Мы были окружены друзьями старыми и новыми: Рачинский, Маргарита Кирилловна Морозова, Евгений Трубецкой, С. Булгаков, Бердяев, Шпет, Флоренский, Эрн, Скрябин, Гречанинов, Цетлин, Высоцкие, Брюсов, Белый, Метнер, Степун... Меня лично в Москве поглощало прежде всего мое учение в консерватории. К тому же я еще поступила на частные вечерние курсы, где готовили желавших сдавать экстерном экзамены на аттестат зрелости.

При таких усиленных занятиях моя жизнь не сливалась всецело с жизнью моего отца, а шла как бы параллельно. Всецело мы были соединены летом, когда у меня были каникулы и когда мы выезжали из Москвы.

В Москве жизнь была более нормальная, нежели в Петербурге, хотя друзей было не меньше. Быть может, существование

маленького ребенка создавало уже само по себе известный ритм. С нами жила милая няня, Ольга Петровна, из Тульской губернии, еще молодая но степенная, всей душой принадлежавшая к старому укладу доброй крестьянской семьи. У нас няня мягко, но с убеждением, наводила порядки в отведенном ей мире.

Я очень любила слушать рассказы про ее деревенскую жизнь. Она была вдова и очень гордилась своей дочкой Машей. "Она у меня красивая, мордастая. А когда умер муж, как она хорошо плакала! Вся деревня сходилась, чтобы послушать, как она плачет". Няня мне также рассказывала, как полагается в деревне вести себя. Этикет был сложнейший, куда сложнее наших городских правил воспитания: как войти в дом, как перекреститься на иконы, как кланяться присутствующим и в каком порядке...

Неожиданные приезды друзей с чемоданами исчезли. К Вячеславу приходили друзья, но беседы с ними не назывались аудиенциями. Сам Вячеслав часто ходил в гости. Вообще все было просто и ясно. Вячеслав читал много докладов. Он надевал свой старенький сюртук, который ему чрезвычайно шел, и у него вся фигура становилась очень элегантно. До лекций ему дома готовили гоголь-моголь для укрепления голоса.

Он принимал деятельное участие в Религиозно-философском Обществе и выступал там нередко. Заседания происходили в красивом особняке М. К. Морозовой. Вспоминается Рачинский с окладистой седой бородой, князь Евг. Трубецкой и сама добрая Маргарита Кирилловна, высокая, пышная красавица. А где-то висела прекрасная и неуютная картина Врубеля "Демон", который, казалось, вот-вот выйдет из рамы, — что было нежелательно.

Зимний сезон 1913-1914 в Москве был необычайно возбужденный и радостный. Было ли это подсознательным предчувствием, что это последний светлый и беспечный год? Или у всех были точно завязаны глаза? Люди жадно веселились: театры, концерты, а главное балы — всем хотелось танцевать. На святках был маскированный бал, не помню кем организованный. У Веры опять вспыхнула театральная страсть. Она еще раз открыла мамину корзину и создала три костюма, не касаясь ножницами старых тканей: она оделась туркой, меня она одела

итальянской цветочницей, а мою подругу Парашу Васину какой-то восточной женщиной. У нас хранится фотография этого вечера. В этих же костюмах мы отправились на маскированный бал к Бердяевым несколько дней спустя.

Бердяевы — Николай Александрович, его жена Лидия Юдифовна Рапп и ее сестра Евгения Юдифовна — жили в центре города, где-то в переулках между Арбатом и Остоженкой, в старом барском особняке. У них был чудный двухсветный большой зал прекрасной архитектуры. Они любили от времени до времени собирать изрядное количество друзей у себя и шуточно называли эти вечера "балом". Но на святках 1913-14 они пригласили друзей действительно на бал, и даже маскированный. Было чрезвычайно весело, и мы танцевали. Но тут как бы мимоходом прошла какая-то туча, которую, однако, не все заметили.

В этом году появился в Москве, Бог знает откуда, какой-то мистик, высокий старик с пышной бородой, длинными волосами, как-то странно одетый, швед. Он был принят у многих наших друзей. На этот раз он оказался на балу у Бердяевых.

Я была слишком увлечена танцами в кружке молодежи, чтобы подходить к нему и его слушать, но знаю, о чем он говорил, со слов Лидии Юдифовны. "Вот, вы все радуетесь, встречаете Новый Год. Слепые! Наступает ужасная пора. Кровавый 1914 открывает катаклизм, целый мир рушится..." — и другое в этом духе. Завидев издали входящую Веру, он спросил: "Кто эта женщина?" И получив ответ, сказал: "Какая несчастная! Какая несчастная женщина!" Пророк? Или черный ворон на празднике? У Веры действительно было несчастье. Это была какая-то болезнь, которая, еще начиная с отроческих лет медленно ее мучила, подтачивала, и в конце концов свела ее в гроб, в 1920 г., когда ей только что минуло тридцать лет. Болезнь проявлялась во все усиливающейся атонии кишок, дошедшей почти до паралича. Доктора не могли понять в чем дело. Атония кишок вызывала припадки интоксикации, сначала редкие, потом все более частые и все более длительные. Вера лежала в темной комнате с жестокими головными болями, а когда припадки проходили, не знала, чем питаться, т. к. со временем все меньше и меньше оставалось вещей, которые бы ей не вредили. Она героически боролась, чтобы участвовать в общей

жизни, ее радостях, ее проблемах, чтобы выработать в себе духовную силу и стать выше своей болезни. Последние 2-3 года ее жизни были мученичеством. В 1919 году обессиленный и истощенный организм сделался жертвой быстротечного процесса легочного туберкулеза.

*

*

*

На лето 1914 года мы поехали в "Петровское на Оке" (Костромская губерния). Там на крутом и лесистом берегу Оки находилась усадьба. В ней было четыре флигеля, которые сдавались на лето как дачи. Мы наняли один из них, Муратов — другой, Балтрушайтисы — третий.

ПЕТРОВСКОЕ НА ОКЕ

Оргису и Марии Ивановне Балтрушайтис.

Колонны белые за лугом... На крыльце
 Позтова жена в вандэйковском чепце, —
 Тень Брюгге тихого... Балкон во мгле вечерней,
 Хозяйки темный взгляд, горящий суеверней,
 Мужского голоса органные стихи...
 И запах ласковый сварившейся ухи
 С налимом сладостным, подарком рыбакова
 Собрату рыбаей и сеятелей слова...
 Вы снова снитесь мне, приветливые сны!
 Я вижу, при звездах, кораллы бузины
 В гирляндах зелени на вечере соседской,
 Как ночь, торжественной, — как игры Музы, детской...
 И в облаке дубов, палатой вековой
 Покрывшем донизу наклон береговой,
 В мерцаньи струй речных и нежности закатной,
 Все тот же силуэт, художникам понятный,
 Прямой, с монашеской заботой на лице,
 Со взглядом внемлющим, в вандэйковском чепце.*

Природа вокруг была чарующая, местность холмистая. Я любила рано утром забираться в лес и смотреть с высоты, как глубоко внизу ослепительно сияет похожая на расплавленную сталь извилистая лента Оки. На крутом обрыве раскаленного южного берега раскидывался парк, к моему ужасу полный ужей и змей, сверкающих разноцветными чешуями. По утрам мы спускались купаться с Верой и Евгенией Владимировной — женой Муратова. Она была босоножка, проделывала в купальнике свою эстетическую гимнастику и за компанию обучала нас с Верой этому искусству. Дима играл на лужайке с няней. К ним присоединялся и Никита Муратов, старший и рано умерший сын Павла Муратова.

Вечером по дорожке между нашим домом и рошей долго шагал взад и вперед Балтрушайтис. Он сочинял стихи. Дима подстерегал с балкона его появления и возвещал с восторгом — "Дядя Тпруа! Дядя Тпруа!" Тпруа на его языке означало лошадь. Кто знает, не принимал ли он почтенного поэта за лошадку? Дима очень любил лошадей и радовался, когда его водили в конюшню и показывали их в стойлах. Он просовывал руку сквозь решетку и говорил лошади: "Здравствуй, дядя Тпруа!" А потом обижался: — "Мама, почему он не хочет мне дать ручку?"

Помню ясный молодой месяц на бледном, но еще светлом небе. Дима указывает его няне — "Няня! Няня!" — "Это месяц, Димочка". — "Дай! Дай! Я его хочу! Дай!.."

Внезапно весь этот мир поэзии и тихой радости разбивается вдребезги. Объявление войны (17 июля) было, как неожиданный удар грома, когда молния падает совсем близко от вас.

Костя и Сережа посылаются на фронт. Деревни наполняются плачем. На станциях стоят готовые к отправке на фронт поезда. Солдаты горланят патриотические песни, провожающие рыдают, визжит гармошка. Общественным мнением неожиданно овладевает волна патриотизма. Как и все русские девушки, я подаю прошение, чтобы поступить на подготовительные курсы для сестер милосердия, и, как все мои сверстницы, получаю отказ. — "Слишком молоды!" Мы с Марусей едем в Москву, куда начинают стекаться беженцы. К Марусе приезжают ее мать, Павла Афанасьевна, и ее сестра, Варвара Михайловна с тремя дочерьми: они эвакуированы из Варшавы. Муж Варвары на

фронте. Маруся устраивает Павлу Афанасьевну у нас в доме. Получаем известие от Сережи: он ранен и посылается в Москву. Сережа был призван как прапорщик запаса и на 5-й день войны пошел в штыковую атаку, где ему прострелили основной нерв в бедре. Мы идем с Марусей встречать поезда с ранеными. Поезда прибывают, прибывают, и перед нами проносят нескончаемые вереницы носилок. После одного из таких тщетных розысков мы возвращаемся домой и находим Павлу Афанасьевну мертвой у себя в постели. Через несколько дней приходит телеграмма от Сережи с обозначением дня и часа приезда. Мы его устраиваем в военном лазарете в соседнем с нами доме. К этому времени в Москву возвращаются Вячеслав и Вера с Димой.

* *
*

Осенью на фронте — война. В городе возобновляется культурная жизнь. В академических кругах огромный скандал. Владимир Эрн печатает статью "От Канта к Круппу", где доказывает, что диалектическое развитие философии Канта приводит неизбежно к войне. Возмущение в университете неопишемое. Вся карьера Эрна была испорчена и ему грозил ostracism. Он смело продолжал стоять на своем.

Приблизительно в это время начинается знакомство и дружба Вячеслава со Скрябиным. Мы оба с отцом любили Бетховена и Шуберта, любили классиков, а к новой музыке относились с недружелюбием, как относятся к подозрительным иностранцам. Скрябин это почувствовал, и т. к. очень полюбил Вячеслава, захотел непременно его ввести в свой мир. Один раз вечером он к нам пришел, сел за наш старый рояль и долго нам играл отрывки из своей поэмы "Прометей", повторял их, объяснял. Мы были только троим: Скрябин, Вячеслав и я. Когда Скрябин ушел, Вячеслав обратился ко мне и говорит: — "Ну что же?" Я сознаюсь — "Хорошо". — "Не правда ли?" Мы были оба смущены, а у Вячеслава было выражение, как если бы ему дали отведать от запрещенного плода познания добра и зла.

Мы со Скрябиным часто видались, и сдружились также с его женой, Татьяной Федоровной Шлецер. Они жили, кажется, где-то у Арбата. У них было трое маленьких детей: две девочки,

Ариадна и Марина, и гениальный мальчик Юлиан, который погиб еще в детстве.

На первый взгляд Скрябин со своими закрученными усами и аккуратной бородкой мог казаться элегантным, поверхностным и банальным посетителем светских салонов. Но когда он начинал говорить о своих идеях и замыслах, его глаза загорались, он весь светился и казался легким-легким, точно возьмет да взлетит. (Что, кстати, соответствует характеру его музыки).

Вячеслав очень тесно сблизился со Скрябиным, который сообщал ему все свои замыслы, или, вернее, посвящал его в свой один великий замысел. Он считал, что его миссия — написать музыку для "Мистерии" — окончательной мистерии. Она будет исполнена всего лишь один раз, и после этого окончится Эон, в котором мы живем — этот мир кончится. Скрябин подготовлялся к этой миссии. Пока что нужно было написать "предварительное действие", которое он уже конкретно начинал осуществлять.

Он так верил во все это, что мы за него сильно опасались — что будет, когда он напишет эту музыку и дело дойдет до ее исполнения. Казалось, что Судьба решила за него и как бы пресекла его дерзновение. Было что-то жуткое в его совсем неожиданной смерти после немногих дней болезни от случайного заражения крови. Он умер весной 1915 года. Было ясное солнечное утро. Торжественная церковная похоронная процессия медленно двигалась, сопровождаемая толпой народа, от его дома до кладбища Новодевичьего монастыря.

*

Развертывалась дружбы нашей завязь
Из семени, давно живого в недрах,
Когда рукой Садовника внезапно
Был сорван нежный цвет и пересажен
(так сердцем сокрушенным уповаю)
На лучшую иного мира пажить:
Двухлетний срок нам был судьбою дан.
Я заходил к нему — "на огонек";
Он посещал мой дом. Ждала поэта
За новый гимн высокая награда, —

И помнит мой семейственный клавир
Его перстов волшебные касанья.
Он за руку водил по ступеням,
Как неофита жрец, меня в свой мир.
Разоблачая вечные святыни
Творимых им, животворящих слав.
Настойчиво, смиренно, терпеливо
Воспитывал пришельца посвятителем
В уставе тайнодейственных гармоний,
В согласи стройном новозданных сфер.
А после, в долгой за полночь беседе,
В своей рабочей храме, под пальмой.
У верного стола, с китайцем кротким
Из мрамора восточного, — где новый
Свершался брак поэзии с музыкой, —
О таинствах вещал он с дерзновеньем,
Как в яве видящий, что я провидел.
Издавна, как сквозь тусклое стекло.
И, что мы оба видели, казалось
Свидетельством твоим утверждено;
И, в чем мы прекословили друг другу,
О том при встрече, верю, согласимся.
Но мнилось, — все меж нас — едва начало
Того, что вскоре станет совершенством.
Иначе Бог судил, — и не свершилось
Мной чаемое чудо — в час, когда
Последняя его умолкла ласка,
И он забылся; я ж поцеловал
Священную хладающую руку —
И вышел в ночь...

(Продолжение следует)

Лидия Иванова

ХРОНИКА РАСПАДА

ГЛАВА XXI

Князь М. М. Андроников через посредство К. А. Военского предлагает мне писать в его журнале. Колебания. В первый раз я у Андроникова. Конфликт его с домовладелицею. С. П. Белецкий. В. С. Драгомирецкий. Журнал "Голос России". Облеухов отказывается от редакторства. Значение Андроникова. Отзыв о нем следователя Чрезвычайной Комиссии Руднева. Нравственная его искаленность и добрые дела. Вацлик и Гогель. Концессия на Мургабе. Драгоценности Великой княгини Александры Иосифовны. Процесс Сухомлиновых. Родные и друзья Андроникова: брат его, полковник князь Андроников, графы Берги, полковник Ермолаев, инженер Иолшин и др. Закулисная сторона назначения А. Е. Хвостова министром Внутренних дел. Белецкий обвиняет Хвостова в замыслах против Распутина. Андроников в немилости у императрицы и Вырубовой. Журнальная моя деятельность. Статья "Эрзерум". Статья "По какой дороге": задабривать ли правительству противников или, наоборот, карать врагов и возвышать друзей? Статья: "Дипломатия и ее судьбы". Письмо Сазонова Андроникову. Дело митрополита Шептицкого и статья "Россия и Ватикан". Статьи: "Война и поляки", "Казнь декабристов" — возражение Великому князю Николаю Михайловичу. Не пропущенная военною цензурою статья "Герой не на войне", в защиту генерала П. К. фон Ренненкамппа. Посещения с Андрониковым сановников — министров иностранных дел Б. В. Штюрмера и Н. Н. Покровского и обер-гофмейстерины Е. А. Нарышкиной. А. Д. Протопопов и князь Андроников. Убийство Распутина. Великокняжеская революция. Высылка Андроникова из Петрограда. Поездка в Рязань к Андроникову. Прощайте, князь Михайло Михайлыч.

Мы печатаем две последние главы воспоминаний Ю. С. Карцова, полученные нами от его дочери Е. 'О. Концевич, за что приносим Е. Ю. сердечную благодарность. РЕД.

Андроников, князь Михаил Михайлович, тот самый Андроников, которого Витте посылал подкупить Шарапова. Среди бюрократии и в придворных сферах пользовался он огромным влиянием. Служебного положения он не занимал, талантами не обладал, богат не был, репутация его была худая. Откуда у него такое влияние?

К покровительству всемогущего князя в вопросах служебной карьеры прибегал сотрудник мой по истории 1812 года, К. А. Военский, и не напрасно. Андроников помогал ему, выручал его, ничего не требуя взамен, совершенно бескорыстно.

В феврале 1916 года пришел ко мне Военский и привел меня в смущение предложением, по правде сказать, весьма соблазнительным.

— Андроников собирается издавать журнал. Не хочешь ли принять участие?

— Помилуй, Костя, — возразил я. — Ты знаешь, что за субъект Андроников. Каким же образом предлагаешь ты мне с ним работать?

— Какое тебе дело до его нравственности, — настаивал Военский. — Ты сам проповедуешь: в политике надо пользоваться всякою возможностью и никем не брезгать. Андроников до сего времени подавал Царю маленькие заметки. Теперь он будет делать это путем журнала. Писать у него все равно, что писать Государю непосредственно.

— Да, но у него бывает Распутин, а с Распутиным встречаться я не намерен.

— И этого не бойся. Между ними пробежала кошка, и Распутин перестал к нему ездить. Вот, случись революция, тогда, — другое дело, — Андроникову и всем тем, кто участвовал в его журнале, первым снесут головы.

— Соображение это меня не останавливает. Передай Андроникову — статьи писать я согласен, но подписывать их я не буду.

— Андроников вечно в разъездах, и ты его не застанешь, — закончил миссию свою Военский. — Поэтому он просит тебя приехать прямо к обеду. Он обедает около восьми вечера.

Проживал Андроников в роскошном многоэтажном доме, с тремя дворами, с тротуарами и цветниками, с Фонтанки выхо-

дившем на Троицкую улицу. Владелица этого дома, дама высшего общества, будучи в контрах с императрицею Александрою Федоровною, считая Андроникова фаворитом Государыни, выместила на нем злобу. Воспользовавшись тем, что у Андроникова не было контракта, потребовала, чтобы он выехал из ее дома. Андроников упирался, боролся, но в конце концов вынужден был покориться и переехал на другую квартиру.

— Князь у себя в кабинете и занят, — сказали мне, когда в первый раз, как было условлено, ровно в восемь часов вечера, пришел я к Андроникову обедать. — Пожалуйте в гостиную.

Сидя в мягких креслах, наблюдал я обстановку совсем для меня новую. Гостиная в стиле *décadence*, мебель низкая, покрытая голубым штофом. Из соседней комнаты (я догадывался) сквозь закрытые двери, доносился говор и по временам раздавался звонок телефона. Так длилось более получаса, когда двери распахнулись и вышли двое господ, два блондина среднего роста и довольно полные. Один, с тонкими чертами лица, был князь Андроников, другой, с русскою круглою физиономиею и бакенбардами, Товарищ Министра Внутренних дел, Степан Петрович Белецкий.

Проводив в переднюю Белецкого, который уехал, Андроников вернулся ко мне:

— Простите, что я заставил вас ожидать, — сказал он, — дело было важное. Наверное вы проголодались. Идемте скорее обедать!

За обедом познакомился я с В. С. Драгомирецким, вице-директором департамента Духовных дел. Выходец из Галиции, Андроникову он был весьма близок и кругом ему обязан. Он сидел насупившись и говорил мало. Кроме того, обедали два-три юнца офицера.

Хозяин был со мною изысканно любезен, усадил возле себя и угощал на славу. Стол был обильный: закуска и кушаний было много. Показались они мне подогретыми и невкусными. Оно и понятно: сели мы обедать целым часом позже, нежели следовало.

После обеда повел меня Андроников в кабинет. При входе из гостиной у окна стоял массивный письменный стол, в глубине турецкий диван, на стенах висели портреты Царствующих Особ,

— Государь и Императрица с Высочайшими детьми, портрет Великого князя Николая Константиновича в штатском платье и фетровой шляпе, и на видном месте портрет пресловутого старца Григория Распутина-Новых.

Подали кофе. Андроников поделился со мною предположениями касательно журнала. Называться он будет "Голос России" и выходить еженедельно. Денег на издание от сочувствующих лиц поступило свыше шестидесяти тысяч рублей. Но, что всего важнее, из собственной шкатулки Государь Император пожаловал пять тысяч рублей. Я обратил внимание Андроникова, — желательно, чтобы журнал не носил характера любительского и кустарного, и посоветовал поискать опытного редактора. — Не можете ли вы указать мне подходящее лицо? — спросил Андроников. Я назвал Облеухова. — В таком случае, попросите его ко мне заехать.

Андроников пользовался дурною славою, а поэтому статья у него редактором перспектива была нелестная. Облеухов, однако, изъявил готовность. — Россия переживает момент критический, — рассуждал он, — а следовательно, беречь себя нечего. — Но он выразил опасение, правильность коего подтвердилась впоследствии. — Я превозмогу, — сказал он мне, — чувство нравственного отвращения, которое внушает мне Андроников. Но раз, как редактор, я ставлю подпись свою на журнале, я должен иметь уверенность, что подписчики получают положенное число номеров. — В обеспечение сего, потребовал он, чтобы Андроников внес определенную сумму тридцать тысяч рублей. Условия этого Андроников не принял, и дело у них разошлось.

Сам по себе Андроников человек ничтожный. Значение его не в нем самом, а в тех роковых событиях, с которыми имя его неразрывно связано. История эпохи не может пройти мимо него и не исследовать причин появления его и влияния. В этом смысле ярким свидетельством является дознание, на основании обильного материала, архива Андроникова и собственных его показаний, — произведенное командированным по распоряжению министра Юстиции Керенского в Чрезвычайную Следственную Комиссию по рассмотрению злоупотреблений высших должностных лиц, Товарищем прокурора Екатеринославского Округа

ного Суда, г. Рудневым.

Суровый следователь революции, разбирая переписку, не встретив того, чего ожидал, усомнился и, по отношению к императрице Александре Федоровне и Вырубовой, из Савла превратился в Павла. Перед "философским" умом императрицы он преклонился и душевным качествам Вырубовой, — незлобivosti ее и христианскому смирению, — воздал должное. Зато, перейдя к Андроникову, сгустил он краски чрезмерно: изобразил его дегенератом, лицемером и мздоимцем и не обнаружил в нем ни единой светлой точки. Но, обладая Андроников одними отрицательными свойствами, Царствующие Особы и государственные сановники с ним бы не носились, и он не продержался бы так долго на поверхности. Дознание г. Руднева лишний раз доказывает — факты и документы, взятые в сыром виде и не продуманные, не дают цельного представления о данном предмете или лице и приводят к заключениям односторонним.

Родители Андроникова были люди почтенные: отец старинного рода кавказских героев, мать — баронесса Унгерн-Штернберг, происхождения остзейского. Дома получил он хорошее воспитание, а дальнейшее образование в Пажеском корпусе. Вместо военной поступил он на гражданскую службу, в департамент Духовных дел министерства Внутренних дел. Чиновника, однако, из него не вышло: писать бумаги и составлять ведомости не соответствовало живому его темпераменту. Он избрал себе профессию своеобразную и более прибыльную.

Государственные сановники в прежнее время, за редкими исключениями, принадлежали к лучшему обществу, служа в полках и танцуя на балах, с условиями придворной жизни и требованиями этикета освоились они с юности. Сановники последнего типа, выслужившиеся бюрократы, в обществе Высочайших Особ чувствовали себя не по себе и боялись совершить неловкость. Вот при таких сановниках и состоял Андроников в роли руководителя. Он наставлял их, осведомлял и остерегал. В свою очередь, Царствующие Особы испытывали потребность заглянуть через окружающую их стену, и с внешним миром, помимо установленных органов, войти в сношение. Тут опять поспевал Андроников. Он бегал, исполнял поручение, узнавал и доставлял, что было нужно.

Привлекать и располагать ему было тем легче, что качества эти были в его природе. Он был религиозен. Религиозность его совпадала с настроением придворных сфер, и в глазах их поднимала его значение. Но это не мешало тому, что она была искренняя. Кроме того, отличался он широкою благотворительностью. На допросе в Следственной Комиссии, беседуя с членом Комиссии, Драгомирецкий поставил ему вопрос: какое впечатление вынесли вы из чтения переписки Андроникова? — Он делал массу добра, — последовал ответ. В подтверждение его позволю себе и я привести два случая.

В числе посетителей Андроникова был старик, родом чех, по фамилии Вашлик. Об этом Вашлике почему-то сложилось у меня неблагоприятное мнение. — Зачем пускаете вы его к себе? — упрекнул я Андроникова, сознаюсь, необдуманно. — Ему есть нечего. Он ходит ко мне обедать. Ему отпускают обед и, когда меня нет дома, — объяснил Андроников. Затем Гогель, сын царскосельского коменданта при императоре Александре II, генерала Гогеля. Человек светский, но разорившийся и опустившийся. Он существовал единственно помощью, которую ему оказывали друзья, его благодетели, — князь Репнин и князь Андроников.

— "За определенную мзду, — говорит следователь г. Рулнев, — Андроников не гнушался никакими ходатайствами и предстательствами". Так он ходатайствовал о выдаче пенсии какой-либо вдове чиновника, не выслужившего срок на эту пенсию, и т. д. В действительности, если купца и промышленника пощипать и не прочь был Андроников, с бедняков мзды он не брал, хлопотал за них не только безвозмездно, но и тратил на них из собственного кармана. В кругу близких, шутя, называл он себя адъютантом Господа Бога. Шутка эта, хвастливая и кощунственная, была подхвачена врагами Андроникова и поставлена ему в вину. Что хотел сказать Андроников? А то, что, когда все средства были исчерпаны и пути заказаны, орудием Промысла вмешивался он, Андроников, и совершал чудо: просьба, заведомо безнадежная, увенчивалась успехом.

Касательно участия Андроникова в акционерном Обществе орошения Мургабской степи могу сообщить: доставшаяся ему доля, — полагать надо за проведение дела, — равнялась

стоимости более нежели тремстам тысячам рублей. Банк, финансировавший предприятие, деньги эти выплачивал ему постепенно. По поводу этой концессии совершил Андроников поездку в Ташкент, где в ссылке и забвении проживал Великий князь Николай Константинович. Андроников привез ему письма и поклоны от родных и с ним подружился. На беду свою впутался он в историю семейного раздела.

Великий князь обратился к нему, как к другу семьи, с просьбою рассудить его с братом и сестрою. Они не отдали части его драгоценностей, оставшихся после кончины матери их, Великой княгини Александры Иосифовны. Андроников посоветовал ему объясниться с братом откровенно и помог ему составить письмо. — Государь император поставил тебя опекуном над личностью моею и имуществом, — горько сетовал на брата Великий князь Николай Константинович, — а ты и сестра отнимаете у меня бриллианты и дорогие вещи, собственность мою по закону.

Великий князь Константин Константинович и королева эллинов, Ольга Константиновна догадались, — Андроников не чужд был письму и, когда он вернулся, встретили его холодно и прекратили с ним отношения.

На первых порах особенное к Андроникову расположение выказывали военный министр Сухомлинов и молодая его жена. В доме у них он был своим человеком. Но он держал себя слишком развязно и предъявлял требования чрезмерные и невыполнимые. Сухомлиновы стали им тяготиться и кончили тем, что его отдалили. Тогда, в отместку им, Андроников написал императрице Александре Федоровне пространное письмо, в котором собрал и повторил сплетни и наветы, ходившие по городу против Сухомлиновых. Письмо это, написанное на отменном французском языке, оглашено было потом на процессе. Редактировать помогал Андроникову приятель его, чистокровный француз, банковский деятель, по фамилии Анспах.

Перехожу теперь к родным и близким Андроникова, с которыми, бывая у него, пришлось мне встречаться и вести беседу.

Брат его, князь Андроников, старший полковник кавалерийского полка, тип гвардейца забулдыги. Вином и излишествами расстроил он здоровье. Ступал спотыкаясь и покачиваясь, с трудом переставляя ноги. Извращенности князя Михаила

Михайловича у него, правда, не было, но не было и его задумчивости, богобоязненности, мягкости в обращении и, вообще, культурности.

К идейным стремлениям он был равнодушен. Занимали его исключительно интересы полковой службы, метрессы его и собутыльники. На меня он косился и жаловался брату, — зачем в статьях моих задевал я высокопоставленных лиц, которые могут пригодиться, и светских знакомых.

Князь Михаил Михайлович ругательски ругал брата за беспорядочную его жизнь. Тем не менее, он выручал его и платил за него долги.

Надо отдать справедливость и полковнику: после революции, когда князя Михаила Михайловича посадили в Петропавловскую крепость, в судьбе брата принял он горячее участие: хлопотал и просил, пока, наконец, не добился его освобождения.

Дядя князей Андрониковых, генерал граф Берг, племянник фельдмаршала и Наместника Царства Польского, графа Берга, женат был на княжне Долгорукой, сестре княгини 'Орьевской, а следовательно, свояченице императора Александра II. По окончании курса в Лицее, служил он в уланах. Сплошную феерию, в вихре удовольствий пронеслась его жизнь. Деньги расходовал он, не считая и не помышляя о черном дне, когда их не будет.

С утонченными манерами старого царедворца, приятный собеседник, о каждом современнике запомнил и сообщал граф интимные мелочи. Анекдоты и бонмо у него так и сыпались. Года брали свое: сам того не замечая, он повторялся. Центром его рассказов служили два лица: дядя его фельдмаршал и супруга силезского магната графа Генкеля фон Доннерсмарка, по первому мужу маркиза де Пайва.

Биографические подробности касательно фельдмаршала были опубликованы графом Бергом, а потому приводить их здесь нет надобности.

Будущая графиня Генкель фон Доннерсмарк родилась простою еврейкою в России, чуть ли не в Бердичеве. В Париже дебютировала она кокеткой. Обладая выдающимися финансовыми способностями, эта биржевая Далила у поклонников своих, Самсонов парижской биржи, выпрашивала советы и нажила огромное состояние. Вышла она замуж сначала за разоривше-

гося португальца, маркиза де Пайва, а потом за графа Генкель фон Доннерсмарка. Говорят, это она, через посредство мужа, друга князя Бисмарка, настояла, чтобы контрибуция, которую Франция уплатила Германии, повышена была до пяти миллиардов. — Вы не знаете французов, — доказывала она, — чтобы освободить от неприятеля свою территорию, заплатят они все, что угодно.

Запятнанное ее прошлое в парижском обществе было слишком известно и загладить его было нельзя. Поэтому рассталась она с Парижем и поселилась в силезском поместье мужа и там, согласно рисункам лучших французских архитекторов, воздвигла пышный дом, копию дворца в Тюльери, куда войти, как она ни старалась, но по приказу императрицы Евгении ее не пустили.

На графа Берга, с которым познакомилась она еще в Париже, возложила она поручение: убедить русское правительство сбросить с себя гнет финансовой зависимости немцев и, с этою целью, русские бумаги из Берлина перевести в Париж. Биржа в Париже, — графиня не сомневалась, — примет их охотно и на более льготных условиях.

Казалось, дело пошло на лад. Выслушав графа Берга, министр финансов А. А. Абаза изъявил согласие. Делегаты парижской биржи готовились выехать в Петербург и вступить в переговоры, как вдруг разразилась катастрофа 1-го марта 1881 года и Абаза был уволен.

Преемник его, Бунге, нашел, что идея превосходна, но остановился перед опасением: связавшись с французами, поссоримся мы с немцами и неудержимо скользнем к войне.

Финансовый план графини фон Доннерсмарк получил осуществление, но гораздо позже, помимо нее, — она уже умерла, — и посланца ее, графа Берга. Заработать куртаж и поправить расстроенные дела так и не удалось графу. Стрекоза басни Лафонтена, лънул он теперь к Андроникову, этому муравью, который, впрочем, и сам от стрекозы ушел недалеко.

Вместе с графом Бергом посещал Андроникова его сын, молодой граф Берг, тоже лицеист, очень симпатичный. Он живо интересовался вопросами дня и сочувствовал успеху нашего журнала. Ермолаев Мефодий Николаевич, инженер полковник,

производитель работ по орошению в концессии Андроникова на Мургабе. Предварительно ездил он в Египет для осмотра и изучения тамошней оросительной системы. Когда началась война, желая навредить врагу, придумал он и разработал оригинальный проект "поплавка", а именно: сузить и укрепить берега Вислы, обратить реку в бурный поток, который снес бы мосты на протяжении нижнего течения и таким образом, что и требовалось, остановил бы и расстроил движение неприятельских войск. Проект этот, хотя и был одобрен Военно-техническим комитетом, доверия Генеральному штабу не внушил и, по этой причине, приведен в исполнение не был. Командированный во Францию, в Главную Квартуру союзных войск, вернувшись оттуда, Ермолаев побывал в Царской Ставке, в Могилеве и обо всем, что видел и слышал, докладывал Начальнику Штаба Армии генералу М. В. Алексееву. — В атаку союзники идут не иначе, как после артиллерийской вспашки, т. е. вражеские окопы осыпав снарядами, а у нас? — не договорил он. Алексеев вздохнул и сказал: — Такова наша судьба — брать окопы грудью. Ермолаев привез с собою аппарат для подслушивания переговоров противника по телефону и француза-мастера, чтобы его демонстрировать. К великому его огорчению, аппаратом этим в Ставке никто не заинтересовался. Алексееву было некогда, а помощник его, генерал Пустовойтенко посмотрел на аппарат, нашел его весьма любопытным, но никакого распоряжения касательно введения его в употребление не сделал. Видя, что толку не добиться, Ермолаев взял аппарат, сложил его и отправил французам обратно.

В разговоре с нами Ермолаев дополнял свои впечатления. Фронт союзников глубиною в восемь километров. Все, что происходит в отдаленнейшем его углу, Главнокомандующий знает непосредственно или через посланцев офицеров. Армия в руках его чуткий прибор, повинующийся малейшему прикосновению. После каждого сражения производится разбор его и устанавливаются ошибки. Глубина нашего фронта триста верст. Следит и решает Командование на основании донесений, которые нередко взаимно противоречат. Армия союзников представляет энергию сосредоточенную, тогда как наша — энергию рассеянную. Насколько в армии союзников талант ценится и

возвышается, доказывает следующий случай: один из участников боя, простой рядовой, о ходе, развитии и результатах сражения написал свои соображения и передал их начальству. Работа его была признана замечательной. Ее опубликовали, разослали по частям, а самого автора вызвали и перевели в Главную Квартиру.

Рассказам Ермолаева внимали мы с захватывающим интересом и, вместе с тем, с щемящим чувством патриотической скорби. Назначенный Заведующим инженерною частью 12-го корпуса, стоявшего возле Риги, Ермолаев простился с нами и уехал в армию.

Ионин, инженер путеец, убежденный годами старец, большой почитатель памяти князя В. П. Мещерского — Князя Владимира Петровича упрекали, он надменен, протягивает один палец, — отстаивал он усопшего своего друга, — но это одна внешность. Душа у него была добрая. Вот только несчастная его страсть. — В той же роли почитателя от Мещерского перешел он к Андроникову, у которого такая же была несчастная страсть и душа, пожалуй, еще добрее, нежели у Мещерского.

Можаровский — человек еще молодой, женатый на Ягодкиной, дочери литератора, автора "Писем идеалиста", выходявших отдельными оттисками. Служил он в одном из департаментов министерства Внутренних дел. Расположен он был к Андроникову душевно и искренно, помимо всяких расчетов.

Червинская Наталия Илларионовна, она же баронесса Шпильц, маленькая, юркая, пожилая особа. На правах хозяйки, за самоваром разливала она чай.

— Кто такая, эта Червинская? — спросил я у Военского.

Резким, оскорбительным выражением определил он позорное ее ремесло.

— Странно, — удивился я, — место деятельности выбрала она неподходящее. Зачем понадобилась она Андроникову, а не ей?

— Это уж их дело, — ответил Военский. — Они вместе ездили в Киссинген на воды. Ходил слух, — он на ней женится.

Квартиру занимала Червинская в том же доме, как и Андроников, но на другом дворе. В то время, как у Андроникова дневала и ночевала военная молодежь, Червинскую

окружали красавицы на подбор, — Муся Коломнина, Радочка Патова, жена советника болгарской миссии и другие. Но кавалеры Андроникова и дамы Червинской сближения не искали. Голубая гостиная Андроникова и голубая гостиная Червинской органически не ладили и глядели в разные стороны.

Из того же гнезда вылетела птичка — Катя Сухомлинова. Первый муж ее Бутович приходился Червинской родственником. Червинская наставляла Катю искусству, как ей поймать Сухомлинова, распалить в нем страсть, но не уступать.

Свадьба состоялась. Червинская рассчитывала остаться при Кате и сохранить положение, но ошиблась она жестоко. В советах ее и услугах Катя более не нуждалась. Червинская не снесла обиды, присоединилась к Андроникову, и оба они на Сухомлиновых пошли походом. Членам Государственной Думы, Родзянко и Энгельгардту, которые по телефону у нее выспрашивали, она сообщила все, что в доме и сношениях Сухомлиновых заметила она подозрительного. На самом деле, ничего она не знала. Обвинения ее и улики оказались вымыслом.

Встреча Андроникова с А. Н. Хвостовым произошла у Червинской. Прежде знакомы они не были. С первых слов предложил Андроников Хвостову провести его в министры Внутренних дел. Хвостов у Государя императора был на хорошем счету и на пост министра Внутренних дел значился кандидатом. Подкладка эта Андроникову была известна. Тем более хотелось ему назначение приписать себе, связать Хвостова признательностью и заранее вступить с ним в дружбу.

Драгомирецкий рассказывал мне, каким путем приступил Андроников к выполнению плана и благополучно довел его до конца. Распутин держал себя в стороне. Но это не мешало Андроникову действовать его именем. — До сих пор министры к Григорию Ефимовичу относились с предубеждением и его преследовали, — внушал он императрице Александре Федоровне и Анне Александровне Вырубовой. — Хвостов питает к нему уважение и будет его охранять. Возьмите Хвостова.

Назначение Хвостова министром Внутренних дел, когда оно последовало, в глазах общественного мнения, явилось торжеством Андроникова, подняло и укрепило его положение. Хвостов видел в нем преданного друга, ездил к нему запросто и у него

обедал. На квартире у Андроникова происходили свидания и совещания Хвостова и Белецкого с Распутиным. — *Andronikow est tout puissant*, говорили в городе. Обольщение это длилось недолго.

Наряду с Распутиным, с которым Хвостов вынужден был считаться, была Государственная Дума. Распутин она ненавидела и, все равно каким способом, добивалась его уничтожения. — Убей его, да и только, — неотступно приставал к Хвостову председатель Думы, Родзянко. Соблазн действительно был велик: с устранением Распутина исчезал повод раздора между Царем и общественностью. Когда же, поддавшись нашептыванию Родзянки, Хвостов начал готовить Распутину гибель, приключился скандал необычайный. Ближайший его сотрудник Белецкий, испугавшись ответственности, выдал его головою.

— Полицию надо держать крепко в руках и не доверять никому. Хвостов передал ее Белецкому, а тот взял и поднес ему тютю, — негодовал Андроников на Хвостова. — Полиция не дворянское дело. Вот тебе и не дворянское дело. — Самому ему приходилось заботиться, как бы не быть заподозренным и не попасть в беду. Императрице, через посредство Вырубовой, написал он письмо, в котором оправдывался: — Хвостов ничего не поведал ему о своих намерениях, чем он виноват, если чиновники понаделали глупостей и т. д.

— О, я вывернусь, — восклицал Андроников. Тщетная надежда: вывернуться было поздно. Императрице и Вырубовой он поручился, — Хвостов Распутин не тронет и будет его оберегать. После того как обнаружилось — не охранять Распутин, а погубить его замышлял Хвостов, Государыня с Вырубовой пришли к заключению, для Андроникова весьма прискорбному: ручаясь за Хвостова, Андроников их обманывал, либо болтал зря. Прогневавшись на него, перестали они его принимать.

Согревавшее Андроникова солнце придворной ласки спряталось и более не показывалось. С неблагоприятным этим поворотом в его судьбе совпало появление еженедельного его органа "Голоса России". Первый номер вышел 6-го марта, а последний 25-го ноября 1916 года. Журнал сначала выходил аккуратно, потом стал запаздывать. Всех отпечатанных и разосланных

подписчикам номеров набралось двадцать пять. Ограничиваясь лишь сроком существования журнала, т. е. восемью с половиною месяцами, случилось то, чего так боялся Облеухов: подписчики не получили девяти номеров.

Почти в каждом номере была моя статья, а в некоторых и по две. Подписывался я псевдонимами "Россиянин" и "Старый дипломат", или вовсе не ставил подписи. Писать я мог, что хотел, — Андроников предоставлял мне свободу. Цензура была к нам снисходительна и делала поблажки. Гасили мой пыл и связывали меня условия военного времени. Проводить собственные взгляды, как бывало у Пуришкевича в "Прямом Пути", вмешиваться и судить о войне, порицать командование, нападать на союзников и высказывать пожелание скорейшего мира я не имел права. Официальные лозунги: о сепаратном мире не может быть речи; война до полной победы и сокрушения германского милитаризма, — были обязательны, и я подчинялся им поневоле.

Несколько статей посвятил я внутренним вопросам, поднятию престижа царской власти и отстаиванию ее от посягательств Государственной Думы и общественных деятелей. По поводу дела митрополита Шептицкого, коснулся я отношений России с римскою Куриєю и, касательно восстановления Польши, ввиду слишком широкого толкования воззвания Великого князя Главнокомандующего к полякам, выразил свое мнение. Но буду излагать по порядку.

Вступительная статья носила заглавие "Эрзерум". Пал Эрзерум — твердыня турецкого могущества. Турецкая Армения была завоевана. Статья написана была с целью обратить внимание правительства на необходимость приведения в известность земель, покинутых бежавшими турками и образования земельного фонда для раздачи нашим воинам. "Земельный фонд, — напоминал я, — корка хлеба на черный день для русского народа и клапан-предохранитель от взрыва". (Гол. России, 6 марта, № 1).

Статья, — довелось мне узнать потом, — произвела свое действие. Министерство Земледелия командировало двух чиновников в Эрзерум для ознакомления с земельным вопросом на месте. Как выполнили они поручение и с чем они вернулись, —

мне неизвестно.

"По какой дороге" — заглавие статьи. Эпиграф стих из Энеиды: — *pacere subjectis et debellare superbos* — щадить покорных и подавлять строптивых.

Император Николай II поступал как раз наоборот: с врагами заигрывал и старался их задобрить, приверженцев не удостаивал вниманием. Стоило им навлечь на себя неудовольствие общественного мнения, и тотчас он от них отрекался. Двоедушие — черта характера покойного императора, причина, почему в решительную минуту он был покинут и остался один.

"Видя, что правительство ласкает и награждает противников, а их игнорирует и оставляет в пренебрежении, — рассуждал я в предвидении событий, — что же, в свою очередь, должны испытывать приверженцы власти?"

— Защищать себя правительство не намерено, — придут они к печальному заключению. Поэтому, делать нам больше нечего. Пора подумать о себе и уйти от беды, пока есть еще время".

"В результате такой политики, якобы примирительной, растеряв друзей, останется правительство лицом к лицу с врагами и в полной их зависимости". (Голос России, 13 марта, № 2).

Прочел ли Государь Император мои предостережения и понял ли, что предназначены они были ему?

"Дипломатия и ее судьи". В заседании Государственной Думы докладчик П. Н. Крупенский привел пожелание бюджетной комиссии: "Надлежало бы организовать при министерстве Совещание под председательством одного из наших послов. В состав совещания помимо местных агентов министерства надлежало бы привлечь научные силы и членов законодательных палат". В защиту этого предложения выступил Е. П. Ковалевский. "Осведомленность об истинных нуждах страны, понимание требований общественного мнения, народной совести, конечно, не могут создаться в недрах замкнутого, обособленного и покрытого вечною пеленою таинственного ведомства", — не стесняясь присутствия министра Сазонова, громил оратор дипломатию. В России иностранная политика составляла прерогативу Верховной власти. С введением представительного строя, общественное мнение приобрело право вмешательства и конт-

роля. Думским деятелям показалось этого мало. Внешнюю политику захотели они забрать в свои руки. Основательна ли была такая претензия? Прежде всего, обладали ли они нужными познаниями и опытом? Просматривание газет еще не делает политика. Люди они несведующие и неопытные, г.г. Крупенскому и Ковалевскому не затруднился я сказать в глаза правду. Дипломаты наделали ошибок — спору нет. "Опрокидывает экипаж и опытный кучер, но будет ли седок чувствовать себя безопаснее, когда вместо кучера возьмет вожжи человек, ни разу в жизни не правивший лошадьми? Дипломаты — рутинеры и бюрократы, а вот демократия, хотя ничему она не училась и ничего не видала, та знает лучше..."

Постоянное совещание при министре Иностранных дел — затея небывалая и нелепая, попытка лишить министерство самостоятельности и обратить его в учреждение подвластное Государственной Думе.

"Представим себе, что произойдет, когда проектированный г. г. Крупенским и Ковалевским соберется винегрет из дипломатов, членов законодательных палат и вольных политиканов. Не повторится ли история Вавилонской башни и смешения языков? Ведь не учиться у дипломатов придут общественные деятели, а корить их, наставлять и на каждом слове открывать им Америку. При всем долготерпении очень скоро убедятся дипломаты — людям совершенно неподготовленным, в течение нескольких часов не в состоянии они передать опыт целой своей жизни. Взаимного понимания, само собой разумеется, не последует, и каждая сторона останется при своем".

П. Н. Милюкову, проповедовавшему дарданелльскую теорию свободного выхода к морю, в той же статье я возразил:

"Положение в корне неверное. В водах Средиземного моря господствует английский флот. Не от обладания проливами зависит, по этой причине, свободный выход, а исключительно от доброй воли Англии... России нужен вход в Черное море, а не выход из него. *La clef de la maison*. Черное море — Черное озеро. *Mare clausum*, а не *mare apertum*". (Гол. России, 20 марта, № 3).

Номер этот вышел особенно удачным. На читателей статьи наши произвели впечатление различное. Левых привели они в раздражение и озлобили. Правым пришлись по сердцу.

Беспощадною, язвительною статьею обрушилась милюковская "Речь". Но не на меня, а на Андроникова. — С его репутациею, — негодовала газета, — князь Андроников должен был бы сидеть и молчать, а он, не стесняясь и не совестясь, выступает публично и поносит общественных деятелей. — При таком характере полемики, оскорбительном и личном, положение мое по отношению к князю стало неловким. Нападал на противников я, а удары их, вместо меня, принимал Андроников.

Фанатиком, готовым пострадать за идею, Андроников не был. Кругом и против него поднималась и росла волна ненависти и ожесточения. Рано или поздно, сознавал он, а строиться к расчету неизбежно. Как он ни храбрился, тяжелое предчувствие закрадывалось ему в душу и омрачало его настроение.

Зато сановники, придворные бюрократы, для которых собственно мы и писали, остались нами довольны. Начальник Главного Управления по делам Печати — сенатор В. Т. Судейкин обратился к Андроникову с письмом, в котором поздравил его с блестящим началом журнальной деятельности. Еще более порадовало и привело в восторг Андроникова хвалебное письмо от Сазонова. — До сего времени у меня не было отношений с министром Иностранных дел. Это я вам обязан, что пишет мне Сазонов, — благодарил меня Андроников.

Вторично на мои писания отзывался С. Д. Сазонов. Но, как и три года тому назад, не мне самому, а другому лицу, а меня обходил он и игнорировал.

— Аванс сделал Сазонов вам, а не мне, — сказал я Андроникову. — Поезжайте к нему. Вступить с ним в сношения для нас весьма важно.

Несколько недель спустя, в первых числах мая, помнится, в воскресенье, в четыре часа дня, состоялось свидание, — Сазонов удостоил принять Андроникова. По просьбе Андроникова, за несколько минут до срока приехал я к нему и, пока он готовился и надевал пальто, повторил ему, что он должен передать Сазонову:

— Не забудьте, князь Михаил Михайлович. Воюем мы уже третий год. Россия дошла до крайней степени истощения. Внутренние наши моря, — Балтийское и Черное, — блокированы, и мы отрезаны от света. Избегая жертвовать кораблями,

союзники бросили всякую мысль о прорыве. Нам нужен Босфор. От обладания Босфором дальше мы, нежели когда-либо. Доколе Германия держится, союзники носятся с нами. Но, как только она сластется, а, следовательно в помощи России надобности не будет, поступят они с нами как захотят.

Андроников уехал, а я остался и, сидя в креслах в кабинете, ждал его возвращения. Пяти часов не пробило, как вошел он довольный и веселый. Министр был с ним любезен. Содержание беседы изложил Андроников дословно.

Говорили сначала об общих знакомых, — о Крыжановском, ближайшем сотруднике Столыпина, потом о Столыпине. По мнению Сазонова, потеря Столыпина невознаградима. Россияне не поняли его и не оценили. Витте хулил его и вел против него интригу. Опасения насчет союзников признал Сазонов неосновательными. Обязательства свои выполняли и выполняют они добросовестно. Нашествие русских на Индию пугало, которое постоянно мерещилось английскому общественному мнению. Слава Богу, англичане убедились, — России у себя дел по горло, и ей не до Индии. Касательно проливов дала нам Англия категорические заверения. Да, проливы будут наши, — закончил Сазонов. — Но мы должны их взять и, притом, сами.

Выслушав Андроникова, — как же возьмем мы Босфор, — заметил я, — когда во время Галипольской операции его не взяли и после того, как погиб броненосец "Императрица Мария Федоровна"?

Оптимизма Сазонова мы не разделяли, тем не менее, решили составить и поместить передовую статью в духе и тоне его сообщения. Появилась она 14-го мая (№ 10). На нее смотрели мы, как на акт вежливости по отношению к Сазонову, отплату за его предупредительность, с тем, вдобавок, чтобы заручиться им в будущем.

"Россия и Ватикан". На полях донесения против имени митрополита графа Шептицкого Государь император сделал надпись: — "аспид". Высочайшую эту пометку чиновники поняли, как указание поступать с митрополитом как можно суровее. Из Курска, где он был интернирован, его перевели в Суздаль в Свято-Ефимьевский монастырь, причем обязанность сопровождать его и наблюдать за ним возложили на православ-

ного священника, — обстоятельство, в глазах последователя митрополита, обращению с ним нашего правительства придавшее характер религиозного преследования и осенившее его ореолом мученичества.

С точки зрения интересов Православия и целостности государства, Шептицкий, пропагандист католик и украинофил-сепаратист, название аспиды заслужил несомненно. Но, каким бы аспидом он ни был, в отношении его правительству надлежало руководиться соображениями политического момента и государственной пользы, а не намерением свести с ним счеты и ему выместить.

Взгляды эти проводил я через К. А. Военского, председателя Комиссии по разбору бумаг Шептицкого и через князя Андроникова. В войне бесконечной и бесплодной Россия истекла кровью. Почему бы, — думалось мне, — не попытаться оторвать Австрию от союза с Германиею и склонить ее заключить сепаратный мир с державами Согласия?¹ Покинутая Австрией, Германия долго бы не воевала. Взять на себя посредничество могла бы римская Курия. История Шептицкого, — ложка дегтя в бочке меда, — являлась помехою, восстанавливала против нас Курию и закрывала пути.

"Худой мир лучше доброй ссоры", — писал я в статье "Россия и Ватикан". "Отлично мы понимаем, что отношения между римско-католическою церковью и русскою государственностью — брак, если не по принуждению, в лучшем случае по разуму. Но и брак по разуму, когда обе стороны твердо намерены блюсти его условия свято, может быть прочным и долговечным". (Гол. России, 27 марта, № 4).

Личность Шептицкого меня занимала. Посему предложил я

1. Другой случай с Австро-Венгриєю завести под рукою переговоры, которым правительство наше не воспользовалось, мирные предложения госпожи Васильчиковой. Дама эта принадлежала к высшему петроградскому обществу, но жила в Австрии и, как говорят, находилась в дружбе с австрийским магнатом, князем Лихтенштейном. Прибыла она в Петроград по поручению австрийских кругов поцупать почву, — нельзя ли, взамен уступок, склонить Россию заключить мир. Опасаясь возбудить нареkania общественного мнения и неудовольствие держав союзниц, правительство наше обошло с нею крайне сурово: выслушать ее оно отказалось и выслало ее в отдаленную северную губернию.

разрешить мне с ним повидаться, побеседовать, выведать, что у него на уме, а затем записать и передать кому следует. Старания мои разбились о тупоумие и косность бюрократов. — Никаких переговоров с Шептицким и никого посылать к нему не надо, ни Карцова, ни Военского, — решил и объявил Андроникову Председатель Совета Министров, Б. В. Штюмер.

“Война и поляки”. Преследование, которому правительство подвергало митрополита Шептицкого, тем более казалось необъяснимым, что в политике нашей совершился поворот в пользу поляков. До конца войны было далеко, и ничего Россия не получила, а уже поляки предъявили вексель, — так понимали они воззвание Верховного Главнокомандующего, — к уплате и, на основании его, требовали признания независимости Польши. А наследие императрицы Екатерины, — Северо-Западный край, Белоруссия и Волынь? В статье “Война и поляки” предостерегал я: решениями на половину поляки не удовлетворятся. Лозунг их все тот же: все или ничего. Поляков охватил приступ горячего бреда, который представляет собою ягеллоновская идея. “Еще раз мы перед альтернативою, которую брату своему цесаревичу Константину Павловичу ребром поставил император Николай Павлович: *Si l’une des deux, la Russie ou la Pologne doit régir, choisissez*”. (Гол. России, 5 октября, № 21).

“Казнь декабристов”. По поводу казни пяти декабристов, Великий князь Николай Михайлович поместил в “Историческом Вестнике” очерк, в котором доказывал, — император Николай Павлович жестоким не был и склонен был проявить милосердие. На приведение казни в исполнение настояла мать императора, императрица Мария Федоровна. В том же непреклонном духе усердствовали царедворцы Левашов, Чернышев и Голенищев-Кутузов. Великий князь обвиняет их, — они хотели подслужиться и называет их судьями-палачами... Подобное мнение считая исторически неверным, а в устах лица, принадлежащего к Августейшему Дому и неуместным, — “казнь осужденных была государственною необходимостью”, — возразил я Великому князю, — “Власти был брошен дерзкий вызов, и власть должна была принять этот вызов...”

Открытый военный мятеж был вопиющим нарушением воинской дисциплины. Возмущенное чувство армии требовало

удовлетворения. Решение свое постановил император Николай Павлович, но не в силу постороннего внушения, как пробует установить Великий князь, а по чувству долга и в сознании ответственности перед людьми, историею и Всевышним Богом. Или, в самом деле, полагает Великий князь Николай Михайлович, если бы удалось доказать, что, казня преступников, действовал император Николай не самостоятельно, а под влиянием императрицы матери и приближенных, это значило бы поднять его значение в глазах потомства и послужить его памяти". (Гол. России, 30-е авг., № 19).

Выказывая сочувствие революционерам и черня деятелей охранительного направления — Аракчеева, Чернышева и других, — чего собственно добивался Великий князь? Отличиться и прослыть либералом? Хотя и Великий князь, а смотрите, какой я молодец, писатель, историк передовой и беспристрастный? Или, в предчувствии постигшей его скорбной участи, приносил он жертву подземным богам, в надежде умиловить их и себя спасти? Но боги жертвы не приняли. Царские слуги, которые пяти декабристам вынесли смертный приговор и привели его в исполнение, поступили так на основании закона и по долгу присяги. Несправедливо и напрасно называл их Великий князь судьями-палачами. Настоящие палачи, они были впереди. Не справляясь с законами, расстреляли они Великого князя Николая Михайловича и других Великих князей, в ущерб революции ничего не совершивших и повинных лишь в том, что они царской крови.

"Герой не на войне". Статья эта была напечатана, но не появилась. Целью ее было поддержать генерала П. К. Ренненкампа, уволенного от службы, и помочь ему вернуться в армию. Написал я ее по просьбе Андроникова, который с Ренненкампом находился в приятельских отношениях, и самого Ренненкампа. Подписи я под нею не ставил и характер носила она редакционный. Увольнение генерала Ренненкампа произошло вследствие военных неудач, — сначала в Восточной Пруссии, — он не сумел соблюсти связи с корпусом Самсонова, — а потом в сражениях под Лодзью. Но, что, пожалуй, еще хуже: Комиссия генерал-адъютанта Баранова и следователя Игнатовича, разбиравшая его дело, обнаружила неправильности

по ведению хозяйства и в счетах с подрядчиками. Виновным себя Ренненкампф не признавал и выставлял себя жертвою интриги. Против него одинаково были настроены правительство и общество. Защищать его была задача щекотливая и неблагодарная. Военная цензура статьи не пропустила, и вопрос о ней отпал сам собою.

Между Царем и Государственной Думою, выступая посредником, Столыпин думал приобрести свободу действия и власть сосредоточить в Совете министров. Собственно он был думским министром, а не царским. Но такой порядок возможен был, лишь пока отношения Царя и Думы были нормальные. С обострением их положение Председателя Совета министров, попавшего между двух огней, стало невыносимым. Наступил период быстрой смены министров, который окрестил Пуришкевич метким, крылатым словом: чехарда.

Встретив Б. В. Штюрмера на вокзале, — провожали сановника, уезжавшего на лето, кажется, Горемыкина, — Андроников спросил его: правда ли, что предстоит вам занять места министра Внутренних дел и Председателя Совета? Штюрмер ответил со скорбью в голосе: *plaînez moi*.

Обжегшись на А. Н. Хвостове, "сферы" искали человека, на которого могли бы положиться, и выбор остановили на Штюрмере. Бюрократ и придворный до мозга костей, представлял он нужные гарантии. Зато Государственная Дума увидела в нем приспешника императрицы и Вырубовой и его возненавидела. Борьба разыгралась на личной почве и закончилась поражением Штюрмера. В качестве чиновника Особых поручений приблизил он к себе Манасевича Мануйлова, чиновника департамента Полиции и агента в прессе. Сделал это он не спроста, а потому, что Мануйлов состоял при Распутине и охранял его особу. Министр Внутренних дел, А. А. Хвостов, — дяля А. Н. Хвостова, и директор департамента Полиции Климович, зная — Штюрмер намеревается их сместить, набрав улики против Мануйлова, испросили разрешения арестовать его и отдать под суд. На процессе раскрылись темные его деяния. Хотя Штюрмер был к ним непричастен, тень легла и на него. Ввиду возбуждения общественного мнения и скандала в Думе, сферы от него отступились, и он был уволен.

Министром Внутренних дел Штюмер долго не останется, — говорил мне Андроников. — Мечта его стать министром Иностранных дел. Случится это весьма скоро, вы увидите. Отношения у меня с ним давние и наилучшие. Я повезу вас к нему, и вы получите возможность повлиять на ход внешней политики.

— Скажите, князь, — спросил я у Андроникова, — какая программа Штюмера? Есть ли разница между ним и Сазоновым?

— Штюмер полагает, — наступила пора умерить аппетиты союзников, не ссорясь с ними и не разрывая. Напшла коса на камень. Отсюда еще не следует, чтобы раскололся камень, либо коса разбилась вдребзги.

Неопределенная и робкая, политика Штюмера все-таки знаменовала отклонение от линии Сазонова правоверного служения и подчинения союзникам. В каких именно действиях проявил он эту новую политику, это вопрос другой. Подстреканное союзною дипломатиею, осиное гнездо думских и общественных деятелей встревожилось и на Штюмера обозлилось еще более. Он-де, креатура императрицы Александры Федоровны и, за спиною ее орудующих темных сил, замышляет заключить сепаратный мир с Германиею. Совсем некстати подоспел издатель "Российского Гражданина" Булацель и, выразив пожелание мира, подлил в огонь масла.

Жертва верности союзному делу, Сазонов, удалился, и место его занял Штюмер. Прекрасным летним утром на автомобиле, любезно предоставленном в наше распоряжение состоявшим при министре полковником Балашевым, покатали мы с Андрониковым на Елагин остров, где во дворце проживал Штюмер. Ехали мы традиционной дорогою через Троицкий мост и по Каменноостровскому проспекту. Нам было весело и любопытно — что выйдет из этой поездки? Повернув налево и перемахнув мосты, лихо подкатил автомобиль к павильону.

В приемной, небольшой комнате в нижнем этаже, ожидая Штюмера, собралось несколько сановников-администраторов, и между ними Управляющий делами Комитета министров Иван Николаевич Лодыженский, сын покойного Н. Н. Лодыженского, сослуживца моего и приятеля. Видя меня с Андрониковым,

сообразил он, зачем я приехал и пожелал мне всякого успеха.

Кабинет, где принимал и работал Штюмер, помещался этажом выше. Когда мы вошли, стоял он у телефона и, полным раздражения голосом, объяснялся с лицом, очевидно военным, что-то ему выговаривая, постоянно называя его "генералом". Кто был этот генерал? Андроников тотчас догадался, — это был военный министр генерал Шувалов.

Штюмеру передал я почти дословно все то, чем около месяца тому назад напутствовал я Андроникова, когда он ехал к Сазонову.

— Германия потерпит поражение, это несомненно, докладывал я, пробегая глазами черновик заметки, которую я составил для памяти. Но, в таком случае, Россия, в свою очередь, в виду морских держав, — Франции, Англии, Америки и Японии, — окажется одинокою и беспомощною. Повторится история Венского Конгресса, когда вчерашние наши союзники угрожали нам разрывом, от которого спасло нас неожиданное возвращение Наполеона с острова Эльбы. В предупреждение сего, необходимо нам поспешить овладеть Босфором, хотя бы внешними к нему подступами. Сделать это не на словах и предположениях, пока война не кончилась и потребовать от военных и моряков, чтобы к выполнению задачи приступили немедленно.

Штюмер слушал меня с вниманием и выражением, словно устами моими гласит сама мудрость. Напрасно извинялся я, — заметку написал я для себя и кое-как, — Штюмер вырвал ее у меня. — Отдайте мне ее, она мне необходима, — воскликнул он. — По всем вопросам вы должны подавать мне записки. — Перед тем раздраженный и неприятный тон его преисполнился старческого добродушия. Уехали мы от него обласканные и довольные. Андроников уверял, — Штюмер остался от меня в восхищении, а, следовательно, все великолепно.

Тяжелый опыт жизни научил меня сильным мира сего не верить и быть готовым к наихудшему. В этом прямом, как жердь, сухом, мягко стелюшем старце, не заметил я и тени искренности и теплоты. Когда, побывав у сестры в Новоборисове, недели через две я вернулся в Петроград, Штюмер не только не спешил со мною увидеться, а, наоборот, под разными

предлогами откладывал свидание. Наконец, он объявил Андроникову: чтобы ознакомить Карцова с положением, я должен посвятить целый час, а я слишком занят.

Что же произошло? Почему такая перемена? Полагаю, причина лежала не во мне, а в отношениях Андроникова к Распутину и его покровительницам. Убедившись, — в Царском Селе Андроникова не жалуют и не принимают, Штюмер решил от него отделаться. Понятно и во мне ему не было никакой надобности. Андроников, в свою очередь, из почитателя Штюмера сделался его врагом. Вместо маститого государственного мужа, потомка Святой Анны Кашинской, как величал его "Голос России", на столбцах газеты превратился он в "Рыжего". Под этою кличкою отныне разумел Андроников давнишнего своего друга — Штюмера.

Несколько в ином роде, хотя столь же безрезультатно, было посещение наше преемника Штюмера, Н. Н. Покровского. Человек старый и бывалый, Штюмер, по крайней мере, обо мне никого не спрашивал и решал сам. Финансист по профессии, с людьми и условиями дипломатической службы незнакомый, с первых шагов подпал Покровский влиянию министерских чиновников, а для тех появление мое на горизонте политики, разумеется, было нежелательно.

Да и зачем пошел он в дипломаты? Изъяснялся он по-французски недурно, ездил в Париж и заключил с союзниками финансовое соглашение. Вот и все были его права. Одетый с иголочки, озабоченный и растерянный, в апартаментах министерства, где творилась история России и веял дух славных деятелей, производил он впечатление вороны в павлиньих перьях.

Андроников, державший его в курсе придворных событий, сообщил ему последнюю новость: в конфликте между Председателем Совета министров Треповым и министром Внутренних дел Протопоповым, Государь император окончательно стал на сторону Протопопова. — Это очень жаль, воскликнул Покровский. Известие это, видимо, поразило его неприятно. Мы уселись и приступили к беседе.

— Тяжелую ношу возложили вы на себя, Николай Николаевич, — взгляд свой выразил я откровенно. — Предстоит вам после войны вести переговоры с союзниками, а почвы под

ногами никакой. Кто-нибудь должен взять ее на себя. Не я, так другой, — возразил Покровский. — Англичане, как только покончат они с немцами и будут у них развязаны руки, примутся за нас. — Как за нас? — удивился Покровский. — Они наши союзники. — Англия все та же, Николай Николаевич: сегодняшний наш союзник и завтрашний враг.

— Что же, по-вашему, делать? — спросил Покровский. — Не теряя минуты, овладеть Босфором, загородить его и утвердиться на северных его склонах, дабы таким образом, внутренняя линия Черного моря была наша. Иначе на мирной конференции окажемся мы безоружными. — Операция эта очень опасная. Мы попробовали высадиться у Варны и потерпели неудачу.

Разговор наш переходил в спор. Нападал я, а Покровский отбивал нападение. Сквозь любезность его просвечивала ирония: — видали мы таких, как ты. — Хитрый хохол, — отзывался о Покровском адмирал Е. И. Алексеев. В трагических обстоятельствах, в которых находилась тогда Россия, для того, чтобы выручить ее из беды и самому выйти с честью, кроме ординарной хитрости и бюрократической смётки, требовались другие качества, а их, как раз, Покровскому не доставало.

В беглых чертах изложил я историю политической моей деятельности, главные ее моменты: проект Босфора, низвержение принца Александра, поездка в Берлин в 1910 году и пацифистская пропаганда последних лет, и поднес ему мои сочинения. Дал ли себе он труд их прочесть? Сомневаюсь. — Опыт и знания ваши пригодятся, мы ими воспользуемся, утешил меня Покровский на прощание.

И, под конец, посетили мы с Андрониковым Обер-Гофмейстерину Е. А. Нарышкину. Жила она в Зимнем дворце. Хотя свидание это и не привело к практическим результатам, сохранил я о нем воспоминание светлое и благодарное.

Елизавета Андреевна Нарышкина, мадам Зизи, как фамильярно ее называли, обладала ясным умом и характером самостоятельным. Положение ее при Дворе было такое, что раз навсегда сделано было распоряжение: в присутствии мадам Зизи не говорить про Распутина. Когда французский посол, Палеолог, неосторожно коснулся больного места и спросил: — А как поживает добрый старец, Распутин? — Елизавета Алексеевна

строго его остановила: — Прошу вас, г. посол, в моем доме никогда не произносить имя этого человека.

Года ее были преклонные, но вид у неё был живой и бодрый. Говорила она короткими фразами, метким словом попадая в точку. Меня видела она в первый раз, тем не менее, обошлась со мною, как со старым приятелем и высказывалась не стесняясь. Понятие о моей семье она имела через графиню Лидию Андреевну Ростопчину, дочь поэтессы, родственницу ее и покойной моей жены.

Катастрофа приближалась, — одни цари не допускали ее возможности и пребывали в блаженном неведении. Нарышкина пробовала раскрыть им глаза: ей ответили заниматься своим делом и пригрозили удалением от Двора.

— Императрица Александра Федоровна вполне уверена, — Государь и она популярны. — Везде, где бы мы ни появились, — приводит она в доказательство, — встречают нас радостными криками. — Мы не погибли и не погибнем, — повторяет за нею Царь машинально. Вмешивается императрица в дела не по властолюбию, а потому что считает своим долгом ободрять мужа и поддерживать колеблющуюся его волю. Когда напугали его страхами и довели до изнеможения, на выручку спешу я, — *alors j'arrive*, — объясняет она, что именно побуждает ее вмешиваться. Государь любит ее не только как женщину, но и преклоняется перед высокими ее умственными дарованиями. *Malheureusement ce n'est pas le cas*, — отчеканила Елизавета Алексеевна.

— Шарлатаны возникали и уходили, набив себе карманы. Филипп получил миллион на распространение изобретенного им лекарства против болезни, наверное дурной, и купил себе виллу. Ту же штуку проделал Папюс и тоже увез миллион. Ныне в фаворе Распутин. Императрица видит в нем святого. Влияние его на нее чисто мистическое.

Простились мы с Нарышкиною и уехали от нее с тяжелым чувством, что все потеряно. В последний раз видел я Зимний дворец, еще не тронутым грязными руками толпы, во всем державном его великолепии.

Мы жили надеждою, — настанет теплая пора, армия наша перейдет в наступление и выгонит врага из пределов России. Но до лета было далеко, а пока товары на рынке заметно убывали,

лавки запирались одна за другою, продукты дорожали и озлобление в народе росло. Журнал "Голос России" страшно запаздывал: вместо четырех выходил он всего два раза в месяц. Я бранился и грозил, — если так, я перестану писать. — Андроников обвинял Драгомирецкого, тот, в свою очередь, Андроникова. Правда заключалась в том: журнал приносил убыток, и им жаль было тратить на него деньги.

Видя, что я теряю терпение, — напрасно вы огорчаетесь и портите себе кровь, — успокаивал меня Андроников. — Могу вас уверить, статьи ваши читаются где следует и производят надлежащее действие. Дворцовый комендант Воейков передал мне, — Государь Император очень их ценит и читает со вниманием.

— Читает он или не читает — одно и то же, — отвечал я сердито. — Пиши и доказывай, что хочешь, слова пропадают в пространстве и не вызывают отклика.

Неумолимая судьба требовала к расчету, и уклониться было нельзя. Со слезами на глазах и отчаянием в голосе, флаг-капитан адмирал Нилов, личный друг царя, говорил Андроникову: — Государь окончательно попал во власть женщин, — императрицы и Вырубовой, — и утратил самостоятельность. Они делают с ним, что хотят и ведут его к гибели. Я гляжу на него как на умершего и оплакиваю его заживо.

— Нарышкиной я объявил, продолжал, волнуясь, Андроников, — Елизавета Алексеевна, отбросьте всякие иллюзии: развязка близка, при дверях. Ни вам, ни мне не избегнуть кровавой расправы. Вам отрубят голову на дворцовой площади, а мне где-нибудь на Охте. Что станется с Россиею, и кто будет управлять ею, какие Толстозадовы и Желтопузовы, — я не знаю. Но эти, — Андроников произнес *эти* с ударением, — люди себя пережившие и конченные. Долее править они не в состоянии и должны уйти. — Трагическим жестом обращаясь ко мне, Андроников воскликнул: — Юрий Сергеевич, они обречены, и вы их не спасете.

Россия нуждалась в правителе твердом, который бы умел приказывать, отвечал за свои действия и не прятался за других. Затруднение было в пустяках: где найти такого правителя? Император Николай II сам властью не пользовался, но относился к ней ревниво и подозрительно. Не успевал он назначить

министра, как тотчас же начинал строить против него козни. Понятно, почему у этого Людовика XIII не появилось кардинала Ришелье.

На тусклом фоне петроградской политической жизни обрисовались силуэты двух новых деятелей — Председателя Совета Министров А. Ф. Трепова и министра Внутренних дел А. Д. Протопопова. Назначение Протопопова, ставленника императрицы и Вырубовой, последовало помимо и наперекор Трепову. Роли распределились у них довольно неожиданно. Между тем как Трепов, из семьи царских опричников, являлся продолжателем столыпинской традиции добрых отношений с Государственной Думой, Протопопов, парламентарий и октябрист, отстаивал права царской власти и готовился к борьбе с общественностью.

Андроников посещал Трепова, но в то же время дружил с Протопоповым и старался их примирить. Кто же из них был прав и правильно советовал царю: — Трепов или Протопопов? В оппозиции своей Дума дошла до крайних пределов. Для обуздания ее требовались решительные меры, а если их не принимать, оставалось лишь уступить во избежание катастрофы. Или то или другое.

— Хотите, я познакомлю вас с Протопоповым, — предложил мне Андроников. Я поблагодарил, но отказался. После неудачных посещений Штюмерера и Покровского, охота ездить к министрам у меня отпала. О Протопопове составил я себе понятие, как человеку пустом и тщеславном, который много говорит, ничего не делает, вдобавок, подточенном тайным недугом. Одного того, что пробрался он к императрице и Вырубовой и попал им в тон, было довольно для его характеристики. Я чувствовал — заваривается каша и впутываться в нее, не зная зачем, считал по меньшей мере излишним.

Григорий Распутин, тот самый Распутин, из-за которого загорелся сыр бор, крестьянин Томской губернии, шарлатан ясновидец и, что гораздо хуже, сектант хлыст и развратник. И, вот этого Распутина, поверив его святости, неограниченные властители земли русской, царь и царица приблизили к себе, ввели в свое семейство и духовно ему поработились. Гришка Распутин возводил и перемещал архиереев и рекомендовал

министров. Явление небывалое и тревожное.

Революционной пропаганде Распутин был как нельзя более кстати. Нападала она на него и кричала, давая понять: династия Романовых выродилась и править не может дальше. Распутина убили, но убийство совершили не враги монархии, а приверженцы ее, оправдывая его необходимостью освободить царя от зависимости, в которую он себя закабалил, и возвысить его значение в глазах народа.

Распутина не стало, и что же вышло на поверку? Конфликт царя с обществом не прекратился, а наоборот, обострился еще более. Очевидно вопрос был не в Распутине, а лежал несравненно глубже. Интеллигенция и пролетариат добивались окончательно выбросить остатки царской власти и ее заменить и, в конце концов, достигли своего. Личность Распутина служила лишь полем сражения между царем и общественностью, местом наиболее чувствительным и уязвимым, брешью в крепости, куда и вторглись штурмующие колонны революции.

Я с Распутиным никогда не встречался в жизни и не разговаривал, о чем теперь, как составитель мемуаров, весьма сожалею. Представление о нем сложилось у меня на основании того, что я слышал от других, главным образом от Андроникова и Драгомирецкого.

По мнению Андроникова, Распутин был несчастье, но такое, с которым ничего нельзя было поделать и приходилось мириться. Не прощал он ему, что он вмешивается в дела и назначения. Заботься он лишь о спасении души, — это было бы полбеды. Андроникову нужно было вернуть себе расположение императрицы и Вырубовой, а для этого, чтобы Распутин замолвил о нем доброе слово. С целью опять сойтись с Распутиным, подослал он к нему Драгомирецкого. Напрасно расточал красноречие Василий Степанович и убеждал Распутина, — в замыслы против него Хвостова Андроников посвящен не был и в них не участвовал. Распутин глядел травленным зверем. — Нет, я к нему не поеду, — объявил он решительно. Драгомирецкий уехал ни с чем.

О Распутине, как о человеке, отзывался Андроников скорее одобрительно. — Он бывал у меня и беседовал о делах, — рассказывал про него Андроников. — В суждениях его сказывались

природный ум, вдумчивость и, что всего важнее, искренняя преданность царю. Он первый обратил внимание на положение необычное и двусмысленное, которое, по отношению к царю, в качестве Главнокомандующего, занял Великий князь Николай Николаевич, себя выдвинув, а царя поставив в тень и посовещав царю самому принять командование. — Провели ко Двору Распутина Великий князь Николай Николаевич, жена его и свояченица. Понятна их злоба, когда они увидали, что перейдя на сторону царя и царицы, Распутин не захотел служить орудием честолюбия их и происков.

В противоположность заграничным шарлатанам, — Филиппу и Папыусу, Распутину нельзя отказать в известной доле нравственного содержания. Те думали лишь о том, как бы воспользоваться доверчивостью царя и царицы и выманить у них денег. Они были просто мошенники, — Распутин — явление русской жизни противоречивое и загадочное. Он веровал в Бога, любил царя и царицу и от всего сердца желал им добра. Сын народа, старался он внушить царю любовь к народу и предрекал ему: — если судьба твоя погибнуть, — погибнешь ты от руки интеллигента, а не простолюдина.

Убийство Распутина поразило Андроникова и, вместе с тем, его озарило. Он понял и содрогнулся: пробил час возмездия, Распутин первая жертва, за нею последуют другие, и та же участь ждет и его, Андроникова. Под свежим впечатлением грозной вести, вид он имел жалкий и подавленный.

Революционное брожение крепло, распространялось и охватывало Россию. Признаки его явственно выступили наружу, но не в низших слоях населения, а на самых его вершинах. — Внизу пока спокойно, — говорил С. П. Белецкий, — а вот наверху, того и гляди, что-нибудь случится. — Он был не у дел, тем не менее зорко следил за всем, что происходило. То же подтвердил И. Л. Горемыкин. — Общество настроено против императрицы крайне враждебно. Il faut que l'impératrice prenne bien garde, — сказал он Андроникову. Одну минуту казалось: готовится дворцовый переворот.

Во главе движения стали Великие князья и лица высшего круга. Проявилось оно в двух событиях, — салонной демонстрации против дворцового коменданта Воейкова, — когда Воейков

вошел в яхт-клуб, прочие члены не подали ему руки и повернулись к нему спиною — и террористическом акте, — убийстве Распутина князем Юсуповым, зятем Великого князя Александра Михайловича, при участии члена Государственной Думы Пуришкевича и в сообщничестве Великого князя Дмитрия Павловича.

Чего собственно домогались высокопоставленные революционеры? Они хотели заставить царя уступить требованиям думского блока, — удалить Распутина и затем согласиться на министерство общественного доверия. Жертвуя последними остатками царской власти, надеялись они удержаться на поверхности и сохранить великокняжеские преимущества. Забывали они пустую подробность: сами по себе значения они не имели, всем обязаны были царской власти, а потому, с уменьшением ее и падением, теряли под ногами почву и погружались в ничтожество.

С другой стороны, дело зашло так далеко, что спасение было уже не в противлении, а в сдаче и притом, как можно скорее. Как бы там ни было, родственники царя и его приближенные в решительную минуту не сплотились вокруг царя, не заслонили его грудью, а, страха ради иудейска, выдали его, восстали на него, поколебали верность в войсках и открыли дорогу революции.

Правительство прибегло к репрессиям, ввиду положения виновных, весьма снисходительным. Великие князья Николай Михайлович и Дмитрий Павлович были высланы из столицы. Той же каре подвергнуты были князь Юсупов и госпожа Дерфельден, дочь княгини Палей, морганатической супруги Великого князя Павла Александровича.

И вдруг, ко всеобщему изумлению, последовал приказ о высылке, к движению не причастного и ни в чем неповинного, редактора царского органа, благонамереннейшего журнала "Голос России", князя М. М. Андроникова.

— Что сие значит? Откуда такая напасть? — вопрошал я Андроникова. Обескураженный и сбитый с толку, путался он в догадках. Подошла беда не совсем неожиданно. Со времени скандала Хвостова и Белецкого, Андроникову было ведомо: дела его в Царском Селе весьма плохи. Императрица о нем и слы-

шать не могла, а Вырубова называла его не иначе, как "этот разбойник". Недаром Штюмер, тонкий придворный, не побоясь нападений "Голоса России", предпочел порвать с князем всякие отношения. За несколько дней до объявления о высылке, позвонила Андроникову Нарышкина. Императрица воспретила мне вообще иметь с вами дело, — сказала Елизавета Алексеевна и добавила: — *Je tiens à vous le dire moi-même.*

Оставался Протопопов. В высылке он был ни при чём. Произошла она помимо его, распоряжением военных властей. Сам он благоволил к Андроникову и был ему признателен за услуги, которые тот успел ему оказать. Но, ввиду шаткости положения Андроникова, не признавался он, что находится с ним в сношениях и принимал его не у себя в кабинете, а назначал ему свидания в нейтральном месте, у родственницы своей, княгини Мышенкой.

Между ними происходили переговоры по телефону, по особому проводу. Изъяснялись они на английском языке. *My conscience is pure*, — совесть моя чиста, — с дрожью в голосе заявлял Андроников. С какой же стороны был нанесен удар? Кто постарался? Избегая впутывать императрицу и, словно желая навести Андроникова на ложный след, Протопопов выразил предположение: не Пуришкевич ли?

Поводы высылки выяснились постепенно. Приказ исходил от императрицы непосредственно. Когда обратили ее внимание, — в убийстве Распутина Андроников не принимал участия. Да, но он болтает слишком много, — гневно воскликнула государыня.

Зайдя в департамент Общих дел, в разговоре с чиновниками Андроников обмолвился фразой: — Распутин, — сказал он, — тащит царей с престола за ноги. — Директор департамента Стремоухов, таивший зуб на Андроникова, неосторожные слова его передал по адресу. Что же побудило Стремоухова донести на Андроникова?

В "Голосе России", в последнем номере журнала (14 дек., № 25), под заглавием: "Германская лиса и российская ворона" помещена была статья, в которой под прозрачным термином "бюрократ" выводился Стремоухов. Цензура статьи не пропустила, и она канула бы в воду, как вдруг, вмешался Прото-

попов, — ему почему-то понадобилось насолить своему подчиненному, — отменил запрет, и статья появилась. Повествовалось в ней о том, как, в бытность свою сувалкским губернатором, Стремоухов стал жертвою близорукости своей и тщеславия. Император Вильгельм приглашал Стремоухова в замок Роминтен, угощал его и ласкал, а в это время приближенные императора, прикрываясь Стремоуховым, как ширмою, преспокойно занимались шпионством. Обо всем этом писал я раньше в “Прямом Пути”.

Затем, в доказательство того, что императрица ненормальна, по городу ходили рассказы, в которых правда чередовалась с наглым вымыслом. В интимном кругу устраивала она спиритические сеансы, на которые приглашением удостоивался Протопопов. На одном вечере явилось видение, и никто иной, как сам Господь наш Иисус Христос. Протопопов был так поражен, что чуть не выронил чашки чая, которую держал в руках. Вызывали дух новопреставленного раба Божия Григория и ставили ему вопросы. В числе лиц, наделавших ему зла, указал он будто бы на Андроникова.

В сообщении о высылке выбрать место ссылки предоставлено было Андроникову. Он выбрал Рязань, город, по соображениям его, подходящий и от Москвы недалекий.

Поезд, который должен был увезти Андроникова, отходил в девять вечера. В последний раз мы, обычные гости Андроникова, — Драгомирецкий, Можаровский, Наталья Илларионовна Червинская, два, три офицера и я, — собрались у него обедать. Были и приезжие, проживавшие у Андроникова, — Феличкин — полицмейстер Риги, Толузаков, павлоградец, военный корреспондент “Нового Времени” еще в эпоху войны с Япониею.

Андроников бодрился и старался казаться веселым. Протопопов обещал ему положительно, — он умилюстит императрицу и вернет Андроникова в Петроград. “Голос России”, — Андроников настаивал, — будет выходить по-прежнему и в его отсутствие. Но я сознавал — все это одни благие намерения, и журнальная моя деятельность опять потерпела крушение. Высылка Андроникова глубоко меня возмутила. Я дал ему слово приехать в Рязань его навестить.

Драгомирецкий и Можаровский поехали на вокзал прово-

дить Андроникова, а прочие обедавшие поговорили немного и разошлись. Когда дверь за Андрониковым захлопнулась, наступила минута оцепенения. Кругом обстановка была та же, но того, кто составлял ее душу, князя Михаила Михайловича, всеобщего заступника и покровителя, уже не было. Об Андроникове мы сожалели и негодовали на правительство, подвергнувшее каре человека, решительно ни в чем не виноватого и безусловно ему преданного. Но каким образом Андроников, этот великий искусник, на этот раз так оплошал и довел себя до высылки? Всем он был нужен, и падение его затрагивало каждого в существенных интересах. Под влиянием этой мысли зародилось и прозвучало, сначала несмелое, а потом определенное и резкое, суровое слово осуждения. И более всех ругала и поносила Андроникова приятельница его и союзница, Наталья Илларионовна Червинская, несколько мгновений перед тем напутствовавшая его и благословлявшая.

Прощаясь со мною, Андроников просил меня в защиту его написать письмо Е. А. Нарышкиной. Быть может, найдет она возможность вступить за него и его выручить. После отъезда засел я, написал и отправил Елизавете Алексеевне красноречивое послание, в котором доказывал, — в убийстве Распутина Андроников не принимал участия, высылка его поэтому неосновательна и несправедлива, а сам он жертва пустых наговоров. Какое действие произвело мое письмо? Полагаю никакого.

“Голос России” перестал выходить, как я и предвидел. Драгомирецкий уверял, — очередной номер в печати и появится непременно, но ввиду моих приставаний, бросил лукавить и признался: — Андроников не оставил денег. Тогда я покинул Петроград, некоторое время жил у сестры в Новоборисове, потом в Москве, а оттуда, в последних числах января, согласно обещанию, поехал в Рязань навестить Андроникова, и провел у него целые сутки.

Опустошительное действие войны, длившейся скоро три года, сказывалось на каждом шагу. Жизнь в России, я разумею жизнь городская, до войны полная чаша, перестала быть привлекательной и привольной. В гостиницах было тесно и неудобно, в ресторанах кормили плохо, цены в лавках росли, путешествовать стало мукою. Поезда стояли и запаздывали. В вагонах,

битком набитых пассажирами, негде было сесть. От Москвы до Рязани недалеко. Тем не менее, выехав рано утром, ехал я целый день и прибыл поздно вечером.

В Рязани, выйдя из вагона, попал я в толпу призывных, наводнивших платформу. Найти носильщика, при общей давке, нечего было и думать. Солдаты затолкали меня мешками и манерками. Насилу протиснулся я, еле живой добрел до извозчика.

Мороз на дворе был жестокий. Подняв воротник шубы, прикрыв я им лицо и ехал, по сторонам не глядя. Да и смотреть собственно было не на что. Я въезжал в обыкновенный губернский город, с улицами прямыми и широкими, домами, большею частью, одноэтажными и над ними стрелою ввысь устремившимися церквями и колокольнями. Гостиница Штерн, в которой остановился Андроников, лучшая в городе, представляла провинциальный заезжий дом, с мебелью старинного фасона и без всяких удобств.

Приняли меня в гостинице с почетом. — Князя нет. Они уехали на вокзал вас встречать. Номер для вас заказан. Пожалуйста, — объявили мне и повели в номер.

Я чувствовал себя прескверно. Начинался приступ склероза и меня всего трясло. Наконец, появился Андроников, на вокзале в страшной давке меня не нашедший. Я просил отпустить меня лечь в постель. Но он не согласился и потащил меня обедать к знакомому, который жил по соседству, наискось от гостиницы. Когда мы вернулись домой, напился я чаю с коньяком. Бывший тут доктор дал мне две облатки аспирина. Я выспался и на другой день встал совсем здоровый.

Подробно рассказал мне Андроников все, что произошло с тех пор, как мы с ним расстались: какие предпринимал он шаги с целью получить разрешение вернуться в Петроград и, что всего важнее, Протопопов командировал к нему в Рязань доверенное лицо. Посланец этот, — Андроников почему-то думал, незаконный сын Протопопова, — держал себя весьма таинственно. Явившись с поезда, не объявил он, кто он, исполнил поручение и уехал на станцию. Андроникову вручил он от Протопопова тысячу рублей заимообразно и сообщил: Протопопов за него хлопочет и вскоре в участи его последует облегчение. Ему будет

дозволено ездить в Москву, оставаться там и, как венец всего, возвратиться в Петроград.

А "Голос России" перестал выходить? А я-то вам поверил, — упрекнул я Андроникова.

По обыкновению сослался он на Драгомирецкого: — виноват де Василий Степанович. — Но я уже расхотелся и продолжал:

— Всех денег пожертвовано было на издание шестьдесят тысяч. Истрачено было семь. Где же остальные? Они пошли на обеды и оргии. Прав был Облеухов, не захотев связывать имени своего с вашим изданием. Врагов у вас видимо невидимо, между тем, поведением вашим даете вы повод к нареканиям. На глазах у всех содержите вы ватагу распутных юношей. Один из этих героев оказался просто разбойником, совершил налет на банкира Животовского и был арестован, выходя из вашей квартиры.

— Это моя частная жизнь, — ослабшим голосом оправдывался Андроников.

— Частная жизнь. Но тогда не выступайте общественным деятелем, не водитесь с государственными людьми, не издавайте журнал и не поучайте других патриотизму и нравственности.

Нападения мои выслушивал Андроников с такою покорностью, что совсем меня обезоружил и мне стало его жаль. Ведь приехал я в Рязань не с тем, чтобы бранить его и укорять, а наоборот, его утешить. После того приступили мы к составлению письма императрице Александре Федоровне на французском языке. Сидя за столом, водил он пером, а я, гуляя по комнате, придумывал трогательные выражения и звонкие фразы.

Андроников в Петрограде, в сознании близости к власти, окруженный клиентами и просителями, по особому проводу беседующий с министрами, и Андроников административно-ссылный, все тот же был Андроников, отзывчивый, приветливый, готовый к услугам. — Знаете ли вы доктора Липшюца, зубной врач из Варшавы? Он едет сегодня в Москву. Я устрою вас с ним в отдельном купе. — Зачем нужен был Андроникову Липшюц, старый еврей, горемыка? Единственно по той причине — помогать ближнему лежало в природе Андроникова и отве-

чало душевной его потребности.

На бедного Макара валились шишки, в Государственной Думе громили его ораторы, правительство от него отсеклось и выслало его из столицы. И что же? Самое это гонение поднимало его престиж. В рязанском захолустье, как в Петрограде на Фонтанке, служил он центром всеобщего внимания. В правительственных учреждениях, в канцеляриях, на почте и железной дороге чиновники угождали ему наперебой. Они были твердо уверены, — опала его временная и он опять войдет в силу.

Относительно Андроникова не питал я никаких иллюзий. Связался я с ним не потому, что не знал его грехов, а чтобы впоследствии не упрекать себя — была возможность совершить полезное и этою возможностью я пренебрег. Помогал мне Андроников ревностно и от всего сердца. Ничего у нас не вышло, потому что задача, которую мы себе ставили, была нам не по силам. Довольно было и того, что в самый критический момент, по распоряжению душевно-больной Александры Федоровны, Андроников очутился в Рязани, а я лишился журнала и вынужден был положить перо.

Нравы Андроникова? Но в последние годы царского строя таких Андрониковых и притом на самых верхах общества было сколько угодно. В "Воспоминаниях" своих много распространяется Витте о князе Мещерском и духовных молодых его людях, Колышко, Засядко, Бурдукове и других. Почему только умалчивает он о дипломатах, графе В. Н. Ламсдорфе, князе В. С. Оболенском, П. Л. Вакеле и С-м? Они занимали официальное положение и были представителями России. А сам он, с его тайным недугом и грязною Матильдою, клевет заграничных банкиров, искуситель людской совести? Витте проповедник нравственности. Кому бы говорить, а не ему.

Насладившись жизнью, господа эти скончались вовремя и не стали жертвою народного гнева. К Андроникову революция была беспощадна. Она вторглась к нему в дом, овладела его перепискою, тайны ее вынесла на улицу, томила его в крепости, освободила его, потом опять схватила и, натешившись над ним, расстреляла.

Познакомившись с Андрониковым ближе, нашел я в нем добрые качества, которые с ним примиряли. Страшась потерять

последнее нравственное равновесие, цеплялся он за меня, а я, в свою очередь, испытывал к нему словно чувство нянюшки к больному ребенку.

При прощании надавал мне Андроников поручений. Тотчас по прибытии в Москву, должен был я с рязанского вокзала переехать на Николаевский и опустить в почтовый ящик пакеты Драгомирецкому и Балашову для Протопопова. Затем, просил он меня вызвать к себе в номер по телефону архимандрита Августина, агента епископа Варнавы, по тогдашнему тоже темная сила, и с ним переговорить и узнать — не едет ли Варнава в Петроград? И, наконец, по приезде в Петроград, посетить купца фабриканта, заведовавшего лазаретом А. А. Вырубовой. Коренной москвич, купец этот в Петрограде жил на Шпалерной, в квартире, которую для специальных целей содержал Департамент Полиции. Застать его можно было только в десять часов вечера. Мать этого купца, восьмидесятилетняя старуха, почитательницей была Распутина и, бывая в Москве, Распутин у нее всегда останавливался.

Поезд, который должен был отойти в одиннадцать часов ночи, вышел только в пять утра. Напрасно упрашивал я Андроникова ехать домой и лечь спать. Ночь провели мы на вокзале, переполненном пассажирами и набитом тюками. Обычная картина военного времени. Действительно, он достал купе и, благодаря ему, Липшюц и я ехали, как нельзя удобнее и выспались превосходно.

Расстались мы с Андрониковым весьма нежно. — Бог даст, увидимся в Петрограде и опять будем работать. — Прощайте, князь Михайло Михайлович. — Но мы стояли у рокового предела и до свидания означало навеки.

ГЛАВА XXII

Беседа с Архимандритом Августином. В Петрограде накануне падения царской власти. Предсмертные слова Гамлета.

Поручения Андроникова исполнил я в точности: пакеты его опустил в ящик на вокзале, а затем поехал в гостиницу. Не успел я позвонить по телефону, явился ко мне архимандрит Августин,

маленький юркий монашек. На вопрос, едет ли Варнава из Омска в Петроград, ничего не мог сказать он положительного. Варнава собирався ехать, но поедет ли и когда, он не знал. Вероятно, не знал и Варнава.

Андроникову, находившемуся с Варнавою в близких отношениях, естественно, было важно, чтобы Варнава приехал в Петроград и за него заступился. Видимо, того же хотел и Августин. Другое дело Государь император. Вызывать Варнаву из Сибири, в лице его повторять Распутина, стало быть, еще более раздражать общественное мнение, едва ли входило в его виды.

По тону, которым Августин говорил о Высочайших Особах, вывел я заключение: честолюбивый монах не прочь был бы и сам пробраться ко Двору и занять положение Распутина и Варнавы.

После того покинул я Москву, недели две провел у сестры в Новоборисове и в последних числах февраля возвратился в Петроград, домой к себе на Кирочную.

Поезд, который должен был прийти в десять часов утра, прибыл около четырех пополудни. Ни мне, ни другим пассажирам не приходило в голову, какие грозные события ожидают нас в Петрограде. Первое, что мы слышали на вокзале: в городе беспорядки, войска стреляли в народ, извозчиков нет и трамваи не ходят. — Войска стреляли в народ? — переспросил я у носильщика. — Разве рабочие не видят, они безоружны, а у солдат ружья? — А у тех, небось, ружей нет? И те вооружены! — резко и вызывающе воскликнул носильщик. Тут я понял, — дело серьезное. Неприятель стоит на русской земле, а у нас междоусобица, война гражданская, — подумал я с сокрушением.

Сдав на хранение чемодан, пошел я пешком. На Загородном проспекте по обеим сторонам тянулись толпы народа, по большей части интеллигенция и учащаяся молодежь. На перекрестках стояли жандармы и преграждали подходы к Невскому. Я объяснил им, что я приехал с поездом, живу на Кирочной улице и иду домой. Они меня пропустили.

На углу Разъезжей помещался ресторан "Слон". Почувствовав голод и устав порядком, я попробовал туда зайти. — Провизия вся вышла и ресторан закрывается. — Получив такой

безжалостный ответ, поплелся я по Владимирской, повернул на Невский и вошел к Филиппову. Ресторан закрывался и был пуст. Тем не менее, согласились дать мне пообедать.

Было около шести часов вечера и начинало темнеть. Невский Проспект совсем обезлюдел. Ни людей, ни экипажей. В прозрачном сумраке вдаль виднелись силуэты конных жандармов. — Переходите скорее улицу, а не то вас не пустят, предупредил меня полицейский. Поспешно перебрался я на другую сторону.

Боковые улицы кишели народом. Осторожно и медленно продвигались сквозь толпу казачьи патрули, заставляя ее расступаться. Здание старого строя, как ни подточено оно было, еще держалось. Войска повиновались и стреляли. Жандармы и городовые стояли на постах. Роковая минута приближалась. До падения исторической царской власти оставалась одна ночь, последняя ночь.

Свидетель катастрофы невольный и безучастный, описывать ее не считаю себя призванным. Народился порядок вещей чуждый мне и враждебный. Выброшенный за борт, если я и продолжаю существовать, единственно потому, что меня не заметили и не придавили.

Прежние министры, Витте, Столыпин, Штюрмер и другие, хотя в смысле творчества люди безнадежные и обреченные, но идеал у них и у меня был тот же: благо России. Во имя этого идеала упрямо тешил я себя надеждою, слово мое, как-нибудь, коснется их слуха. Пришедшие им на смену, Толстозадовы и Желтопузовы, те видели во мне врага и желали лишь одного: чтобы меня не было вовсе. Чувства и верования у них были иные, особый язык и мышление, и радость их была моя печаль.

Не глядеть на то, что происходит и потонуть в неизвестности, — вот к чему сводились заветные мои помыслы. Оказалось это тем легче, что в последние годы, не давая мне высказываться, и свои и чужие игнорировали меня и замалчивали. — Вас знает вся Россия, — сказал мне в виде комплимента С. П. Белецкий. Я широко раскрыл глаза: смеется он или говорит серьезно? Откуда мне было приобрести известность? Статей я или не подписывал, как в "Голосе России", или писал в мало читаемых черносотенных изданиях. Насколько меня мало знали,

показывает следующий случай. Чрезвычайная Следственная Комиссия была заинтригована, зачем я ездил в Рязань к Андроникову. Спрошенный, кто такой Карцов, Драгомирецкий дал объяснение: Карцов доказывал: необходимо взять Босфор и писал об этом в разных газетах и в "Голосе России". Ответом этим Комиссия удовлетворилась и меня не беспокоила.

Придет время, на пространстве бывшей России царской и православной возникнет новая культура и заживут люди мирно и счастливо. Но эта обновленная неведомая Россия, при всем ее благополучии, не моя Россия. Та Россия, которой я служил и о благе которой скорбел душою, Святая Русь. Большевизм пронесся по ней губительным вихрем, опустошил ее и выжег, и она не воскреснет. Я храню ее в моем сердце и унесу с собою в могилу.

Повествование мое Господь сподобил меня довести до конца, и я ставлю точку. The rest is silence, — остальное молчание, предсмертные слова Гамлета. Смерть явление простое и несложное.

Ю. С. Карцов

МЕМОУАРЫ ДВАДЦАТИЛЕТНЕГО МУЗЫКАНТА

Встречи с Тухачевским

Я чувствовал, что пора прекратить свою цыганскую жизнь. А в своих путешествиях я забирался даже на Дальний Восток. Более восьми суток надо было добираться из Москвы во Владивосток. Не могу сказать, чтоб от такого нудного путешествия я испытывал большое удовольствие. Что можно было увидеть из окна? Время убивалось по-разному. Научили меня играть в карты. Так я познал секреты игры в очко. Иногда выигрывал, чаще проигрывал. От скуки пассажиры напивались до полного помешательства. Но у меня был твердый характер и никто не смог меня убедить в необходимости пить водку. Помню, в поезде один напившийся вояка с солидными знаками комсостава требовал, чтобы я с ним выпил за советскую власть. Единственно, что я мог ему возразить, что "я не член партии, поэтому пить для меня не обязательно". Он посмотрел на меня окосевшими глазами и назвал "контрой". Даже произнес какие-то угрозы. Но кто-то сумел его увести от меня. С тяжелым предчувствием приближался я к Владивостоку. Как говорили мои коллеги артисты: "уже запахло Владивостоком". А запах в вагонах был отвратительный. Смесь водки с немытыми телами. А где же можно было помыться? Кое-как я умудрялся держать себя в чистоте. Несколько раз в день запирался в туалетной комнате и отмывался по возможности. Правда, мне постоянно стучали в дверь, возмущаясь моим роскошным занятием.

Наконец мы прибыли во Владивосток. Нас встретил пред-

ставитель местного Дома Красной армии и флота. Значительная часть концертов была предназначена для военнослужащих. Зашли в гостиницу. Кажется, она называлась "Золотой рог". Прежде всего нам дали возможность хорошенько отмыться. Потом пригласили в армейскую столовую подкрепиться. Во время пути мы изрядно проголодались. Первый концерт состоялся в помещении местного театра. Прошел с большим успехом. Хотя и опасались, что я буду играть классику, все же убедились, что ее вполне можно слушать. О культурном уровне организаторов концертов ходили анекдоты. Так один "организатор", или проще, администратор, послал в Москву телеграмму с возмущением по поводу того, что обещали прислать целый квартет, а приехали только четыре музыканта. Один пианист вздумал сыграть "Турецкий марш" Бетховена из музыки к драме "Афинские развалины", созданной Коцебу. Руководители политмассовой работы в Красной армии решили проявить бдительность и заменили Бетховена Моцартом. При этом один из культармейцев с возмущением говорил: "Этот пианистик вздумал нас обмануть и проверить наш культурный уровень. Но не выйдет! Все мы хорошо знаем, что "Турецкий марш" мог сочинить только Моцарт". Так и печатали в программах — "Турецкий марш" Моцарта. Потом пианист говорил, что трудно разобрать, кому принадлежат композиции исполняемого им репертуара, ибо рояли и пианино безжалостно расстроены и создают какофонию. Еще рассказывали, что один пианист прибыл на концерт во Владивосток в самый последний момент прямо с поезла. Едва успел переодеться, а чтобы чем-то занять заждавшуюся публику, выпустили на сцену артиста местного театра, который читал рассказы Зоценко и басни Крылова. Посреди сцены стоял хорошо отполированный рояль. Пианист вбежал на сцену, встреченный бурей аплодисментов. Он приготовился к первому аккорду, но ударив по клавишам не услышал ни одного звука. И как ни пытался пианист извлечь из рояля хотя бы один тон, ничего не получалось. Оказалось, что накануне был настройщик и вынул из рояля "всю механику". Будучи в пьяном виде, он позабыл ее водворить на место. Концерт перенесли на другой день.

Бывали замечательные опечатки в программе. Так, написали

“Сальтомортальный вальс Чайковского, вместо “Сентиментальный”. Или еще написали “Куплеты в трико” вместо “Куплеты Трике” из оперы “Евгений Онегин”. Певец шутил, что лучше уж было бы — “Куплеты без трико”. И все эти опечатки не вызвали никаких возражений у работников цензуры и местного реперткома. Раз произведение не стоит в списке запрещенных, то можно пустить и куплеты без трико.

В составе нашей группы певец, певица, опереточная пара, балерина, чтец и акробатка. Музыкальное сопровождение в руках пианиста, он же играл на баяне. Вернее, был хорошим баянистом, но на рояле играл посредственно. И я обходился без него. Не играть же в сопровождении баяна! Хорошо, что у меня был обширный репертуар для скрипки соло.

В начале 30-х гг. Владивосток еще хранил лицо культурного города. Здесь был заметный слой интеллигенции. После революции 17-го года сюда хлынули беженцы из Петрограда и Москвы. Здесь еще сохранялся “старый режим”. Но беженцы эти через Японию или Китай отправлялись потом в Америку. Многие осели в Китае. Трудолюбивые китайцы обеспечивали население Владивостока разнообразным продовольствием. Особенно овощами и фруктами. Но потом их убрали из города “в неизвестном направлении”, и богатый рынок опустел.

После одного из концертов мне сообщили, что на Дальнем Востоке находится известный московский композитор. Фамилию точно не помнили, говорили, что она какая-то чухонская. Один из политруков припомнил фамилию: что-то вроде Клистир или Скипер. Но композитора с таким именем я не знал. Вскоре этот композитор нашел меня сам. Это оказался Лев Константинович Книшпер. Он был действительно знаменитым. В 1926 г. сочинил балет “Кандид” по Вольтеру. Его собирались ставить на сцене. Говорят, что музыка была отличная. В 1930 г. с большим успехом в Москве поставили оперу Книшпера “Северный ветер”. Показали в музыкальном театре имени Немировича-Данченко. Сам Немирович руководил постановкой. Еще в качестве режиссера был знаменитый Л. В. Баратов. В спектакле участвовали известные певцы Кемарская, Канделаки, Камерницкий и др. Роль Стопкина была поручена Сергею Васильевичу Образцову, ставшему впоследствии руководителем известного

кукольного театра. Когда Образцов уволился из музыкального театра им. Немировича-Данченко, артисты говорили, что теперь нам будет трудно без незаменимого Стопкина, нет стимула для творческого вдохновения. Либретто оперы создал сам композитор по пьесе Киришона "Город ветров". Эту пьесу я не знаю и мне трудно судить, зачем понадобился в опере персонаж под именем Нашатырь. Роль эту исполнял артист Н. К. Елин. Понятно, что если есть Стопкин, то необходим и Нашатырь. Словом, настоящий советский сюжет. Но опера "Северный ветер" имела политическое звучание. Правда, в ней была и довольно талантливая музыка, она спасала положение. Опера имела большой успех. В том же 1930 г. ее поставили в Свердловске, а в следующем году в Киеве (одну из ролей пел знаменитый бас Михаил Иванович Донец), в Баку, в Нижнем Новгороде, в Самаре, в 1932-м — в Одессе. Такому успеху советской оперы можно было позавидовать. После этого Лев Книппер должен был бы почить на лаврах и жить припеваючи. Но он был учеником Жилиева и через него был в приятельских отношениях с Тухачевским. Книппер мне рассказывал о своих беседах с Тухачевским. В одной из таких бесед Тухачевский высказал желание направить Книппера на Дальний Восток, чтобы достойно воспеть подвиги Красной армии. Так и попал в 1932 году Книппер на должность инструктора по массовой работе в частях Особой Дальневосточной армии. Попад в армию, он продолжал свою композиторскую службу. Правда, не на таком уровне, как профессор А. В. Александров. Но все же с мая 1942 г. Книппер был назначен на должность руководителя музыкальной самодеятельности в расквартированных в Иране частях Советской армии. И шах Ирана лично наградил его Орденом науки I-й степени — один из значительных знаков отличия в Иране.

В то время много говорили о Книппере, но никто не мог назвать хотя бы одну его массовую песню. Впрочем, на Дальнем Востоке он такую песню создал. Это — "Полюшко-поле" на слова В. Гусева. Сперва эта песня была в его 4-й симфонии в качестве хорового эпизода, а потом обрела самостоятельную жизнь. Успех ее был феноменальный. Она обошла весь мир.

Но во время моего свидания с Книппером во Владивостоке, он еще не был автором этой популярной песни. Мы быстро

нашли общий язык и наши беседы длились ночь напролет. Так я узнал, что его родная сестра знаменитая артистка кино Ольга Чехова, которая жила тогда в Берлине, была замужем за знаменитым актером Михаилом Чеховым. Сам Лева Книппер с ней не переписывался. Даже, вроде, скрывал такое родство. Но Ольга Чехова постоянно переписывалась со своей теткой Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой и Лева был в курсе ее успехов. Позднее, когда я познакомился с Ольгой Чеховой в Мюнхене, мы много беседовали о ее брате Левушке и она, смеясь, подчеркивала, что Ольга Леонардовна в своих письмах постоянно приписывала слова: "Левушка тебе низко кланяется и восхищается твоими успехами".

Нам было о чем поговорить. Прежде всего, Книппер разделял мое восхищение Жилиевым. Много говорили о Тухачевском. А еще Лева (так он просил меня его называть, несмотря на разницу в возрасте почти в 20 лет) при мне писал письмо Тухачевскому и приписал: "Здесь встретил молодого и ужасно талантливого скрипача Мишу Гольдштейна. Дает концерты и восхищает своей виртуозностью". Позднее пришло ответное письмо с приветом от Тухачевского ему и мне.

Лева сочинил небольшую пьесу для скрипки соло и я тут же ее разучил. Пьеса была незамысловатая, в народном духе, что-то вроде вариаций на песенную тему. Пьеса имела успех. К сожалению, ноты были лишь в одном экземпляре и исчезли после вторжения немцев в Одессу в 1941 г. Но я хорошо помню это произведение и вполне могу восстановить его по памяти. Во время моего последнего свидания с Левой Книппером в Москве в 1964 г. я говорил ему о своей готовности восстановить по памяти эти "Вариации", но Книппер не выразил интереса и обещал создать что-нибудь новое. Повидимому, его смутил популярный характер этих "Вариаций".

Вспоминая наши беседы с Книппером в 1932 г., я очень сожалел, что не мог их записать. Книппер был чудесным рассказчиком, а главное, много знал закулисных тайн советской жизни. Много рассказывал о Станиславском, о Немировиче-Данченко, о своей тетушке Книппер-Чеховой, о Ворошилове, Буденном, о писателях, артистах. Помнил Книппер и Троцкого. Однажды Книппер играл Троцкому свои произведения в его роскошной

квартире. Троцкий с видом знатока рассматривал рукописи этих сочинений и пытался делать какие-то замечания. По-видимому, он все же разбирался в музыке. Но говорил, что красноармейцам нужна доступная музыка, которая "звала бы в бой". Книппер учтиво заметил, что после взволнованных докладов Троцкого перед армейской массой, никакая музыка им не нужна. Это настоящая "героическая симфония". А под Покрасса с его маршем Буденного он не собирается сочинять музыку. Оказывается, Троцкий был поклонником музыки Скрябина и находил в ней важные эмоциональные интонации. Троцкий сказал Книпперу, что музыка Скрябина его многому научила. Много рассказывая о Троцком, Книппер, как бы спохватившись, потом просил меня забыть о нашей беседе. С чувством юмора вспоминал Книппер, что в 1921 г. Станиславский назначил его в Московский Художественный Театр на должность помощника режиссера. "Ну какой же я был помощник Станиславского или Немировича-Данченко? Только мешал им". Но Книппер присутствовал на репетициях, делал какие-то замечания. Надо же было поддерживать авторитет племянника Ольги Книппер-Чеховой.

Находясь на должности помощника режиссера Книппер — по его рассказам — был по горло занят разными поручениями. Надо было сходить к Дзержинскому и похлопотать за арестованных актеров, обвиненных в спекуляции. Надо было выручать из тюрьмы друзей Станиславского. К счастью, не надо было с Дзержинским согласовывать театральный репертуар. Помнил Книппер резкую отповедь Луначарскому, произнесенную Станиславским. Служба в должности помощника режиссера продолжалась у Книппера не очень долго, не более года. Потом он основательно взялся за изучение музыки. Надо было пополнять свои знания. Да еще родной дядя его Владимир Леонардович, известный оперный режиссер и певец (тенор), работавший в Большом театре, всячески укорял Леву в легкомыслии. Этот дядя был известен под фамилией Нардов. Свой псевдоним он образовал от отчества Леонардович. В Москве не совсем удобно было бравировать немецкой фамилией Книппер.

С Владимиром Леонардовичем Нардовым я был хорошо знаком благодаря Голованову. Помню, Нардов осуществил в Большом театре превосходную постановку оперы Римского-

Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии", Это гениальное произведение еще не получило широкого признания во всем мире, о чем можно только пожалеть. Больше знают небольшой симфонический отрывок из этой оперы под названием "Сеча при Керженце". Но когда я приходил на спектакли "Сказания о граде Китеже" в Большом, я испытывал самое настоящее праздничное чувство. Большей радости для меня не было. У Нардова оказался властный характер и он сумел воздействовать на легкомысленного племянника. Одна за другой следовали симфонии Лёвы Книппера. Он успел написать 20 симфоний. А это больше, чем Бетховен и Малер вместе взятые.

В дни моего пребывания во Владивостоке я почти ежедневно беседовал с Книппером. А пробыл я там дней 10. Мы давали концерты на военных кораблях. В кубрике было мало места для слушателей, поэтому я выходил со скрипкой на открытую палубу, по соседству с пушками, которые были готовы в любой момент дать залп. Матросы и командиры слушали концерты стоя. Исключительный восторг вызывало выступление акробатки. Фамилию забыл. Ее жанр назывался "Каучук". Она неимоверно сгибалась ноги и руки, словно они были без костей. Трудно было себе представить, что с человеческим телом можно проделывать подобные трюки. Ведущий программу смешил зрителей своей "хохмой" о том, что у этой акробатки был сердитый муж и он ее заставлял сгибаться в три погибели. Вот она и демонстрирует, к чему привела ее семейная жизнь.

Кормили нас на военных кораблях очень вкусно, не было основания жаловаться. Атмосфера общения с матросами была самая дружественная. Правда, акробатка их недолюбливала и часто говорила: "Вот и заставляют меня выпендриваться перед этими кобелями. А ведь они убийцы живых людей, да еще неповинных ни в чем. Дай им приказ и они будут стрелять, как стреляют глазами, когда видят мое полуголое тело и соблазнительные движения". Но, тем не менее, акробатка аккуратно выполняла эти соблазнительные движения, волнуя зрителей.

Из Владивостока мы прибыли в Хабаровск. От царского времени здесь сохранились добротные здания, но со времени революции их не ремонтировали и они почти разваливались. Нельзя сказать, чтобы здесь не строили новые здания. Но главным обра-

зом военные объекты и жилые дома для военнослужащих. Был здесь Дом Красной армии. Еще было старое театральное здание. На один из концертов прибыл легендарный Василий Блюхер. Он охотно сфотографировался с нами и был повод подписать эту фотографию словами "Блюхер с нами".

Много я слышал о городе Биробиджане. Теперь я имел возможность в нем побывать. Само название Биробиджан ничего общего с еврейским языком не имеет. Скорее здесь татарские или монгольские корни. Испокон веков текли в этих местах реки Бира и Биджан. А когда надо было дать название еврейской автономной области, придумали слово Биробиджан. Невольно вспоминается ОЗЕТ, Это — общество землеустройства евреев-трудящихся. Трудно сказать, какое здесь может быть землеустройство, когда речь идет о полосе вечной мерзлоты. Но пропаганда работала на полную мощь и некоторые наивные евреи в разных странах поверили, что в СССР "создают очаг еврейского государства". Так я увидел здесь свои глазами одурченных американских евреев, которые поспешили сюда со всеми своими накопленными "богатствами". У них были широкие планы и блистательные надежды. Им надоело жить в уютных квартирах в демократическом обществе. Они поверили советской пропаганде. Конечно, в Биробиджан текли американские деньги, но это не означает, что они оседали в Биробиджане. Строили здесь много. Главным образом воинские казармы и лагеря для заключенных. Строили и жилые дома. Надо же где-то разместить обманутых американцев. Но строили дома по особому принципу. Прежде всего не допускалось мысли о том, чтобы в жилом доме была уборная. Это считалось излишней роскошью. Надо было экономить награбленные деньги. Поэтому приходилось в морозные дни "оправляться" в деревянных сооружениях, да еще плохо прикрытых от посторонних взглядов. Особенно худо приходилось женщинам, они постоянно болели от простуды. И все же, ОЗЕТ действовал. Распускались слухи о золотых приисках, где золота так много, что его хоть лопатой загребай. Появилась в Биробиджане своя газета на идиш. Устроили театр. Но это была показуха, которая требовалась для пропаганды за пределами СССР. На самом деле ОЗЕТ был настоящим концентрационным лагерем. Здесь вынашивались планы концен-

трации евреев и эти планы заглядывали далеко в будущее. Конечно, автономной области придавали национальный характер. Впрочем, наличие автономной области еще не было гарантией для защиты евреев от произвола. Ведь в СССР практиковали высылку целых народностей в необитаемые места.

Наша группа выступила с концертом в Биробиджане. После концерта явились ко мне несколько американских евреев и со слезами на глазах рассказывали о своих злоключениях. Они мечтали снова вернуться в Америку. Но это было невозможно. Также они мне говорили, что мое место в Америке. Но всяческие советы были нереальны. Недовольных американских евреев быстро ликвидировали. Запомнился мне один странный американец. Он на ломаном русском языке рассказывал мне антисоветские анекдоты и предлагал с ним бежать за границу. Каким-то интуитивным чувством я понял, что имею дело с загадочной личностью. Особенно меня удивляло, что он беспрепятственно оказывался на концертах в закрытой зоне воинских частей. Я ему постоянно твердил, что мне очень хорошо в Москве и никуда я уезжать не думаю. Рассердившись на мое упорство, он неожиданно заговорил на чистом русском языке: "Так ты не веришь, что я американец?" Позже я узнал, что он специально обученный провокатор и диверсант. Он готовился к поездке в Америку, а пока проходил в Биробиджане соответствующую тренировку. Он носил прекрасный костюм, когда многие настоящие американцы уже успели обуть себя в валенки или унты и напялили на себя тулупы. Их заставляли строить город или добывать лес. Особенно запомнилось мне зловещее название АмурЗЕТ. То есть Омурское отделение ОЗЕТа. Там особенно свирепствовали советские палачи. Само слово АмурЗЕТ воспринималось как нечто зловещее. Мало радовало изобилие комаров и всякой несносной мошкары. Не было покоя ни днем, ни ночью. Но укусы мошкары не были столь безжалостны, как жестокость палачей. Тут все напоминало о том, что вместо землеустройства может получиться "землеустройство".

Помню я спросил одного политука, где здесь клозет? Он посмотрел на меня удивленными глазами и сразу же вынул из планшета географическую карту и стал что-то искать. А потом авторитетно сказал, что не знает такого населенного пункта. Вот

АмурЗЕТ он знает, а клозет не знает, где находится. Но посетив в каком-то общественном учреждении настоящую уборную с подлинной канализацией, я смог убедиться, что в Биробиджане было место для выражения своих наболевших чувств. Стены были испещрены множеством рифмованных записей. Более всего приличного содержания, без похабных слов. Помню такую:

Ох мы, ох мы, охмы,
Попались на советские хохмы.

Или еще:

Американец Сидней Скотт
Превратился в русский скот.

И еще:

Большевики хитрее
Любого еврея.

Жаль не было под рукой фотоаппарата, чтобы увековечить эту поэзию. Но я хорошо понимал, что это вопль отчаявшихся. Не знаю, как долго задерживались на стенах уборной эти вопли. Конечно, их старательно смывали, счищали. Запомнилось и еще одно предупреждение:

Кто поэзией своей испачкает клозет
Того отправим в АмурЗЕТ.

Коротко и ясно. АмурЗЕТ не сулил ничего хорошего.

Наконец настал день, когда я смог сесть в поезд, чтобы вернуться в Москву. В карманах было немало денег. Я не пил, не тратил деньги "на баб", не играл в карты. Даже сдерживал свои желания в приобретении каких-нибудь драгоценностей. Поэтому смог сберечь деньги.

Дорога была бесконечной. Унылой. Большую часть времени я проводил в постели. Но однажды была нарушена поездная скука. Ворвались в вагон поезда три налетчика с револьверами. Они хватили у пассажиров чемоданы и выбрасывали через окно на полном ходу поезда. Собрав основательную добычу, они на полном ходу поезда спрыгнули и исчезли в тайге. Кто-то остановил стоп-кран. Но искать в тайге ветер было бесполезно. К счастью, я оказался вне поля зрения налетчиков. Мою скрипку и чемодан с концертным костюмом и нотами никто не тронул. В вагон явились сотрудники уголовного розыска. Но они не смогли ничем утешить пострадавших. Ясно, что налетчики

чувствовали себя вне всякой опасности. Подобные ограбления они совершали не раз и были хорошо натренированы в этом деле. Особенно жаль было акробатку. Ее обобрали дочиста. Достались налетчикам и ее золотые украшения, которые она купила в ювелирных магазинах, и благодарственные грамоты командования различных воинских частей. Она обещала эти грамоты вместо обоев повесить в уборной своей квартиры. Бедная акробатка, не суждено было сбыться ее мечте.

Прибыли мы в Москву с опозданием на 48 часов. Это считалось вполне обычным явлением и никого не удивляло. Вот если бы вовремя прибыли, тогда можно бы было удивляться. Когда я сошел с поезда, я не мог твердо стоять на ногах, меня шатало из стороны в сторону. Меня никто не встречал и я самостоятельно добрался домой. Мать меня встретила не приветливыми словами и очень ругала, что я бросил учебу в консерватории. То и дело меня бранили за это. Особенно — Жилиев, которому я привез письмо и подарок от Левы Книппера. Но Книппера Жилиев ругал последними словами, даже сказал такой экспромт:

Письмо от Льва наводит скуку.

Из Льва он превратился в суку.

Я пытался защитить Леву и доказывал, что его послал на Дальний Восток сам Тухачевский. Говорил, что он там проводит полезную работу. Но Жилиев злобно говорил: "Знаю я эту полезную работу для пьяниц, ничего он там не исправит, никого не перевоспитает". Тут же Жилиев позвонил по телефону к Тухачевскому и по наигранной офицерской привычке шутливо заявил: "Ваше высокоблагородие, разрешите Жилиеву доложить, что Миша Гольдштейн уже появился в Москве и сейчас находится у меня на исповеди". Тухачевский выразил желание меня видеть в тот же день. Он, кажется, отправлялся в заграничную командировку или еще куда-нибудь. Пришлось подчиниться "приказу начальства" и вскоре меня Жилиев привез к Тухачевскому.

Более двух часов я отнял у него разными рассказами о своем путешествии на Дальний Восток. Конечно, я не мог полностью рассказать о своих приключениях и выразить к тому же свое неудовольствие. Но Тухачевский был тонким психологом и, помоему, улавливал мои мысли. Кое-что он записывал в блокнот.

А потом стал говорить, что в армии надо прививать культуру. "Техника идет вперед, а бойцы еще малограмотные, даже таблицу умножения не знают как полагается. Особенно командный состав нуждается в культурном воспитании". Тухачевский сказал, что в свое время офицеров обучали музыке. А в казачьих станицах существовали симфонические оркестры высокого качества. Перед старыми русскими офицерами можно было исполнять любое классическое произведение и они разбирались в музыке. А нынче разбираются в алкогольных напитках. Да и то пьют без разбора все, что попадется под руку. Даже одеколон. В иностранных армиях уже подумывают о моторизации войск, а у нас никак не могут слезть с кобылы. Музыка должна занять особое место в воспитании красноармейцев. Она должна отвлекать от грубых страстей. Сейчас мы большое значение придаем развитию красноармейской художественной самодеятельности. И в этой самодеятельности открываем немало талантов. Вот, к примеру, знаменитый наш певец Иван Семенович Козловский. Кто его талант открыл? Конечно, Красная армия. Я слежу за музыкальным воспитанием в армии. Оно нам очень нужно. Оно играет существенную роль. И Книппер правильно поступил, что отправился на Дальний Восток. Там он оставит по себе добрую память и это надо приветствовать".

Жиляев был иного мнения. Он считал, что Книппер — самоубийца своего таланта. Незачем ему было из Москвы уезжать. Здесь он мог бы принести больше пользы. Откровенно говоря, я чувствовал, что Жиляев абсолютно прав. Но Тухачевский оставался при своем мнении.

Тухачевский захотел меня послушать, но у меня не было с собой скрипки. Тогда он вынул скрипку Страдивариуса и подал мне. Он поинтересовался, что я играл в концертах. Я перечислил несколько произведений, сказав, что главным образом играл произведения для скрипки соло, ибо рояли были в ужасном состоянии. Тухачевский задумался и затем сказал, что отдаст приказ отправить на Дальний Восток пианино и рояли в хорошем состоянии, да еще пошлет туда настройщиков. Жиляев рассмеялся, и заметил, что их в Москве-то теперь очень мало. Уж лучше их не отправлять из Москвы. Я не мог умолчать, что играл специально для меня написанные "Вариации" Книппера

для скрипки соло. И тут же их сыграл. Тухачевскому они понравились, а Жиляев их отругал, назвав "кислыми щами". Почему именно такое определение дал Жиляев, сказать трудно. Но мне кажется, что и сам Книппер не очень был доволен этой стряпней и поэтому без интереса отнесся к моему предложению восстановить утерянные ноты. Видимо, он умел критически разбираться в своих произведениях.

По просьбе Тухачевского я сыграл несколько произведений Баха для скрипки соло. Конечно, были восторженные отзывы по поводу гениальности Баха, что само собой разумеется. Так незаметно подкралась полночь. Пора на покой. Было дано распоряжение отвезти меня на автомашине домой. Тухачевский обещал мне как-нибудь показать скрипку, которую он сделал своими собственными руками. Я уже слышал от известного московского скрипичного мастера Тимофея Филипповича Подгорного, что Тухачевский делает хорошие скрипки. Вероятно у Подгорного Тухачевский обучился секретам изготовления скрипок. А был Подгорный удивительным мастером. Еще в 1906 г. за свою скрипку "Мадонна" он получил золотую медаль на международной выставке в Антверпене. Его "Мадонна" наделала немало шума в Антверпене, о ней с восторгом отзывались многие знаменитые скрипачи. И случилось невероятное, Подгорный был избран почетным гражданином Антверпена. А когда началась первая мировая война, Подгорного призвали в армию и вскоре он попал в плен. Лишь в 1919 г. Подгорному удалось получить освобождение и он вернулся в Москву, где жил его сын Василий, известный русский виолончелист. В 1917 г., под влиянием революционного угара, в Москве возник струнный квартет имени Ленина. Да, именно так и назывался квартет. Странно, но факт. В состав квартета вошли скрипачи Л. Цейтлин и И. Каревич, партию альты исполнял композитор Лев Пульвер, а на виолончели играл Василий Подгорный. Участие в квартете было для музыкантов разновидностью охранной грамоты. Их имущество не подвергалось конфискации. Да еще сам Ленин слушал квартет своего имени. Официально утвердили имя Ленина этому квартету в 1918 г. Состав квартета немного менялся. Вторую скрипку стал играть К. Г. Мострас, у которого тогда учился будущий знаменитый американский скрипичный

педагог Иван Галамян. На альте стал играть немец Фердинанд Криш, который впоследствии прославился как дирижер легкой эстрадной музыки. Его оркестр исполнял самые модные фокстроты и танго. В 1919 г. Василий Подгорный скончался после тяжелой болезни. Его заменил молодой солист Большого театра, 16-летний Гриша Пятигорский, впоследствии величаемый Григорий Павлович. Возвращение Тимофея Подгорного в Москву было очень кстати. Обычно в эти годы больше удирали из Москвы за границу. А тут вернулся знаменитый скрипичный мастер. И еще сын прославился участием в квартете имени Ленина! Помню рассказывал мне Тимофей Подгорный, что в Германии ему жилось хорошо, его ценили высоко. Но его потянуло на родину, к семье. Было бы это после 2-й мировой войны, не миновать бы ему сталинской "десятки" для изменников родины.

После возвращения возродилась дружба Подгорного с Тухачевским. Помню, рассказывал мне Подгорный, что в немецком плену он организовал оркестр русских военнопленных и сам сделал для них инструменты. После возвращения из плена Подгорный открыл в Москве свою мастерскую. Правда, это уже было государственное учреждение — "Опытно-показательная мастерская Государственного Института Музыкальных Наук". Появились у него ученики. Могу без преувеличения сказать, что созданные Подгорным музыкальные инструменты были исключительно хороши, отличались певучим звуком. Это приходится напомнить, ибо начинают подзабывать Подгорного.

Во время следующего визита к Тухачевскому, который состоялся спустя короткое время, я встретил у него Тимофея Подгорного. Повидимому, в тот день Тухачевский располагал свободным временем и была возможность о многом поговорить. Пока Тухачевский беседовал с Подгорным, я с повышенным интересом разглядывал книжные полки. Меня поразило обилие антисоветской литературы. Тухачевский заметил мой интерес к книгам и даже стал о них рассказывать. Чего только не было здесь! Книги о Распутине, о вандализме большевиков, воспоминания белогвардейцев, интимные дневники и т. п. Встретилась мне целая плеяда писателей — Мережковский,

Тэффи, Цветаева, Бунин, Саша Черный, Аверченко. Всего не упомнишь. Почему-то задержалось внимание на фамилии Гуль. Помню называлась книга "Ледяной поход". Просить книгу для прочтения было не очень удобно. Об этом меня уже успел предупредить сам Жилиев. Помню, Жилиев откровенно сказал, что даже "Повести Белкина" или "Капитанскую дочку" Тухачевский не даст. Правда, в 1935 г. в квартире одного советского комдива (что-то вроде генерала), что означает командир дивизии, я встретил книгу Романа Гуля "Ледяной поход". Сын этого комдива немного увлекался игрой на скрипке и я давал ему уроки. Комдив разрешил мне взять книгу домой и я ее с большим интересом прочитал. Помню, она произвела на меня волнующее впечатление. На фоне советской военной литературы, которую нам, тогда молодым людям, насильно подсовывали, здесь была истинная правда, которая заставляла поглубже вникнуть в трагические события русской истории. Вообще советская историографическая литература отличалась явной фальсификацией событий. Об этом не раз мне напоминал Жилиев. А он хорошо знал правду. И когда в руках книга, где документально излагается то, что было на самом деле, нельзя не читать без повышенной заинтересованности. Помню, комдив мне сказал, что этой книгой зачитывался Тухачевский и многие члены советского правительства. Впрочем, у этого же комдива оказалась книга Романа Гуля "Тухачевский, красный маршал". Комдив уверял меня, что Тухачевский высоко ценил эту книгу, изданную еще в 1932 г. в Берлине. Тухачевский удивлялся, что за границей так хорошо знают о его жизни, а в Москве имеют о ней смутное представление. Не всегда я умел держать язык за зубами и как-то проговорился в 1935 г. Тухачевскому, что я знаком с содержанием книг Романа Гуля. "А как ты узнаешь содержание книги, по обложке что ли?" Но я вынужден был признаться, что мне предоставилась возможность встретить эти книги в одном доме. "У кого?" Дать ответ я побоялся. А потом сделал вид, что пошутил и вовсе никогда не читал эти книги. Но Тухачевский кое-что мне стал рассказывать о содержании книг, особенно касающейся его персоны. Тут же он добавил, что "у нас такие книги не допустят к изданию, а это очень жаль, пусть знают, что обо мне думают за границей".

В то время я не мог предполагать, что когда я состарюсь почти на полвека в моих руках окажется собственноручно написанное письмо от Романа Гуля. Поистине время не подвластно ему. Но не буду забегать вперед. Вернусь к давно прошедшему времени. Вернусь в квартиру Тухачевского, куда я был приглашен, чтобы испробовать скрипку, которую он сам смастерил. Словно эксперт я рассматриваю ее внешний облик. Мы привыкли не только извлекать звуки из скрипки, но нас интересует и красота ее корпуса. Начну с завитка. Его еще называют головкой. Немцы сравнивают ее с улиткой и дают ей название "шнеке". По характеру завитка узнают "почерк" мастера. У иных мастеров головка удивительно изящна. Не случайно головка старинных скрипок бережно сохраняется. Другое дело шейка. Старинные скрипки имели укороченную шейку и ее заменяли удлиненной. Делали такую операцию безжалостно. Отделяли головку от шейки острым ножом. Также разъединяли шейку от корпуса скрипки. Затем старательно пристраивали удлиненную шейку. А старая исчезала в неизвестном направлении. На качестве звука это, вроде, не отражается. Конечно проще было бы изготовить новую головку вместе с новой шейкой, чтобы это было одно целое. Но такое кощунство себе не могут позволить мастера. Головка должна быть оригинальной. А ведь от долголетнего (сто- и двухсотлетнего) верчения колков отверстия расширяются, а иногда появляются трещины. Заменить бы головку! Нет, это невозможно. Старательно реставрируются отверстия. Их укрепляют чужим деревом и втулки снова гарантируют прочность настройки. Иные мошенники старательно делают надрезы между головкой и шейкой. Но, иногда забывают, что линии на дереве не должны совпадать. Тут и разоблачают подделку. Тухачевский мне старательно все это объяснил. Кое-что я уже знал и умел разбираться в качестве скрипок. Но Тухачевский столь образно все это преподносил, что я слушал с захватывающим интересом.

Корпус скрипки имеет, вроде бы, традиционные формы. Но опытный глаз быстро определяет характер модели, или, как говорят, патрон. Почему вдруг это военное выражение используют вместо слова модель, сказать трудно. Но когда военный Тухачевский говорил о патроне, невольно появлялись разно-

образные ассоциации. Форма отверстий в виде латинской буквы ф, также бывает разная. Чистая случайность? Нет, это характерный почерк. Легко отличить характер отверстия у Страдивариуса от Гварнери. А ведь оба они из одной школы Амати! Скрипка Тухачевского отличалась изящной отделкой. Можно было подумать, что она создана руками опытного мастера. Очень красива расцветка лака. Тухачевский старался имитировать модель Страдивариуса. И это ему удавалось. Сперва я испробовал звучание отдельных струн. Потом стал играть произведения Баха. Скрипка легко отвечала мне. Также ее похвалил и Тимофей (его еще называли Чародей Филиппович) Подгорный. Я просил дать мне скрипку для обыгрывания на некоторое время. Это имеет большое значение для усовершенствования звука. Но Тухачевский обещал об этом подумать. Видно было, что ему не очень хочется с ней расставаться. Но я не терял надежду, что в моих руках эта скрипка будет длительное время. Такая надежда стала реальностью лишь в 1936 г., когда Тухачевский мне сам предложил ее взять к себе на две недели, а может и более. Эта скрипка была в моих руках более месяца. Потом, когда я решил уехать из Москвы в Одессу, о причине такого решения скажу позже, пришлось скрипку вернуть. Не знаю в чьих руках она оказалась позднее. Да и не только эта скрипка. Ведь Тухачевский, насколько мне известно, сделал немало скрипок. Когда пришло известие об аресте Тухачевского, я уже обосновался в Одессе. Тем не менее я испытывал кое-какой страх. Особенно, когда я узнал об аресте Николая Сергеевича Жилиева. Давид Ойстрах мне однажды признался, что после объявления об аресте Тухачевского он испытал немало волнений. Ойстрах был частым гостем у него, как и другие московские скрипачи. А еще Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Между Шостаковичем и Тухачевским была тесная дружба. Испытывали чувство страха и московские скрипичные мастера. Тухачевский заботливо доставлял им лучшие сорта резонансного дерева. А чем они заслужили такое внимание? Ежов мог по-своему расценить. Но ежовская мясорубка не коснулась скрипичных мастеров. По своей натуре я отличался скрытным характером и многое из событий в моей жизни утаивал даже от моих близких. Мало кто знал о моих визитах к Тухачевскому. А знавшие не донесли. Жилиев принял

на себя страдание за всех музыкантов, которые общались с Тухачевским. А ведь он мог выдать следователям имена. Но, как стало потом известно, Жилиев мужественно вынес пытки и страдания. Никого не оговорил. А сам упорно не признавался в предъявленных ему обвинениях. Делалась попытка вызволить Жилиева из тюрьмы. Хлопотали видные мастера искусств. Ворошилов обещал лично поговорить со Сталиным. Но 20 января 1938 г. Николай Сергеевич скончался в тюрьме. Так гласит официальная справка. Даже не указано в какой тюрьме. Да еще неизвестно, что послужило причиной смерти. Быть может, ему пустили пулю в затылок? А может быть он не выдержал бесчеловечные пытки? Сказать трудно. Архивы Лубянки не дают ответа. Они молчаливы.

В советских музыкальных энциклопедических словарях лишь указывается дата смерти, но не указано, где скончался. Еще известно, что Жилиев посмертно реабилитирован. Помню в 1963 г. я задал в музыкальном издательстве "Советский композитор" в Москве вопрос: "Если Жилиев реабилитирован, почему бы не переиздать его труды?" Мне высокомерно ответили: "Раз они были изданы, то зачем же их перепечатывать? Желающие с ними познакомиться могут найти его труды в библиотеках". Но известно, что периодические издания, которые выпускались до 1937 г. не очень доступны. А когда Жилиева объявили врагом народа, его труды были изъяты из библиотек и уничтожены. Вот и попробуйте их найти. А у него были и неизданные труды. Но они были изъяты властями и отправлены на склады, в которых вряд ли могли сохраниться. Если где-то и уцелели в погребах НКВД, кто их станет искать? А ведь Жилиев был теоретиком музыки и его труды достойны глубокого уважения и изучения. В них много откровений. Но на Лубянке этого не понимают. Среди любимых учеников Жилиева профессор Московской консерватории Евгений Кириллович Голубев. Продолжая творческие традиции своего учителя, Голубев воспитал много талантливых советских композиторов. Среди них авангардист Альфред Шниттке. Произведения Шниттке завоевали международную известность и его имя блещет среди современных композиторов. На него возлагают надежды. Сам Тухачевский называл Жилиева

музыкальным пророком. И в этом Тухачевский, по-моему, не ошибался.

(Продолжение следует)

Михаил Гольдштейн

ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО...

И что, можно добавить, былшем еще не поросло. В этом и в прошлом году в печати появились критические статьи о недавней и продолжающейся работе западных радиостанций, ведущих передачи в страны за железным занавесом. Большое телеинтервью о передачах на русском языке дал А. И. Солженицын, оно передавалось телевизионными станциями в США.

Больше двенадцати лет я проработал на западных радиостанциях, — из разнообразного опыта этой работы кое-что теперь уместно вспомнить. Начну “от печки”, от нашего общего эмигрантского бытия...

В конце сороковых годов жили мы с женой тихо и мирно в ганзейском городе Гамбурге. Жили скудно, но чтобы тужить — после советского житья и в голову не приходило. Купил я по случаю русскую пишущую машинку допотопной конструкции, научился на ней писать (дома, до войны, подумать было нельзя, приобрести такое “множащее устройство”) и стал снова писать, после 20-летнего перерыва. “Посев” платил мне за всё, что напишу, сто марок в месяц, а что сверх потребного ему напишется, тем могу распоряжаться сам. Жена немного помогала, зарабатывала еще пятьдесят, и полтора ста марок было нашим месячным бюджетом. И хватало, в те невероятные времена.

Один из моих друзей, из первой эмиграции, член НТС, уговаривал войти в их организацию. Охоты не было, я отшучивался, что, дескать, я и так не плохой человек, зачем мне быть лучше? Он не отставал: пока вы одиночка, ни к чему не привязаны, ничего не сделаете, а вместе будет совсем другое дело. По мягкости характера согласился. Вскоре в старшие члены перевели, потом в “руководящий круг”, — такая тогда в НТС была иерархия, не знаю, как теперь.

Так я стал "организованной единицей" — и потому насели на меня, чтоб переезжал в центр, где было мало рабочего персонала. А у меня как-то еще не определилось, что мне делать в эмиграции. Но и веской причины отказаться не было и пришлось переехать в Лимбург (живописный город в Гессене, над рекой Ланом, с величественным древним собором, вставшим над рекой на отвесной скале), где был тогда "штаб НТС".

Начал с составления текстов передач для недавно созданной радиостанции НТС "Свободная Россия". Перед тем передачи составлял теперь давно уже покойный А. С. Казанцев (автор книги "Третья сила").

Дела, как видит читатель, давние. Жаль, однако, если они останутся забытыми. Та же "станция" — что представляла она собой, при нашей тогдашней бедности? Вот что, в начальный тот период. Был малый автобусик, Фольксваген, такие и теперь везле в ходу. В нем аккумуляторы и небольшой, собственными силами сооруженный коротковолновый передатчик. В бусике два радиста и шофер, все члены НТС.

Утром, взяв тексты передач, эта команда отправлялась в бусике в путь-дорогу, петлять по гессенской земле, чаще в невысокие горы Таунуса, вернее, холмы. Выбрав уединенное место, где их вряд ли потревожат, радисты останавливались у какого-нибудь высокого дерева. Забрасывали повыше на сук веревку, вытягивали за нее оголенный трос, — это была антенна. Выждав точно время, начинали передачу, на четверть часа. Передатчик был не сильный, но советскую зону Германии покрывал, что и требовалось: передачи велись для советской оккупационной армии. На большее еще не было сил.

Вели наблюдение за воздухом — и иногда ловили, как советские радисты переговаривались друг с другом, спрашивая, слышал ли другой какую-то новую станцию, Россию, и что слышно её в такой-то час. Приемников в армии много. Мы были удовлетворены: нашу станцию слушали. Скоро и немцы услышали нас и организовали погоню. Запеленговали, "накрыли с поличным". Но в земле Гессен НТС знали, и полиция не стала нам докучать.

Примитивность нашей "самодельной" работы нам была ясна. Но ведь "лиха беда начало", а там может и развиваться.

Самое же главное: и с этой кустарщиной нас слышали и мы были хозяевами наших передач. Чего же быть недовольными?

Месяца через три переехали во Франкфурт, где меня перевели в "Посев", выходивший тогда еженедельно. Приехала из Гамбурга жена. Роскоши здесь тоже не было, получали мы, как я шутил, "партмаксимум", по 200 марок в месяц и 50 на иждивенца. На новом месте жизнь дороже, но ничего, "укладывались".

Проработал я в "центре" НТС года три — в Союзе начались нелады, возникла оппозиция высшему руководству. Активно я в ней не участвовал, но союзное неустройство видел. Один из вождей НТС даже острил: "Солидаристы у нас есть, а солидаризма нет". К тому времени меня уже выбрали в Совет Союза, формально высший орган НТС (я говорил: "Верховный Совет в миниатюре, для аплодисментов", что очень не нравилось стоящим на самом верху).

Как-то оппозиционеры устроили собрание на квартире одного из них, позвали меня и еще двух членов Совета, не сторонников руководства. Но один уехал в Австрию по заданию, другой заболел, — на собрании я оказался единственным членом Совета. Страсти между тем разгорались. И перед собранием один из активистов, взяв меня за пуговицу, говорил, что иногда вечером гуляет по пустынной набережной Майна, с подозреваемым вождем. — "Я как-нибудь хвачу его покрепче по затылку и спихну в Майн. Плавать он не умеет: вот и вся недолга". На собрании тоже "пахло порохом". И хотя скорее всего это было пустой бравадой, из которой ничего серьезного не будет, ручаться за это было нельзя. Страсти надо было как-то утихомирить. Я дал обещание, что поговорю с двумя другими членами Совета и мы что-то предпримем, а до того ничего делать не надо.

Предпринимать пришлось одному, — второй продолжал болеть, третий оставался в Австрии. Время подгоняло: вскоре состоялось бурное заседание Совета. Присутствовало десять человек. К нам примыкал председатель (тогда Байдалаков, уже покойный), пятый колебался, — "руководство", не уверенное в успехе, старалось до голосования не доводить и, бесконечно повторяясь, "уговаривало" нас. Опять страдала пуговица моего пиджака: в перерыве один из руководителей, взяв за нее в

коридоре, уверял, что они наши опасения знают и даже словно бы до какой-то степени разделяют и что тот, кого мы предлагаем пока отстранить от ответственной работы, будет поставлен ими под строгий контроль и т. п. Это были одни слова: я хорошо знал, что ничего серьезного против подозреваемого предпринять они не могут.

Видно было и другое: мы выиграть тоже не можем. Оппозиция может одержать верх, если займет место своих противников, а ни у кого из нас ни малейших карьерных поползновений не было. К тому же старые члены Союза боялись скандала, серьезных разоблачений, чтобы "не повредить делу Союза". Микрокарикатурно повторялось происходившее в ежовщину: заслуженные большевики спускались на Лубянке в подвал за пулей в затылок, лишь бы "не повредить делу партии". И еще тормозящее соображение: а кто будет работать? К этому времени все более энергичные и работоспособные уехали из Германии в другие страны и устроились там, — сниматься снова и ехать в цетр вести "революционную работу" желающих и в НТС не находилось.

Один из старых членов Совета, чтобы "не выносить сор из избы", предложил в конце концов благопристойную резолюцию, оставляющую всё, как было. Её приняли, чтобы закончить бесполезную и тягостную всем говорильню.

Этот исход меня не огорчил: на другой надеяться не пришлось, зная настроения в НТС и послушность его "руководящего круга". Но в центре после этого оставаться я не хотел: это могли счесть за "раскаяние" и желание прикрывать дела начальства. Да я и чувствовал, что энтезсовскую страницу в моем эмигрантском бытии пора закрывать: настроения эти были не по мне. И я ушел из "Посева", потом и из Совета, и из Союза, который к тому же стал круче сворачивать на путь авантюризма: вскоре у него якобы появился "революционный Комитет Балт-флота", пошли связи с двойными и тройными агентами, из-за чего погиб в Берлине пылкий Трушнович, увлекавшийся этой "игрой". Всё это было ненужным вспышконопущательством, против чего возражала оппозиция. Чтобы прожить, стал получать пособие по безработице.

А. С. Казанцев уже год или два работал в русской редакции

мюнхенского отделения "Голоса Америки". Узнав, что я не работаю, он предложил своему начальству пригласить меня. Приехал руководитель русской редакции в Мюнхене Маламут, предложил поступить к ним. Я согласился, но сказал, что должен еще сделать кое-что здесь (обещанное оппозиции). Он усмехнулся: — Оставьте, всё это пустое... Он знал больше нас и мог правильно судить. Я всё же попросил его подождать. Недели через три он приехал опять с анкетами: — Ладно, заполните пока анкеты. Проверка всё равно займет не меньше месяца. Я заполнил и послал ему.

Так и получилось: я освободился, кончилась и проверка (знаменитый "клиранс"), и мы переехали в Мюнхен. Материально было значительно лучше, после куцевого франкфуртского "партмаксимума" и безработного пособия. И работа была нетрудной: правка текстов новостей, комментариев, перед передачей на воздух, составление коротких комментариев.

Душой дела был наш начальник Чарльз Львович Маламут. Он родился в начале века в России, но в раннем детстве был увезен родителями в Америку, где учился, кончил университет, занялся журналистикой. В семье говорили по-русски, и у него сохранился язык, с немногими изъятиями. Кроме того, почти все 30-е годы он был американским корреспондентом в Москве, перезнакомился там с видными писателями, артистами и хорошо разбирался в том, что исходило от партии и было советским режимом. Антикоммунистом он был, пожалуй, не меньшим, чем мы: не надо было стараться, чтобы он понимал нас. И что было совсем хорошо: он отлично понимал важность нашей работы, русских передач, и увлекался ими со всей горячностью своей недюжинной натуры.

Но была большая преграда: в середине 50-х годов, несмотря на "холодную войну" и уроки, полученные Западом в Греции, Иране, Корее, из Вашингтона уже были даны твердые "установки": избегать резкостей, не задевать советское руководство и т. д. Передачи должны были быть по существу "обтекаемыми". Такими они были у нас далеко не всегда. За это нередко из центра приходили выговоры, нагоняи, адресованные Маламуту. Он сильно огорчался тем, что не дают "развернуться".

Не в силах оставаться пассивным, Маламут раз в неделю

выступал перед микрофоном сам. Тексты своих выступлений он просил проверять Казанцева и меня — и нам поневоле приходилось брать на себя роль цензоров. Сдерживаться Маламут не умел и называл вещи своими именами, забывая об "установках". Мы старались убрать оскорбительные резкости, оставляя суть, говоря, что иначе опять придут выговоры. Маламут ругался, но обычно уступал.

Нередко мы вместе размышляли над тем, что можно было бы улучшить в наших передачах, как расширить тематику их. Как-то к нам домой зашел епископ Нафанаил, с которым я был знаком еще по Гамбургу, — я упомянул о нем при очередном нашем "размышлении" о работе. Маламут оживился: а не ввести ли нам беседы на религиозные темы? Поговорите с епископом, если согласится, пусть придет, договоримся о таких передачах.

Так мы, впервые во всех передачах в СССР после войны, ввели религиозные беседы, с церковными песнопениями по воскресным дням. Небольшой местный хор пел молитву, затем епископ Нафанаил читал проповедь, в заключение опять пропетая хором молитва. Времени было мало (мы вели получасовые передачи), на эти передачи отводилось всего семь-восемь минут, но и они вносили живой дух в поневоле перегруженные политической наши передачи.

В эмиграции у меня, в особенности тогда, на первых порах, перед "мысленным взором" всегда простиралась огромная наша страна, её люди — и сравнивая с тем, что могли бы мы им передавать, становилось не по себе. "Голос Америки" — а какие слабые, недостойные ни слушателей, ни хозяев станции предлагаем мы им передачи, — какие-то увертливые, смазанные, подчас трусливые. Мы боремся с жестоким, ни с чем не считающимся врагом, он стопудовой тяжестью непрерывной пропаганды мутит сознание задавленных им людей, — что же противопоставляем этому мы? Увертки, недоговоренности, — а сколько веского, убедительного, сколько полновесной правды мы могли бы сказать!

Не раз говорили мы об этом с Маламутом, удивляясь: неужто его начальство не учитывает всю важность радиопропаганды? Почему оно заставляет нас говорить правду лишь с ужимками, в разбавленном виде, сглаживая её, чтобы она не

слишком раздражала коммунистов? Почему на Западе так считаются с коммунистами, а не с теми, кто ими задавлен?

Я предлагал написать обстоятельную записку, какие нужны нам передачи, — Маламут вздыхал, соглашался, говорил: — Напишите, я переведу и пошлю, но это же как мертвому, — как это — примочки? Там чиновники сидят, бюрократы, а они и не понимают, и понимать не хотят. Бюрократа не переделаешь... — Я записку написал, Маламут перевел, послал, — ответа, конечно, не было.

— Самое скверное, — говорил Маламут, — в том, что они не могут понять, даже если бы хотели понимать. Вы по собственному опыту знаете, что такое "советская власть" и без раздумий чувствуете, что в диктатуре партии — главная угроза всем, всему миру, потому ваше внимание и приковано к этим вопросам. И у меня тоже: наша семья не отрывалась совсем от России, всегда следила, что происходит в ней. И столько лет я прожил в Москве, всего насмотрелся. А эти чиновники — что они видели? Что знают? Для них же происходящее там — как жизнь на другой планете. И вместе с тем не так всё это просто, — продолжал Маламут. — У американцев революция по традиции окружена радужным ореолом, будто явление это всегда положительное. Так была здесь воспринята и революция 1917 года, раскрепостившая, считали американцы, Россию, принесшая ей свободу. И как вы убедите их, что это совсем не то? А тут еще четыре года борьбы с сильнейшим врагом, когда Советский Союз был верным союзником в войне. То союзник, то враг — как это может переварить рядовой чиновник, бюрократ? Он остается еще во власти военных настроений и не может воспринять, что война продолжается, но уже не с нацистами, а с коммунистами, которые только что были союзниками. И требовать от чиновников, чтобы они сразу переключились на 180 градусов — напрасная затея.

— Можно и еще одно вспомнить, дальше по времени. Все мы, учившиеся в американских университетах в 20-е, 30-е годы, вольно и невольно приобретали розовую окраску. Марксизм нам преподавали, как передовую, прогрессивную науку, как будущее человечества — и среди выпускников тех лет естественно оказалось много коммунистов, прокоммунистов и сочувствующих

разных марок и направлений. Очень распространены были троцкисты, — могу покаяться, что и сам я был грешен довольно розовыми убеждениями, от них просто нельзя было спастись, интересуясь состоянием и развитием общественных отношений. Мне, правда, удалось быстро от этой розовости избавиться: приехав в Москву, я сразу столкнулся с таким вопиющим издевательством над народом, с таким его угнетением, что никакая теория со всеми возможными к ней поправками не могла этого оправдать. У оставшихся здесь такой стычки с действительностью не было, а как раз мои сверстники заполняли тогда государственные учреждения, где, с их краснотой, во время войны они оказались вполне на месте. А кто же любит отказываться от усвоенных убеждений и переучиваться?*

У нас не было оснований не верить объяснениям Маламута. Но они ничего не меняли: мы продолжали работать, как прежде, стараясь передать в СССР как можно больше важных новостей.

Как-то приехал ревизор, из центра. Посмотрел тексты передач, побывал в студиях, послушал, поговорил, — потом на совещании изрек, что наши передачи считаются начальством невозможными. А самые опасные, самые невозможные, сказал он, это выступления вашего шефа Маламута.

В конце концов Маламута из “Голоса Америки” убрали, перевели на “Свободу”.

С его заместителем, человеком смирным, мы проработали еще с год, — в конце 1958 года мюнхенское отделение “Голоса Америки” решено было закрыть, остался только корреспондентский пункт. Помещались мы в том же здании, что и генеральное консульство США, — оно предложило увольняемым, кто хочет переселиться в Америку, свою помощь в получении визы. Мы с женой решили воспользоваться случаем и весной 1959 года отправились на пароходе в Нью-Йорк. Там, получив “зеленые карточки” и разрешения на возвращение в

*И в настоящее время в десятках американских университетов, несмотря на долгий и убедительный опыт, преподают марксизм — и, конечно, не как разрушительную доктрину, а как современное передовое учение. Не так давно считалось, что в США преподаванием марксизма занято около десяти тысяч “красных профессоров” — не знаю, сколько их теперь.

США, снова отправились в Мюнхен: у меня уже была там другая работа.

Как только кончилась работа на "Голосе Америки", позвонил Маламут и сказал, что меня "уже ждут" у них на станции. Пошел в русскую редакцию "Свободы". Принял американский советник, угрюмый господин, смотревший так, будто я пришел к нему с нечистыми намерениями. — На что вы претендуете? — спросил он. Я пожал плечами: — В каком смысле? Если вы о зарплате, особых претензий у меня нет. У вас же определенные ставки, наверно, как и в "Голосе Америки"... — разговор не получался, советник, может быть, был не в духе.

Зашел к Маламуту, спросил, что это за господин сидит там. — Не обращайтесь внимания, в приеме работников от него ничего не зависит. Вам самому надо решить, где хотите работать: у нас или в ЦОПЭ (Центральное Объединение Послевоенных Эмигрантов).

Вскоре пришел представитель ЦОПЭ. Звал к себе, сказал, что получать буду столько же, сколько в "Голосе", и к тому же, они помогут получить за их счет хорошую квартиру, — у нас была крохотная темная квартирка. Это было уже весомо, и работать только со своими — еще плюс. Я согласился.

У ЦОПЭ тоже был американский советник, к счастью, тоже русского происхождения, как и Маламут, он в детстве приехал с родителями в Америку. С ним мы без труда находили общий язык.

Начал я работу в ЦОПЭ с составления листовок и малой газеты, в машинописный лист, для распространения в советской армии, в советской зоне Германии. Потом прибавилось редактирование и работа по выпуску толстого литературно-общественного альманаха "Мосты", который стало выпускать ЦОПЭ перед моим поступлением к ним. Чтобы я взялся за эту работу, настояли и советник, и председатель ЦОПЭ. Работы было много: субсидия, хоть и от богатейшего государства, была тощая и всю работу надо было делать одному: ты и редактор, и правщик рукописей, и корректор, как давно уже повелось в эмиграции, если издание не осуществлялось левыми группами.

Выпуск "Мостов" я довел до 10-го альманаха, в 1963 году, когда "верхи" решили ЦОПЭ закрыть. Прекращать выпуск альма-

наха не хотелось, на сохранении его настаивали сотрудники альманаха, и я как-то (теперь, признаться, не знаю и сам, как) ухитрился выпустить еще пять книг, без гроша субсидий, только на выручку от продажи ранее вышедших книг и мелкие случайные пожертвования. Последние две книги выпустил уже в Америке.

ЦОПЭ закрылось. Виктор Семенович Франк, с которым мы давно были знакомы, звал на станцию "Свобода" (Маламут к этому времени умер, у него плохо было с сердцем). Подумав, я решил пойти работать на "Свободу". На этот раз в русской редакции "Свободы" я увидел — трех американских советников. Старший, военный, изредка уходивший на воинские сборы, был хоть и придиричив, но наиболее старательный и добросовестный, желавший всегда дойти до сути, чему мешало скромное знание языка. Другой — студент, рвения в работе у него не было, как и у третьего, уже пожилого, дорабатывающего до пенсии, — с языком и у него было плохо. Как-то он уверял меня, что по-русски надо писать "Марморное" море, а не Мраморное. Понять, для чего они сидят, было трудно, а не один текст нельзя было передать для записи и передачи на воздух, если он не подписан американским советником.

Получалась нелепость. Станция как будто была создана с определенной целью, — борьбы с коммунизмом, — а американские советники затрудняли, а иногда и саботировали эту работу. Не представляя себе слушателя, не зная, для кого и что надо передавать (в Вашингтоне на этот счет тоже смутные представления), они не верили и нам. Их экономисты, например, требовали, чтобы написанное нами соответствовало советским справочникам. Они приносили справочник ЦСУ и удивленно говорили: — Этого здесь нет, откуда вы взяли? — Можно было объяснить, что коммунистам невыгодно давать правду, что они скрывают истинное положение вещей у себя, но это советников мало убеждало.

ЦК КПСС на глушение западных передач тратит в два-три раза больше, чем Западу обходятся эти его передачи. А тут еще американские советники по своему непониманию глушат многое из того, что русские сотрудники со знанием дела подготовили для передачи. И надо было как-то лавировать, теряя время и

нервы на уговаривание этих глушителей”.

Проработав так до середины 60-х годов, я впервые вспомнил: скоро придется уходить на пенсию, по возрасту, а пенсии у меня нет! В Германии мы социальному страхованию не подлежали, а работая за границей и не будучи гражданами США, не подлежали мы тогда и американскому страхованию. Положение незавидное. Раздобыл я в консульстве брошюру о “социал-секюрити” в США и установил по ней, что если я через год перееду в Америку, то к выходу на пенсию успею выработать требующиеся мне там пять лет, дающие право на получение пенсии, хотя бы минимальной. Как раз в это время в Мюнхен приехал Валериан Александрович Оболенский, руководитель передач “Свободы” в Нью-Йорке, при Комитете радиостанции. Знали мы друг друга давно, я рассказал ему о своем положении и попросил, если им нужен работник в Нью-Йорке, посодействовать в переводе туда. Он обещал, обещание свое сдержал, и в 1967 году мы окончательно переехали в Америку.

В Нью-Йорке работать было лучше, советников, контролирующих нас, тут, слава Богу, не было. За всё отвечал, в сущности, Оболенский, — он был отличным человеком (к сожалению, тоже рано умер). Вырос во Франции и в Англии, окончил Оксфорд, знал ряд языков и был разбирающимся человеком. С высоким начальством мы, “нижестоящие”, почти не общались.

А. И. Солженицын в интервью американскому телевидению в октябре прошлого года, в частности, сказал, что, если бы американское радиовещание на русском языке велось с правильным пониманием его задач, картина в мире была бы другая и опасности новой мировой войны народы не знали бы, — это глубоко верная мысль. С помощью интенсивного и доброжелательного к народам в странах коммунистической диктатуры (а не доброжелательного к самой этой диктатуре) радиовещания мы могли бы создать там другие настроения и более свободное от насилия мышление. К сожалению, поведение многих американских работников этого радиовещания, не понимавших, да и теперь не понимающих положения в тех странах (достаточно послушать их оценку происходящего в Польше), все время тормозило эту необычайно важную работу.

Эти работники не хотели прислушиваться не только к нам,

но и к своим же американцам, понимавшим дело, — таким, как Маламут или Юджин Лайонс, один из организаторов станции "Свобода", позже вытесненный с этой работы. Конечно, были хорошо понимавшие и работавшие с нами американцы, но тон старались задавать не они, а "прогрессивные" леволибералы. Они и теперь продолжают это дело путаницы и непонимания.

Нам, русским, крайне нужна большая станция для передач в нашу страну. Там у людей, одураемых бесконечной коммунистической пропагандой, головы забиты самыми дикими представлениями и о Западе, и о себе самих. Но это должна быть станция, без "левых нянек", только портящих большое и нужное дело.

Г. Андреев, февраль 1982

ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ФОНД "НОВОГО ЖУРНАЛА"

В 138, 139, 140, 142, 143, 145 и 147 кн. "Н. Ж." опубликованы списки жертвователей в издательский фонд "Нового Журнала". Всего 8.864 долл. Позже поступило еще 1.730 долл.: Доброжелатель — 1.000 долл., Х — 400 долл., В. Кудрявцев — 112 долл., С. Пушкарев — 60 долл., С. Еттинген — 52 долл., О. Маслей — 50 долл., Н. Паскевич — 26 долл., В. Крупич — 25 долл. и Н. Горская — 5 долл. Всего 10.594 долл.

Редакция сердечно благодарит всех жертвователей.

Большое спасибо.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ? ЗА ЧТО БОРЕМСЯ?

В мире, а в особенности в СССР, сейчас уже довольно много людей, понимающих, что идея высокоорганизованного, совершенного, т. е. лишенного "прежних язв", человеческого общества социализма и не могла привести ни к чему иному, как к советскому, китайскому, корейскому, вьетнамскому, хомейневскому тоталитаризму. Логика социалистической идеи вполне объясняет все наблюдаемые главные свойства как строящегося, так и уже построенного социализма.

Удушение религии

Объясняет, например, удушение религии или, как в случае с Хомейни, циничное использование ее в качестве инструмента власти. Рождение идеи социализма как совершенного человеческого общества, не могло произойти без уверования в безграничность мощи человеческого разума, без уверования в безграничность возможностей человеческой науки и техники. Без этого убеждения, что человек все может, было бы нелепо пытаться строить такую невероятно сложную вещь, как высокоорганизованное, научно-технически обоснованное, совершенное общество социализма, в котором не будет места "страшнейшим язвам" прежнего общества. Культ всемогущества человека, его разума, как прямое противопоставление религиозной идее всемогущества Бога и ничтожности человека, родил идею социализма и обратил ее против религии. Удушить религию совсем или использовать ее как инструмент власти было уже вопросом

тактики, а не существа дела.

Социалистическая диктатура

Высокая организация социализма, как противопоставление хаосу миллиардов обычных человеческих взаимодействий, необходимо требовала единой воли и единого плана, охватывающего все стороны жизни людей. Единая воля и единый план в переводе на конкретный язык означали единую власть. Фактически, построить социализм и означало построить систему единой власти единого вождя. Создать эту единую власть без ликвидации оппозиционных партий, без ликвидации конкурирующих вождей, без ликвидации независимо мыслящих и действующих людей (элиты прежнего общества) было невозможно. Больше того, это требовало парадоксальной ликвидации даже очень многих союзников и единомышленников, могущих хоть в малой мере оспорить единовластие единого вождя, т. е. единую волю социализма. Как Сталин, Мао, Ким Ир Сен, Хо Ши Мин, так и социалист Хомейни уничтожают всех таких опасных единомышленников и союзников. Они это делают не просто для себя, лично, хотя и считают себя наиболее компетентными строителями социализма, но именно во имя социализма, требующего единовластия. Совершенное общество требует совершенной единой воли. Не трудно понять, что единовластные вожди социализма тоже не являются незаменимыми. Не было бы Сталина, был бы Троцкий или Железняк. Ничего бы не изменилось. А соответствующий по качествам кандидат всегда найдется — была бы идея социализма. Так все "зверства социализма" прямо вытекают из самой идеи социализма.

Тоталитаризм социализма

Необходимость единовластия при социализме ведет к прямой необходимости национализации, обобществления народного хозяйства. Без национализации не было бы социализма. Социализм и обобществление хозяйства страны (сразу или постепенно) абсолютно неразделимы. Суть, конечно, не в том, что частная собственность есть якобы источник эгоизма и жад-

ности, а в том, что без ликвидации частной собственности нельзя ликвидировать экономическую и, следовательно, политическую независимость миллионов людей и нельзя лишить их силы сопротивления. Без национализации хозяйства страны невозможна необходимая предельная концентрация власти над всей страной в руках единовластного вождя и его аппарата, т. е. невозможен социализм. Обобществление хозяйства страны есть *единственная* реальная дорога к социализму. "Смешанная экономика" есть лишь неустойчивое (ни рыба, ни мясо) положение на этой дороге. Стоит не допустить обобществления хозяйства страны, и социализм будет невозможен.

Если, при любом партийном названии, в программе партии есть обобществление хозяйства страны, значит партия — социалистическая и отличается от коммунистической только внешностью и названием, а не существом. Поэтому очень важно не путаться в речах партийных представителей, а внимательно прочесть программу партии и тогда лишь судить, что эта партия собой представляет. Первое, что сделал Хомейни в полном соответствии с программой социализма — обобществил хозяйство страны. Это значит, что он, независимо от того, как он себя называет, что в своих речах заявляет, он, без всякого сомнения, является правоверным большевиком-коммунистом, т. е. социалистом. То, что он ликвидирует наравне с другими также и коммунистов, означает лишь, что он стремится к единовластию, необходимому для социализма, как это делал в свое время Сталин.

Индустриализация на костях миллионов

Цель социализма — создать для людей такое общество, в котором удовлетворялись бы все материальные нужды людей и создать таким образом полный простор для расцвета их духовной и творческой жизни. В переводе на язык экономики это означает достигнуть наивысшей возможной производительности труда. Уже само единство разумной воли и единство разумного, всеобъемлющего плана в обществе построенного социализма "не может не быть" залогом огромного скачка в общественной производительности труда и, следовательно, огромного скачка в

уровне жизни населения социализма. Дело в том, что, в сущности, вся история развития человеческого общества есть история постепенного роста общественной производительности труда и, следовательно, постепенного роста уровня жизни. Промышленная революция уже осуществила огромный скачок в производительности труда и, следовательно, в уровне жизни. Промышленная революция создала все богатства Запада, но была сопряжена, однако, с огромными человеческими жертвами и страданиями, если измерять их нынешними мерками. Дикенс, Золя и многие другие писатели дали яркую картину этих жертв и страданий. Социализм по идее должен осуществить еще более огромный скачок, но "без жертв и страданий". Это повышение производительности труда социализма должно быть достигнуто, конечно, не "потогонными" средствами, а введением машин, новых технологических процессов, новых источников все больших и больших количеств энергии (как основы всего человеческого прогресса: на мускульной энергии далеко не уедешь). Следовательно, единая политика и план социализма должны преследовать цели максимально быстрой индустриализации, максимального повышения энергетического потенциала, максимально широкого профессионального образования. Этим и объясняется наивысший приоритет для энергетической, тяжелой промышленности, профессионального обучения и науки как при построении социализма, так и после создания системы единой воли и власти, т. е. уже после построения социализма как государственной структуры. Этим объясняется и всем известное, якобы, пренебрежение потребительскими нуждами населения, приведшее к неисчислимым страданиям.

Чрезвычайная бюрократичность социализма

Капиталист-собственник не имеет нужды запасаться кучей "бумажек" для того, чтобы оправдать свою хозяйственную деятельность, поскольку нет необходимости проверять самого себя. Однако государственный чиновник, как правило, может быть и должен быть подвергнут обязательной проверке. Поэтому оформление оправдательной бумажкой каждого своего шага или отсутствия такового является законом для каждого

человека, действующего не от своего имени, а от имени государства или общества. Поэтому бюрократизм, "бумажка", есть основа жизни и деятельности не только социалистического, но любого общественного или кооперативного хозяйства. В социалистических странах, где все — общественное, естественно, бюрократизм достигает невиданных высот и пронизывает всю жизнь страны. Естественно, что и контроль (не менее бюрокритический) в самых разнообразных формах и огромных масштабах является так же характеристикой любого общественного дела, включая, как предел, социализм. Использование же этого бюрократизма с целью получения взяток и, вообще, в личных интересах "бюрократа" тоже вполне естественно в общественных делах. Закон таков: чем больше общественных или государственных функций, чем больше аппарат управления, тем в квадрате больше бюрократии и использования служебного положения в личных интересах. И это не зависит ни от национальности населения, ни от страны, ни от режима или структуры государства, ни от системы проверки.

Очковтирательство

Стремление приукрасить свои достижения и достижения в порученном деле свойственно любому общественному деятелю, начиная от наинизшего чиновника и кончая премьер-министром или председателем Верховного совета. Председатели любых корпораций на Западе тоже в полной мере этим стремлением обладают. При социализме в этом стремлении объединяются не только "слуги народа" снизу доверху, но и все трудящиеся, которые тоже заинтересованы в букве выполнения плана любой ценой: "глядишь и премию получишь".

Капиталисту-собственнику (не наемному председателю корпорации или кооператива) очковтирательство бесполезно и может делу повредить. Социализм же без очковтирательства просто невозможен: оно является незаменимой частью пропаганды.

Агрессия и экспансионизм социализма

Совсем нетрудно сообразить, что построить социализм в

полной мере в окружении несоциалистических стран невозможно. Совершенство (и даже само существование) социализма будет все время находиться под неизбежным воздействием с их стороны. И воздействие это не может быть благоприятным ни для действия социализма, ни для его единой воли. Примеры вреда этого воздействия неисчислимы. Окончательное завершение социализма возможно только в масштабе всего мира. Что бы ни думал вождь социализма с его аппаратом, но логика социализма требует мирового господства и вождь с его аппаратом не могут поступать иначе, как стремиться к завоеванию всего мира. Это справедливо даже в том случае, когда они уже в социализм совсем не верят и становятся сами пленниками социализма, который дает им власть и жизнь.

Как энергетика и тяжелая промышленность, военная машина — важный инструмент завоевания мира — не может не стать для вождя и его аппарата приоритетом номер один. Поступать иначе, значит вредить социализму (и, следовательно, своей власти). Поскольку военная машина есть прямое выражение единства воли и высокой научно-технической и социальной организации, т. е. главных теоретических свойств социализма, то процветание военной машины и социализм так же неразделимы, как социализм и национализация хозяйства.

Полное экономическое банкротство социализма

Та же самая логика социалистической идеи полностью объясняет и экономический провал со всеми социальными и политическими последствиями и его неизбежность для общества социализма.

1. Идея высокоразумной организации общества совершенно явно не может допустить обычного хаоса миллиардов человеческих, независимых от этой организации, взаимодействий личных интересов миллионов людей. Личные интересы должны отступить на самый задний план (если не быть ликвидированы вообще) и дать первое место интересам общества социализма. Все должно совершаться во имя и для общества социализма. Понятно, что формулировка этих интересов общества социализма не может быть доверена никому, кроме единого вождя и

его аппарата. Власть — решать — должна быть у них, а действовать строго в соответствии с указаниями вождя и аппарата и будет задачей всех миллионных масс. Совершенно очевидно, что без возможности решать, что и как делать, никакое творчество невозможно. Превращение масс населения лишь в простых исполнителей единой воли социализма (хорошо для армии, для войны) практически полностью ликвидирует творческий, созидательный потенциал масс. Поскольку все в стране создается именно населением, а не государством или его правителями, то производительность труда, которая, по идее, должна была вырасти и притом сильно вырасти, не только не выросла, а сильно упала и неизбежно будет продолжать падать, пока существует "высокоорганизованное общество социализма".

2. Управление огромным обобщественным хозяйством не может производиться иначе, чем с помощью централизованного планирования, которое и есть высшее проявление высокой общественной организации. Попытки ввести элементы рыночных отношений (скажем, "прямые связи") ни в СССР, ни в Китае, ни в знаменитой на Западе Венгрии ни к чему хорошему не привели, кроме элементов хаоса и потери управления. По данным Международного банка, Венгрия так и осталась, как была, на четвертом месте по уровню жизни среди социалистических стран. Вообще, совмещение централизованного планирования ("директивное хозяйство") со свободным рынком является экономическим абсурдом. Централизованный план увязывает в одно великолепное целое, в сущности, всю жизнь в стране. Его колоссальная, всеобъемлющая сеть состоит из сотен миллионов ячеек и связей. Создание такого плана требует колоссального труда и умения и, конечно, весьма длительного времени. Поэтому такой план никогда не в состоянии поспевать за жизнью. Он всегда является устаревшим независимо от искусства его составителей. Понятно также, что он не может учесть в себе все неисчислимые местные обстоятельства и нюансы. Поэтому, чем этот план совершеннее и квалифицированнее, тем в большей степени он превращается, как это ни звучит парадоксально, в филькину грамоту. Представьте себе, что какой-то директор решил для пользы дела (и вполне разумно) механизировать какую-то операцию производства. Если он заранее, при

составлении плана (т. е. за 5 лет) не предусмотрел это и не договорился ввести это в план, то откуда он возьмет необходимые механизмы, дополнительные кадры установщиков-механиков, наконец, дополнительный транспорт для отправки дополнительной продукции. Все ведь распределяется заранее, по плану. Вполне здравые, но не предусмотренные планом действия директора не могут не отразиться на всей плановой сети и всю ее испортить после всех колоссальных трудов, затраченных на ее создание. Испортить все национальные балансы: финансов, производства оборудования и потребностей в нем, подготовки кадров и потребностей в них, сырья и потребности в нем, энергии и потребности в ней и т. д. и т. п.

Высокая научная организация, таким образом, режет под корень главное условие высокой производительности труда — возможность (не говоря уже о желании) для каждого из миллионов трудящихся сделать свой личный творческий вклад в общее дело. Винить вождя, его аппарат, Госплан в экономическом провале из-за якобы некомпетентности в организации плана все равно, что винить машиниста поезда, что он не заехал в ваш поселок, который не связан с железной дорогой. Машинист может направить поезд только по рельсам, в данном случае, по рельсам социализма.

3. План, как легко понять, должен включать в себя не только производительные действия трудящихся, но и их вознаграждение, т. е. заработную плату, премии и т. п. Можно ли винить правителей, или Госплан, или Комитет по труду и зарплате в том, что за большой труд трудящийся не может получить в данном месте, в данный момент больше зарплаты? Как за 5 лет заранее можно этот производственный порыв данного человека, в данном месте, в данное время предусмотреть? А если не предусмотреть, так и оплатить нечем. Иметь резерв денег? Но для этого надо иметь резерв товаров и услуг, которые этот герой труда за свой порыв получит. Ему ведь не бумажки его зарплаты нужны, а именно товары и услуги. Какой же, однако, резерв товаров и услуг, когда производительность труда так низка, что и исходную-то зарплату обеспечить товарами и услугами невозможно. В этом порочном круге действует анекдот: "Они (государство социализма) делают вид, что нам платят, а мы тоже делаем вид,

что работаем”.

**Идея социализма, как идея разрешения
”классовых противоречий”**

Однако причины экономического, а с ним и социального провала социализма коренятся еще значительно глубже, чем многие себе представляют. Карл Маркс, подытоживая около двухсот лет предыдущего развития социалистической мысли и пытаясь доказать необходимость и неизбежность социализма, построил всю свою ”теорию” на одной лишь идее ”антагонистических классов”. Очень характерно, что он даже не определил, что это такое — антагонистический класс. Любой ученый, не определивший точно и ясно основные предпосылки своей теории, был бы назван недоучкой и лжеученым. К сожалению, в политических теориях это происходит сплошь и рядом. Как легко наблюдать, сейчас все, включая марксистов, определяют, что такое ”класс” кто во что горазд и все по-разному. Таким образом вся ”теория” Маркса не имеет никакого фундамента. Архитекторы, безусловно, должны позавидовать умению Маркса проектировать за́мки без фундамента. Больше того, Маркс заявил, как не требующую доказательств истину, что классы в обществе находятся в неустранимом противоречии между собой и находятся поэтому в непрерывной классовой борьбе.

Как бы не определять ”класс”, ясно, что, по Марксу, из этих классов состоит любое общество и государство. Сразу же возникает вопрос. Как же было возможно на протяжении многих веков истории осуществить такой колоссальный прогресс человечества, какой мы наблюдаем? Как оказалось возможным, вообще, построить такие процветающие государства, как в недалеком прошлом на Западе? Ведь, если классы борются друг с другом, то не только невозможно построить какое угодно государство, но даже дома нельзя построить. А классы, по Марксу, непримиримо антагонистичны, т. е. сотрудничество между ними просто невозможно. На это Маркс заявляет, что один класс захватывает власть и силой заставляет другой класс на себя работать. Почему же в таком случае даже Сталину, не говоря уже о Брежневе, не удалось ни силой, ни уговорами

создать в бесклассовой стране Советов процветание, хотя бы издали похожее на процветание "классового, раздираемого классовыми противоречиями" общества Запада?

Дело в том, что, какова бы ни была борьба между личными интересами ("классовыми") людей в обществе, сотрудничество на протяжении истории безусловно преобладает. Только добровольное, стихийное сотрудничество людей позволило создать глубочайшее разделение труда, необходимое для высокой производительности труда и, следовательно, для высокого уровня жизни. Как можно без сотрудничества, силой, строить дома, железные дороги, автомобили и бесчисленные другие вещи, характерные для человеческого прогресса. В основе прогресса человечества не может не лежать сотрудничество. Преобладание классовой борьбы (как и "классы") было изобретено Марксом без доказательства доминирующей роли классовой борьбы в "классовом" обществе. Не определяя, что такое класс, Маркс тем не менее толкует о "классовой" борьбе наемных работников против нанимателей-капиталистов. Действительно, чего хочет "жадный и эгоистичный" капиталист-хозяин средств производства? Он хочет максимальной прибыли? Он что ее ест? Нет, он использует для себя лишь небольшую ее часть, а остальное вкладывает снова в усовершенствование и расширение производства. Не будем говорить о том, что у него, безусловно, есть и творческий личный интерес. Будем считать главным его эгоизм и жадность. Для получения большей прибыли он хочет платить ниже зарплаты, давать более высокие нормы выработки, не хочет забастовок и профсоюзов.

Следует подчеркнуть, что, во-первых, его деятельность направлена объективно к созданию все новых и новых общественных богатств и к удовлетворению нужд общества и нужд самих трудящихся. Во-вторых, через низкую зарплату и высокие нормы выработки, она направлена на удешевление товаров и услуг и на создание их изобилия, что, тоже совершенно ясно, находится в интересах общества и самих трудящихся. Каковы же личные интересы трудящихся? Их интересы действительно прямо противоположны: они хотят высокой зарплаты, низких норм выработки, хотят права на забастовки и на профсоюзы. Не трудно (если голова не забита марксизмом) понять, что удовле-

творение указанных интересов трудящихся ведет к подорожанию товаров и услуг (инфляция), к их дефициту, к бедному ассортименту, к низкому качеству, т. е. ведет ко вреду для общества и ко вреду для самих трудящихся. Может быть, однако, трудящиеся, преследуя интересы общества, не будут давать волю своим инстинктам жадности и эгоизма? К сожалению, даже опыт только Запада показывает, что жадность и эгоизм трудящихся буквально захлестывает общество Запада и разрушает его функционирование, приводя к хаосу. Непрерывные забастовки по самым диким предложениям и шантаж против интересов общества (и самих трудящихся) показывают всю силу и близорукость эгоизма трудящихся, а также его полную неустрашимость.

Почему же, в среднем, на протяжении истории капитализма сотрудничество преобладало над вышеописанным антагонизмом, приводя к прогрессу, и только совсем недавно, много времени после Маркса, прогресс начинает сменяться регрессом? Ответ может быть только один. Раньше преобладали созидательные жадность и эгоизм капиталистов над разрушительными жадностью и эгоизмом трудящихся. В последнее столетие здорово поработали "защитники" трудящихся и законодательно, и общественным мнением резко нарушили баланс силы между капиталистами и трудящимися в пользу эгоизма и жадности именно трудящихся.

Логика требует сделать совершенно естественный и правильный вывод: нужно восстановить баланс в пользу капиталиста. Как разумный избранник народа, так и Маркс предпочел завоевать голоса наиболее многочисленной части населения — трудящихся, поставив все с ног на голову. Кроме того, следуя фактам, Марксу было бы невозможно построить всю свою теорию классовой борьбы и доказать неизбежность социализма. Маркс проявил все свойства трюкача иллюзиониста и гипнотизера масс, безусловно жаждавших оправдать свою жадность и эгоизм высшими интересами, и сделал совершенно нелогичный вывод. Он решил, что нужно ликвидировать "классы" и тем ликвидировать "классовую" борьбу. Для этого он решил ликвидировать частную собственность и с ней капиталистов. Обладателем всех средств производства в "бесклассовом" обществе Маркса стало государство. Оно же стало хозяином всех

трудящихся с их эгоизмом и жадностью. Нетрудно заметить, что интерес социалистического государства остался в точности тем же, что был у капиталиста-собственника средств производства. В интересах государства (общества) иметь пониже зарплаты, повыше нормы выработки, не иметь забастовок, не иметь независимых профсоюзов, представляющих огромную помеху в организации хозяйства и в управлении государством. Только так можно обеспечить дешевизну товаров и услуг и повышение уровня жизни населения.

Хотят ли теперь трудящиеся чего-то другого, чем раньше? Отнюдь нет. Они все так же хотят побольше зарплаты и поменьше и полегче работу, хотят иметь право на забастовки и на независимые профсоюзы. Что же получилось? Получилось, что антагонистическое марксово "классовое" противоречие не только не исчезло вместе с "ликвидацией классов", но весьма значительно усилилось, достигнув вполне государственного масштаба. Еще хуже. Государственный аппарат состоит тоже из людей, в сущности, тоже трудящихся и поэтому он сам имеет тот же интерес, как и все трудящиеся: побольше благ для себя и поменьше работы. Только долг службы призывает в интересах государства пытаться сбалансировать эгоизм и жадность, свои собственные и остальных трудящихся.

Таким образом, скажем, в СССР личные, близорукие интересы 140 миллионов трудящихся, как и при капитализме, противостоят хозяину — собственнику средств производства. Однако теперь безликое государство не защищает никто. Даже работники самого аппарата государства тащат с государства все, что могут. Кстати, следует подумать, что же это такое классы, ликвидация которых не приводит к ликвидации классовых противоречий?

Можно ли удивляться, что экономика СССР и других социалистических стран разваливается, а уровень жизни не повышается, а неизменно понижается? Действительно, может ли государство с его аппаратом сбалансировать колоссальную силу 140 миллионов трудящихся? Тем более, что и сами представители государства "не лыком шиты" и во всю используют свое служебное положение в своих личных интересах.

Что же делать? Приходится государственному аппарату

фарисейски развивать колоссальную пропаганду. "Труд есть дело чести, доблести и геройства". "Жизненные ценности человека являются критерием его поведения в обществе, критерием его представлений о счастье и достоинстве. И чем больше в этих ценностях духовно возвышенных, тем больше гарантий, что человек никогда не позволит себе впасть в унижительную зависимость от сиюминутных материальных потребностей, не позволит материальному подавить в себе духовное" (Речь члена ЦК КПСС Шерванадзе).

Вся печать, литература, искусство через строгую цензуру занимаются преодолением личных интересов трудящихся и мобилизацией всех сил в интересах общества. Однако слова не могут бороться с личным интересом. Приходится разработать колоссальную систему самых драконовских насильственных и экономических мер, чтобы заставить трудящихся добросовестно трудиться на благо социалистического общества. Однако 140 миллионов мозгов трудящихся работают в пользу своих личных интересов против, скажем, миллиона мозгов представителей государства, да еще и неполноценных: сами заражены личными интересами. Результат очевиден. Он не в пользу социализма. Как это ни покажется многим и очень многим слишком парадоксальным, но, по сути дела, вся колоссальная подавляющая и устрашающая система уже построенного социализма представляет собой лишь необходимую, но тщетную попытку социализма подавить личные интересы населения, не желающего работать в интересах общества, и сохранить социализм. Так, по глупости Маркса и по нашей собственной глупости и наивности мы попали из небольшого огня в огромное полымя.

Конечно, если бы все люди (значит, включая и капиталистов и управителей) не обладали бы в своей массе эгоизмом, а преследовали бы интересы общества, то этого огромного, неустранимого, антагонистического противоречия, от которого погибает социализм, не существовало бы и социализм работал бы на славу. Однако тогда и при капитализме существовало бы полное сотрудничество в пользу общества, а не марксова "классовая" борьба. Социализм, разьедаемый указанным выше радикальным, неустранимым и чрезвычайно несбалансированным противоречием, неизбежно будет все больше и больше дви-

гаться к нищете и голоду, пока окончательно не развалится и притом быстро.

Другие непримиримые антагонистические противоречия социализма

Социалистическое государство является не только монопольным хозяином, но и монопольным торговцем. И в этой функции социалистическое государство находится в непримиримом, антагонистическом противоречии с населением. Государство, как монопольный продавец, хочет продавать, как неизбежную при социализме бракованную продукцию в больших количествах, так и продукцию, не пользующуюся спросом населения (социализм никогда не может по причине централизованного плана учесть быстроменяющийся спрос населения). Государство хочет свести ассортимент товаров и услуг к минимальному набору, наиболее примитивных: дешевле и легче производить и распределять. Государство хочет продавать по достаточно высокой цене, чтобы хотя бы покрывать огромные убытки производства. Легко видеть, что личные интересы миллионов населения прямо противоположны интересам государства и это противоречие антагонистически непримиримо. Точно в таком же противоречии находятся интересы государства как монопольного кредитора (банкира) к интересам должников из населения. Так же и в тех случаях, когда население само является кредитором, а государство — монопольным должником: в случаях сбережений населения в государственных монопольных сберегательных кассах. Таким образом, государство в роли монопольного хозяина, монопольного торговца и монопольного банкира находится в непримиримом, антагонистическом противоречии с личными интересами трудящихся и всего населения.

Позитивная программа

Какова же должна быть позитивная программа для государства? Личный интерес людей не может быть ликвидирован. Он является лишь выражением инстинкта самосохра-

нения, без которого человечество давно бы исчезло с лица земли. Существенно, что у трудящихся людей этот личный интерес является еще и реакционным, т. е. противодействующим и прогрессу общества и интересам общества самих трудящихся. Поэтому абсолютно необходимо подчинить личные интересы трудящихся другим, тоже личным интересам, но прогрессивным, созидательным. Представителем такого созидательного личного интереса является предприниматель, капиталист-собственник, движимый, скажем, жадностью и эгоизмом. Однако количественно капиталисты-собственники не только не могут перевесить личные интересы миллионов трудящихся, но даже сбалансировать их. Трудящихся всегда будет в несколько раз больше, чем капиталистов-собственников. (В США, без корпораций и кооперативов, имеется 13 миллионов капиталистов-собственников и около 100 миллионов трудящихся). Поэтому остальную часть силы капиталисту-собственнику должно дать законодательство, направленное именно *против* личных интересов трудящихся (но, следовательно, во имя интересов общества трудящихся). Примером таких необходимых законов являются: "зарплата есть частное дело нанимателя и нанимаемого, никто не имеет права в это вмешиваться"; "цена на товар или услугу есть частное дело покупателя и продавца, никто не имеет права вмешиваться в это дело"; "наем или увольнение работника есть неотделимая компетенция нанимателя".

Любопытно, что, как показывает история, в таких условиях личный эгоистический интерес трудящихся в значительной степени трансформируется в творческий интерес к общему делу (вместе с капиталистом-собственником) и в значительное расширение области действия личного интереса на коллег, на фирму от узости только личной персоны и семьи. Таким образом выигрывает духовная и нравственная сторона жизни общества. Появляется также личный интерес к повышению квалификации, мастерства, к образованию, к культуре, к цивилизации, что безусловно в интересах общества трудящихся и в интересах духовной и нравственной стороны жизни. Легко видеть, что для указанного случая нет никакой необходимости в драконовских социалистических мерах принуждения к добросовестному труду. Таким образом, социализму, рано или поздно, но неизбежно, пред-

стоит очень трудная задача полного собственного разрушения и передачи всего хозяйства страны в частную собственность капиталистов и причисления этих капиталистов-собственников к святому лику трудящихся.

Важно отметить, что любые огромные корпорации являются, по существу, ячейками социализма, так как управляются не капиталистами-собственниками, а наемными директорами точно так же, как и социалистические предприятия. Как и в СССР интересы общества в корпорациях защищаются по долгу службы, а в интересах управителей вздувать себе зарплаты и привилегии. Многие председатели корпораций вздули свои зарплаты до одного миллиона долларов в год, а некоторые добрались и до двух миллионов долларов в год. Никакое воображение не может оправдать такие зарплаты. Поэтому всё вышесказанное относится как к социалистическим предприятиям, так и к огромным корпорациям и даже, вообще, к корпорациям. Это означает, что в Новой России следует предусмотреть действенные законы против такого сорта корпораций.

Легко видеть, что изъятие из рук государства функций хозяина, продавца и банкира чрезвычайно упростит, уменьшит и удешевит государственный аппарат. Это, в свою очередь, приведет к снижению налогов, к резкому уменьшению бюрократизма, очковтирательства, взяточничества и других злоупотреблений. Потребуется, конечно, закрепление в Конституции этого ограничения функций и финансов государства. Однако нужно предусмотреть ограничения власти и капиталистов-собственников. Капиталист-собственник по тем же причинам эгоизма, жадности и личного интереса всегда стремится к росту своего хозяйства вообще и к монополии в частности. Как только он достигает желаемой им монополии, баланс личных интересов трудящихся и капиталистов в пользу интересов общественного процветания тоже исчезает. Монопольный капиталист перестает считаться как с трудящимися-работниками, так и с трудящимися-покупателями. Это нарушение баланса в пользу монополиста в Новой России не должно быть допущено. Это значит, что законодательство должно действительно предотвращать возможность появления *любых* монополий и поддерживать самую

свирепую конкуренцию, как необходимый двигатель прогресса. Нужно, чтобы капиталистов-собственников было как можно больше, а конкуренция между ними была бы тоже как можно больше. Этот возврат к истинной демократии полного свободного рынка товаров, услуг, труда, кредита и предпринимательства обеспечит ликвидацию инфляции, безработицы и обеспечит максимальное материальное и духовное процветание всего населения и всей страны.

Смысл сбалансированного общества следующий. Население страны действует в полную меру своих сил и умения и самостоятельно. Государство обеспечивает лишь общие, совпадающие интересы и, особенно, порядок и законность. В этом случае все неизбежные столкновения многих миллионов личных интересов между собой происходят в массе населения, на нижнем уровне, приводя к компромиссам, а не к катастрофическим потрясениям страны. Нетрудно понять, что такая система самостоятельности граждан в осуществлении их собственной жизни является очень гибкой и легко приспособляющейся ко всем превратностям судьбы без национальных катастроф в пользу общего прогресса и процветания. Централизованная же система, как сейчас на Западе и, тем более, в СССР, скорее погибнет, чем сможет измениться и приспособиться. Да и как мы можем рассчитывать на государство в разрешении наших трудностей? Познакомьтесь с личной жизнью любого, даже "гениального" представителя государства и вы увидите, что он неспособен организовать толком даже свою собственную жизнь, а берется организовывать жизнь многих миллионов людей.

То, что в предлагаемой системе люди будут жить лучше, а не хуже, вытекает из огромной производительной материальной и духовной силы миллионов освобожденных от вредных государственных пут. В обществе Запада неограниченный рост мощи разных объединений и государства (на пути к единовластию социализма) привел к трансформации многих миллионов мелких и незаметных столкновений интересов граждан в небольшое число мощнейших, потрясающих всю страну столкновений интересов колоссальных объединений, включая огромную государственную монополию. В конечном итоге, все страны Запада содрогаются от борьбы трех гигантов: монополь-

ных корпораций, огромных профсоюзов и могущественного государства. Государство же, несмотря на его огромную власть, остается неспособным не только привести всех к организованному сотрудничеству, но даже разрешить возникающие ежедневно огромные социальные конфликты.

Новые идеологические опасности

На Западе есть очень много людей, и в том числе эмигрантов, которые пока живут весьма неплохо и очень довольны жизнью (я — тоже). Поэтому они не имеют стимула заглядывать вперед и не только для себя, но и для своих детей, или, как эмигранты, для передачи опыта в Новую Россию. Поэтому, на их глазах, но для них незаметно, происходит все большая и большая концентрация власти в огромных, прежде всего в финансовых, империях. Эти империи, естественно, не собираются останавливаться в своем развитии, не собираются подавать в отставку или почивать на лаврах. Они продолжают развивать свои успехи, переходя от захвата власти над отдельными государствами к захвату власти над мировыми финансами и устремляясь к цели, которую они называют Новым Мировым Порядком.

В этом Новом Мировом Порядке национальные государства будут для дела высокой организации, высшей справедливости и ликвидации войн (вспоминаете социалистическую идею?) лишены суверенности и подчинены единому международному управлению мировому Политбюро. С международным судом, международной полицией и с международными вооруженными силами для осуществления единой мировой власти и подавления непослушных.

Как это мировое единовластие может быть достигнуто без страшнейших столкновений между конкурирующими гигантами — претендентами на мировую власть, никто не думает. Никто не думает и о том, что именно может сулить простым людям мира Новый Порядок. Кроме того, может ли такая машина, как мировое государственное управление, быть устойчивой? Весь опыт истории и весь опыт науки и техники говорят, что она не может быть устойчивой и даже после ее осуществления приведет

к катастрофам буквально космического порядка. Легко видеть, что Новый Мировой Порядок не имеет ничего общего с содружеством и с сотрудничеством наций. Нации в нем перестанут существовать и юридически, и практически. Огромное многообразие людей, наций, традиций, культур — основа развития и прогресса — превратится в примитивный стандарт "высокой организации" Нового Мирового Порядка. Опасность такой грандиозной утопии велика единственно потому, что массы людей, как будто не могут жить без утопий. Отбросив одну, переходят к другой, еще худшей, каждый раз попадая в колоссальные катастрофы и страдания, к которым утопии неизменно приводят.

Принудительный государственный гуманизм

После явного теперь провала идеи социализма снова и снова возвышают голос так называемые "защитники" бедных и угнетенных. Суть их "защиты" в том, что они имеют в виду не их личную, индивидуальную помощь бедным и угнетенным, а помощь обязательную, государственную, т. е. не за счет своих усилий или денег, а за счет принудительно взимаемых налогов. Конечно, это типичное проявление обычного эгоизма. Кроме того, это противоречит христианской религии, которая требует личной помощи бедным и угнетенным, а не за счет других. Эта идея ничем существенным не отличается от идеи социализма. Идея социализма и имела в виду достигнуть всеобщей справедливости и ликвидации бедности и угнетения с помощью государственных средств. Результат уже известен для половины человечества. Можно не сомневаться, что результат осуществления идеи "защитников" будет тот же самый, т. е. обратный желаемому. Мы уже видели, к чему ведет "защита" трудящихся, "защита" рабочего класса с помощью законов и государства: движение к инфляции, к безработице, к росту нищеты на Западе и рабство в стране реализованного социализма в СССР.

Можно сделать только один вывод. Если вы хотите добра, то не прибегайте к государственной власти (т. е. к насилию) для его осуществления. Делайте его сами, индивидуально, или объединяйтесь с друзьями, с обычными людьми. Следуйте

христианской вере. Судьба бедных и угнетенных будет становиться лучше лишь по мере того, как мы сами будем становиться лучше, добрее, компетентнее. По мере того, как богатство нашей страны растет и в материальном и в духовном смысле. Государственная власть в этом деле может только повредить. Именно поэтому истинная демократия нужна всем нам и, особенно, бедным и угнетенным.

Многоликий человек

Выше я говорил все время о человеке как эгоисте. Действительно, инстинкт самосохранения является необходимым и фундаментальным свойством человека. Тем не менее, прямое выражение этого инстинкта — личный интерес или эгоизм как его несколько более грубая форма, конечно, не представляют полной характеристики человека. Разве нет людей, которые, вообще, не проявляют никакого интереса к окружающему? В то же время, есть люди, которые, где бы ни были, что бы ни делали, всегда проявляют самый живой интерес к окружающему, но только всегда в свою пользу и против других. Таких мы зовем эгоистами. Между этими двумя полюсами эгоизма располагаются тысячи степеней и оттенков личного интереса-эгоизма. В сущности, люди называют человека эгоистом только тогда, когда его личный интерес слишком грубо вылезает наружу (может быть, по глупости). Однако сколько людей добровольно жертвовало своей жизнью для других, проявляя чудеса храбрости и самопожертвования. Иногда даже без всякой надежды быть оцененными потомством.

Человек чрезвычайно многолик. В нем существуют, иногда одновременно, самые противоположные свойства: честность и бесчестие, порядочность и низость, себялюбие и самоотверженность, жестокость и милосердие и т. д. В соответствующих обстоятельствах может проявиться любое из этих свойств.

Конечно, нельзя опровергнуть тот факт, что общественная структура, структура государственной власти способны или подавлять или поощрять дурные свойства человека. Социализм, например, выявляет самые низкие свойства человека со страшной силой, приводя к дегенерации общества. Западные центра-

лизм и монополизм делают то же со значительным успехом, но под флагом якобы заботы о человеке.

Я защищаю подлинную демократию (со строгим ограничением любых крайностей прав и свобод) именно потому, что, будучи приспособлена к факту существования ограниченности разума людей и их эгоизма, она не потребует такой бесчеловечности, как требует социализм, а, наоборот, окажется благодатной почвой для выявления в человеке лучших его созидательных, творческих свойств, выражающихся в сотрудничестве и взаимопонимании.

Мы не должны полагаться на государственную власть в вопросах нашего собственного воспитания и повседневной жизни. Государство должно быть ограничено в своей власти и выполнять только те функции, в которых интересы государства и личные интересы миллионов людей в населении совпадают.

А. Федосеев

РУССКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ НЕОРОМАНТИЗМ, СИМВОЛИЗМ, СКИФССТВО

Русская религиозная, а потому в некоторой степени и мессианическая мысль в течение одного века пережила свой расцвет, отцвет и второе цветение. Эта третья фаза известна под названием "религиозного романтизма"¹ или же "русского духовного ренессанса XX века".² Начало этому положил Вл. Соловьев, завоживший умы и сердца не только литераторов, но и философов. Под его прямым влиянием оказались и такие крупные богословы, как о. Павел Флоренский и о. Сергей Булгаков. Хотя количественно это свежее движение не было широким, качественно оно оказалось весьма значительным, охватив духовную и интеллектуальную элиту русского пре-революционного культурного общества.

В русском неоромантизме, с историософской точки зрения, мы легко опознаем те же темы, которые волновали польских мессианистов XIX века и их современников, носителей идеи "теургического беспокойства". На русской почве, однако, эти идеи получили новое, своеобразное оформление. В этот период, т. е. в начале XX-го века, особенно заметной стала секуляризация религиозности; делались попытки сочетать ее то с культурой древне-русского язычества, то с античной греческой клас-

1. *Прот. В. Зеньковский*, "История русской философии", т. 2-й, стр. 293-330.

2. *Н. Бердяев*, "Русский духовный ренессанс начала XX-го века", "Путь", № 49, 1935.

сикой, то со всякого рода мистикой нецерковного происхождения. У некоторых светских и либерально настроенных мыслителей стал заметен возврат к религии, но еще — не к Церкви; последний пришел уже во время революции и после нее.

В этот период "происходили бурные и быстрые переходы, — пишет Бердяев, — от марксизма к идеализму, от идеализма к православию, от эстетизма и декаденства к мистике и религии, от материализма и позитивизма к метафизике и мистическому мироощущению".³ Одно оставалось по-прежнему: беспочвенность.

Наиболее серьезные мыслители группировались вокруг организованных по инициативе Мережковских "Религиозно-философских собраний". В период от 1901 до 1903 года, когда собрания эти были запрещены по приказу обер-прокурора Победоносцева, состоялось двадцать два заседания. Содержание докладов и прений излагалось на страницах журнала "Новый путь", затем были изданы вошедшие в историю русской мысли сборники "Вехи" и, позже, "Из глубины". Авторам этих сборников мы уделим должное внимание позже, а сейчас отведем место типичным представителям русского религиозного романтизма — Мережковскому и Бердяеву.

Д. С. Мережковский (1865-1940) собственной системы не создал, но его вклад в историю русской религиозной философии, в плане *вдохновения*, оказался значительным. Человек большого литературного дарования, с широкой философской и исторической эрудицией, он в своих трудах затронул множество тем, которые впоследствии развивались другими мыслителями. В какой-то степени он вобрал в себя, как в фокус, все то, чем дышала интеллигентская среда того времени. На характер творчества Мережковского повлияли, несомненно, и некоторые наследственные особенности, и атмосфера, царящая в доме его отца — спирита и оккультиста, и избрание себе подругой жизни даровитой, но со странным религиозным уклоном, Зинаиды Гиппиус.

У Мережковского мы наблюдаем своеобразный дуализм;

3. Там же, стр. 1.

своеобразный потому, что это не было простое различие добра и зла в мире, как равносильных элементов реальности, но некое смешение добра и зла, некая двуликость в этом смысле всякой реальности. Эта тема развивалась Мережковским во многих его трудах, особенно же сильно звучала в его трилогии "Христос и антихрист" (вспомним хотя бы его интересную интерпретацию, в "Леонардо да Винчи", выражения лиц Моны Лизы или Иоанна Крестителя на картине великого художника!). Да и сам Мережковский, в личной жизни, в своих взглядах, как бы двоится. Хотя он и писал: "Я знаю, что в моем вопросе заключается опасность ереси, которую можно было бы назвать, в противоположность аскетизму, ересью астартизма, т. е. не святого соединения, а кощунственного смешения и осквернения духа плотью", но на практике он довольно свободно шел этим путем, отдаляясь от институциональной Церкви. Не объявлял ли он в другом месте: — "Наша борьба не против крови и плоти, а против властей и начальств, против мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных".

Кого же он имел в виду?

"Мироправитель тьмы века сего и есть грядущий на царство мещанин, Грядущий Хам.

У этого Хама в России — три лица.

Первое, настоящее — над нами, лицо самодержавия, мертвый позитивизм казенщины, китайская стена табели о рангах, отделяющая русский народ от русской интеллигенции и русской церкви.

Второе лицо прошлое — рядом с нами, лицо православия, воздающего Кесарю Божие...

Третье лицо будущее — под нами, лицо хамства, идущего снизу — хулиганства, босячества, черной сотни — самое страшное из всех трех лиц.

Эти три начала духовного мещанства соединились против трех начал духовного благородства: против земли, народа — живой плоти, против церкви — живой души, против интеллигенции — живого духа России".⁴

4. Цитирую по книге "Русская религиозно-философская мысль XX века", Сборн. под ред. Н. Полторацкого, Питтсбург, 1975, статья

Как видно — *четвертого* лица, самого страшного, которое действительно пришло и было не только *"над нами"*, *"рядом с нами"* и *"под нами"*, но и *"в нас"* — Мережковский не предугадал.

Формально Мережковский не порывал с Церковью, но, по существу, был вне ее. Ему претили исторически сложившиеся формы церковной жизни и у него хватило дурного вкуса разделять планы Зинаиды Гиппиус о создании Новой Церкви, в которой, по ее признанию, то он, то она — служили сами, без священника, по ею самой созданному тексту "христианскую литургию".

В одном месте Мережковский признает свое фиаско: "(...) мне казалось, что существуют две правды: христианство — правда о небе, и язычество — правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд — полнота религиозной истины. Но, кончая (трилогию "Христос и антихрист", прим. и. Г.), я уже знал, что соединение Христа с Антихристом — кощунственная ложь; я знал, что обе правды — о небе и о земле — уже соединены во Христе Иисусе, Единородном Сыне Божиим, Том Самом, Которого исповедует вселенское христианство, что в Нем, Едином — не только совершенная, но и бесконечно совершаемая, бесконечно растущая истина, и не будет иной, кроме Него" (I, стр. 3).

Каковы же были у Мережковского идеи относительно всемирной истории?

Развивая уже раньше прозвучавшие на Западе схемы трех Заветов, Мережковский формулировал: первый Завет — религия Бога в мире; второй Завет — религия Бога в человеке и третий Завет — религия Бога в человечестве. И, соответственно: воплощение Бога-Отца — это космос; воплощение Бога-Сына — это Логос, и воплощение Бога-Духа — в соединении Логоса с Космосом в едином соборном вселенском Существо это — Бого-человечество.

Такая историософема, будучи плодом диалектико-творческой фантазии, кажется очень привлекательной. Но вывод, сделанный из нее Мережковским, ложен и опасен: — "Для того, чтобы вступить в третий момент, мир должен окончательно

выйти из второго момента; для того, чтобы вступить в религию Духа, мир должен окончательно выйти из религии Сына — из христианства: в настоящее время, в кажущемся отречении от Христа это необходимое выхождение и совершается" (X, 155).

Вот здесь Мережковские и иже с ними попали в сатанинскую ловушку: "выхождение из христианства" как нельзя лучше способствовало пришествию и укреплению на престоле подлинного Хама!

Н. А. Бердяев (1874-1948). Ни у кого среди русских религиозно-философских писателей термин "мессианизм" не встречается так часто, как у Бердяева. Слово это полюбилось ему, и он употреблял его в различных, и, следует признать, не всегда однозначных, контекстах.

То он понимал мессианизм, как чисто иудейское явление и утверждал, что никаких иных мессианизмов быть не может; то он смешивал мессианизм с миссионизмом, хотя сам и объяснял, в других местах, различие этих понятий; то он сам себя называл исповедником "пролетарского мессианизма" и в марксизме находил "широкие и целостные историософические концепции" и "сильные мессианские элементы".⁵

Бердяев оправдывает свое увлечение марксизмом тем, что он обосновывал правду марксизма не материалистически:

"Я всегда был абсолютистом, — писал он, — в отношении к истине, смыслу и ценности (...). Я прошел философскую школу немецкого идеализма и мне представлялась нелепой и ничего не значущей идея о существовании классовой истины или классовой справедливости. Истина и справедливость абсолютны и вкоренены в трансцендентальном сознании, они не социального происхождения. Но существуют психологические и социальные условия, благоприятные или неблагоприятные, для познания человеком истины или для осуществления человеком справедливости. Нет классовой истины, но есть классовая ложь, классовая неправда. И вот я пытался построить теорию, согласно которой психологическое и социальное сознание пролетариата, как класса свободного от греха эксплуатации и эксплуатируемого, максимально совпадает с трансцендентальным сознанием, с

нормами абсолютной истины и справедливости. Таким образом *пролетарский мессианизм* (выделено и. Г.) утверждался не на материалистической почве. Основным был для меня вопрос о соотношении трансцендентального и психологического сознания. Психологическое же сознание для меня определялось экономикой и классовым социальным положением. Я хотел преодолеть релятивизм марксизма и соединить его с верой в абсолютную истину и смысл".⁶

Эта романтическая, надо признать, интерпретация марксизма не пришлась бы по душе самому Карлу Марксу; да и поживи Бердяев несколько дольше и ему пришлось бы убедиться, что организованный рабочий пролетариат еще как может стать эксплуататором!

Увлекался Бердяев в молодости и "трехзаветными" темами... Вообще, следует отметить, что в его трудах усиленно звучат тона профетические, эсхатологические, дидактические и романтические, хотя романтиком он сам себя не считал, разве что в совсем "особом смысле". Что же касается религии, то, после периода увлечения атеизмом, Бердяев вернулся в христианство. Его православие, однако, не было ортодоксальным, если простительно будет употребить такое тавтологическое определение; оно у него было выражением "нового религиозного сознания", не связанного ни со школьной догматикой, ни с традицией, ни со свято-отеческим учением. Свобода во Христе, свободное творчество, учение о богочеловечестве и о божественном кенозисе, рассмотрение трагедии вселенной, как богочеловеческого процесса, особое увлечение персоналистической антропологией, заинтересованность западной мистикой — вот основные ориентиры мирозерцания Бердяева.

Философии истории и экзистенциальной антропологии Бердяев посвятил большинство своих трудов и по этому праву он удобно входит в рамки нашей расширенной дефиниции мессианизма, хотя сам он себя мессианистом в полном смысле этого слова не считал.⁷ Но мессианистом его считали другие.

6. Там же.

7. См. об этом нашу статью в "Голосе Зарубежья", Мюнхен, № 13, 1979.

"Моя мысль всегда была направлена на проблемы, касающиеся философии истории, и ныне эти проблемы занимают меня больше, чем когда бы то ни было", писал он в 1930 году.⁸

О религиозном (а потому и — мессианическом) значении русской историософии он пишет в предисловии к своему труду, посвященному непосредственно этому предмету: "Русская мысль в течение XIX века была более всего занята проблемами философии истории. На построениях философии истории формировалось наше национальное сознание. Не случайно в центре наших духовных интересов стояли споры славянофилов и западников о России и Европе. Еще Чаадаевым и славянофилами была задана русской мысли тема по философии истории, ибо загадка России и ее исторической судьбы была загадкой философии истории. Построение религиозной философии истории есть, по-видимому, призвание русской философской мысли".⁹

У Бердяева историк русского мессианизма найдет много интересных мыслей. Некоторые из них мы изложим ниже. Национализм и мессианизм одновременно и тесно связаны и глубоко противоположны по своей природе. Между ними имеется такое приблизительное соотношение, как между естественной историей и историей человеческой.

"Национализм может быть укреплен на самой позитивной почве, и обосновать его можно биологически. Мессианизм же мыслим только на религиозной почве, и обосновать его можно лишь мистически. Возможно существование многих национализмов... Мессианизм (же) не терпит сосуществования, он — единственный, всегда вселенский по своему призванию. Но мессианизм никогда не отрицает и биологически не истребляет другие национальности, он их спасает, подчиняет своей вселенской идее".¹⁰

8. "О характере русской религиозной мысли XIX века", "Совр. Записки", Париж, 1930, № 42, стр. 309.

9. Н. Бердяев, "Смысл истории", Имка-Пресс, 1969, стр. 5.

10. "Национализм и мессианизм" в сборнике "Судьбы России", стр. 102-103.

Употребляя другое сравнение можно провести между национализмом и мессианизмом аналогию соотношения между рождением физическим и рождением в духе — крещением. Мессианизм типа иудейского стал невозможен в христианском мире. Хотя попытки осуществления такого мессианизма делались и, вероятно, будут еще делаться, но они обречены на неудачу. Вот как обосновывает это утверждение сам Бердяев: — “Христос пришел для всех народов и все народы имеют перед судом христианского сознания свою судьбу и свой удел... Христианство есть окончательное утверждение единства человечества, духа человечности и всемирности... Христианский мессианизм должен быть очищен от всего нехристианского, от национальной гордости и самомнения, от *сбивания на путь старого еврейского мессианизма*, с одной стороны, и нового исключительного национализма — с другой”.¹¹

Нельзя не согласиться с этой формулировкой! Как жаль, что польские мессианисты как-то просмотрели то, что сказано было о мессианизме в русской литературе. Ведь это так близко, так сродни лучшим мессианическим вариантам, известным нам из польской литературы, особенно же — XIX-го века. Это подчеркнул и сам Бердяев: “...мессианизм русский, — писал он, — если видеть в нем стихию чисто мессианскую, — по преимуществу апокалипсический, обращенный к явлению Христа Грядущего и его антипода — антихриста. Это было в нашем расколе, в мистическом сектанстве и у такого русского национального гения, как Достоевский, и этим окрашены наши религиозно-философские искания... Апокалипсичностью запечатлен и мессианизм польский, и это обнаруживает духовную природу славянской расы”.¹²

Укажем, в этой связи, на сильное влияние русского славянофильского мессианизма на мировоззрение Адама Мицкевича!

“В христианской истории нет одного избранного народа Божьего, но разные народы и в разное время избираются для великой миссии, для откровения духа... В России давно уже нарождалось пророческое чувство того, что наступает час истории, когда она будет призвана для великих откровений духа,

11. “Душа России”, там же, стр. 20-21.

12. “Национализм и мессианизм”, стр. 103-104.

когда центр мировой духовной жизни будет в ней. Это не еврейский мессианизм. Такое пророческое чувство не исключает великого избрания и предназначения других народов; оно есть лишь продолжение и восполнение дел, сотворенных всеми народами христианского мира".¹³

Совсем знакомо звучат там же помещенные слова Бердяева о том, что на смену латинской и германской культуры идет новая эпоха, в которой новое слово назначено Промыслом сказать славянским народам: "Славянская раса, во главе которой стоит Россия... идет на смену другим расам, уже сыгравшим свою роль, уже клонящимся к упадку".¹⁴ Об этом уже писал И. М. Гознэ-Вронский, а слова Бердяева, что подлинный мессианизм есть "эзотерическая глубина чистого, здорового и положительного национализма, есть безумный духовно-творческий порыв" — это уже от Мицкевича!

Свою философию истории Бердяев исчерпывающе изложил в книге "Смысл истории". Она сводится к идее, что история человечества начинается *до* и *вне* времени, в абсолюте и, в конце концов, в нем и завершится. История — это "инволюция" богочеловечества в область времени и пространства. Относительно же того, как Бердяев проецирует "русскую идею", т. е. роль России, на эту всемирно-историческую канву, то надо признать, как это ни странно бы не звучало, что он не создал своей собственной окончательной концепции "творческо-национальной" программы, не определил *историософской* роли России "ин конкрито".

Вот что пишет один из исследователей историософии Бердяева: "...Бердяев говорит то о русской идее, то о русской мысли, то о русской теме, то о свойстве, судьбе, призвании, стремлении, искании, ожидании и т. д. Иногда Бердяев пишет об основной направленности русского народа, иногда об его умопостигаемом образе, иногда об его характере и призвании, иногда о Божьем замысле о народе, иногда об идее русского народа. Наконец, Бердяев говорит то об образе России, то о лике Рос-

13. "Душа России", стр. 21.

14. "Национализм и мессианизм", стр. 106-107.

сии, то о пути России, то об идее России...".¹⁵

Из этого множества нюансов читатель должен сам сделать соответственный вывод о "Русской идее" Бердяева. Но сделать это нелегко, если вообще возможно: ведь Бердяев часто высказывал разные мысли об одном и том же. Н. Полторацкий, автор вышеприведенных строк, подсказывает выход: не следует искать в творениях Бердяева *объективной* истины или программы о России, ибо то, за что он выдает "русскую идею", есть не что иное, как *бердяевская концепция* того, во что *может вылиться русская идея*. И тезис этот Полторацкий доказывает сопоставлением соответственных цитат из трудов Бердяева, произведенным с поистине компьютерной тщательностью.

Свою "русскую идею" Бердяев противопоставляет идеям римской и германской и производной от них идее атеистического социализма. Если, согласно Бердяеву, германская идея выражается в стремлении к господству, преобладанию и могуществу, а римская — в стремлении к принудительному устройству царства земного, то русская идея отличается "коммюнитарностью", свободой духа, братской любовью к другим народам. Но, вследствие присущей русскому народу "антиномичности" и "полярности", осуществление русской идеи не происходит планомерно и равномерно; напротив, ей присущи "подмены" и "искажения", "срывы и регрессы", в которых русский народ может осуществлять идеологические реальности совсем противоположные его природе.

В этой связи отметим некоторые характерные параллелизмы, напоминающие нам уже известные мессианические тезисы, прозвучавшие, "мутатис мутандис", на Западе: — "Более всего русская идея (есть) *ожидание*, не всегда открыто выраженное, *новой эпохи в христианстве*, эпохи Св. Духа".¹⁶ Русский народ, родившийся и формировавшийся на перекрестке между Западом и Востоком, призван включить в себя оба эти гетерогенные влияния и произвести их синтез. Миссия России заключается в том, чтобы быть посредницей между Востоком и Западом, осуществить славянофильскую мечту в единении с западной

15. Н. П. Полторацкий. "Бердяев и Россия", 1967, стр. 174.

16. Там же, стр. 194.

культурой и в претворении ее в свою плоть и кровь: Восточные и русские начала должны быть восполнены Западными и культурными. Иначе Россию ждет гибель и разложение".¹⁷

Но для всего этого, говорит Бердяев, русскому народу еще не хватает достаточных бытийных основ, он сам раздвоен, ему надо еще исторически воспитаться, чтобы стать самостоятельным историософическим деятелем. Однако все то, посредством чего такое воспитание может осуществиться, т. е. организация, методичность, дисциплина и т. п., претит духу самого Бердяева, который отвергает их, как "обыдёнщину", как порабощающую дух "объективацию", как ненавистный ему "позитивизм"... и Бердяев уже сам летит на эсхатологических крыльях к "прорыву" в истории, к мета-историческому Царствию Божию.

Бердяев-эсхатолог одержал верх, в конце концов, над Бердяевым-историософом.



Русский религиозный неоромантизм находится в некоей генетической связи с теми явлениями русской культуры, вернее — литературы, которые известны под названиями "символизма", "скифства" и, да простится нам несколько неуклюжий неологизм — "китежградничества". В творениях соответственных писателей мы найдем некие элементы мессианистического направления, которые и отметим, вкратце, ниже. Историософских доктрин эти "культуртрегеры серебряного века" не создали, но, несомненно, влияли на ту *атмосферу*, в которой образовывалась новая эпоха русской истории.

Максимилиан Волошин (1877-1932) исходил из двух основных историософских предпосылок: 1) как камень, брошенный в воду, вызывает центробежное и волнообразное движение, так и историческое явление периодически перевоплощается в более широком масштабе; 2) народные катастрофы, бедствия и страдания имеют промыслительное значение.

Первая предпосылка выражена, между прочим, в следующих стихах Волошина:

17. "Духовный кризис интеллигенции", Введение, стр. 9-10.

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах — дух самодержавья,
Взрывы революции — в царях.¹⁸

И дальше:

...Есть дух истории — безликий и глухой,
Что действует помимо нашей воли,
Что направлял топор и мысль Петра;
Что вынудил мужицкую Россию
За три столетья сделать перегон
От берегов Балтийских до Аляски.
И тот же дух ведет большевиков
Исконными народными путями.¹⁹

Относительно второй предпосылки: смысл страданий русского народа следует усмотреть, по аналогии с жизненной трагедией Иова Многострадального, в их очищающей силе. Недаром эпитафией к одному из своих стихотворений Волошин поставил слова протопопы Аввакума: "Выпросил у Бога светлую Россию Сатана, да очервленит ю кровью мученической" ("Ангел мщения"). Страдания — как огонь, сжигающий нечистоты, как соль или иод, прижигающий раны для их врачевания.

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидевшей любви,
Из преступлений, иступлений
*Возникнет праведная Русь.*²⁰
Так семя, дабы прорасти,
Должно истлеть...

Истлей, Россия,
И царством Духа расцвети.²¹

18. "Пути России", Эхо, 1969. Сборн. ст., стр. 44.

19. "Недра", Нр. 6 (1925), стр. 71-79.

20. "Пути России", стр. 56.

21. "Демоны глухонемые", 1923, стр. 40-42.

Волошин не только проводит аналогию между страстями Господними и страданием России, но в какой-то степени оправдывает и "праведный грех", ибо подобает и русскому народу "части воспрять Христовой от грешников и от блудниц".²² Корни русской революции Волошин усматривал в том, что правительства, будь то восточно-деспотического образца — "...В тиши ночей звездяных и морозных, / Как лютый крестовик-паук, / Москва пряла при Темных и при Грозных / Свой тесный, безысходный круг"²³, — будь то западно-абсолютистского образца ("В смеси кровей Голштинской с Вюртембергской / Отстаивался русский трон"²⁴), травмировали свято-русскую энтелехию русской истории:

Ни Сергиев, ни Оптиная, ни Саров
Народный не уймут костер.
Они уйдут, спасаясь от пожаров,
На дно серебряных озер.
Так отданная на поток татарам
Святая Киевская Русь
Ушла с земли, укрывшись Светояром.²⁵

Но для того, чтобы воскреснуть, нужно, как Христос, сперва принять смерть. И вот надежда воскресения звучит в мессианических словах:

России нет — она себя сожгла,
Но Славия воссветится из пепла!²⁶

А. А. Блок (1880-1921). Историософские идеи Блока напоминают, в общих чертах, идеи Шпенглера, но о влиянии второго на первого говорить не приходится: основной труд Шпенглера "Закат Запада" был ведь издан в июле 1918 года, сравнительно незадолго до безвременной кончины поэта. Историософия Блока — это от Н. Данилевского, книги которого были изданы в

22. "Пути России", стр. 40.

23. "Русское обозрение", № 3-4, стр. 79-80.

24. Там же, стр. 80.

25. Там же, стр. 79.

26. "Демоны глухонемые", стр. 35-36.

семидесятих годах прошлого столетия.²⁷ Основная мысль, поразившая Блока, сводится к следующему: каждая культура имеет свои органические периоды жизни — рождение, юность, зрелые годы и старость. Отвечу культуры (зрелые годы) следует период цивилизации, завершающийся либо естественным распадом, либо переходящий в состояние окаменения-склероза, который может длиться неопределенно долгое время, пока какой-нибудь юный, варварский народ не нанесет "ку дэ грас" дряхлому организму.

Блоку виделось, что таким варварским, у него — *скифским*, народом является Россия, и что этим скифо-руссам суждено расчистить поле "загнившей Европы" для посева новой культуры. Для этого и сама Россия должна скинуть оковы исторически, под западным влиянием сложившегося быта, и поэтому Блок приветствовал русскую революцию, в которой, как в "немощи промыслительная сила Божья совершается". Так следовало бы понимать его прославленную поэму "Двенадцать".

27. В книге П. Сорокина "Современные исторические и социальные философии" (англ.), Изд-во Довер, Нью-Йорк, 1963, в примечаниях на стр. 329, сказано: "Остается неизвестным, знаком ли был Шпенглер с трудами Данилевского или нет. Он не упоминает о них в своих трудах. Но он был знаком, и упоминает об этом, с трудами С. и И. Аксаковых, а те были славянофилами, интеллектуальным вождем которых был Данилевский. Профессор Московского университета Шпет, посетивший Шпенглера в 1921 году, рассказал мне, что в то время он видел книгу Данилевского в библиотеке Шпенглера".

С другой стороны, сообщает П. Сорокин там же, Шпенглер мог заимствовать эти идеи от Гете, об историософии которого сам Шпенглер выражался с восторгом в том смысле, что мысли Гете столь современны, что ему не пришлось бы добавить к ним ни одного нового слова. П. Сорокин добавляет, что органистические теории культуры и циклическая интерпретация социокультурных процессов, схожие с учениями Данилевского и Шпенглера, восходят к древнему Китаю, к древним индусским, иранским и греко-римским концепциям, которые были известны Шпенглеру.

Но, судя по всем данным, Блок перед смертью в этой концепции разочаровался.

Андрей Белый (1880-1934), исключительно талантливый писатель, был человеком противоречивым в своей собственной, личной жизни. Наследственность, нездоровая атмосфера в доме отца, в которой проходило детство и юношество, а затем и среда, в которую он вошел молодым человеком, все это отразилось на его мировоззрении. Затем — влияние Вл. Соловьева с его символизмом, и... Белый с головой окунается в стихию антропософии Штейнера. Возвращение в Россию, чуть ли не побег обратно в Германию, годы, проведенные там в каком-то угаре, в одержимости (несчастливо сложившаяся личная жизнь, расхождения с "мэтром" Штейнером и т. п.), затем странное возвращение в Советский Союз и попытка приладиться к новой жизни, в конце концов завершившаяся провалом...²⁸

Символизм был воспринят Белым, как мировоззренческое "сочетание противоположностей", или, как это определил В. Ходасевич — "совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правды в неправде, может быть — добра в зле и зла в добре".²⁹ Так сочетались в нем две идеи: теургическое соработничество с Богом на ниве Христовой (от Соловьева) и революционное преобразование мира (от Штейнера). Белый приветствовал обе революции: и Февральскую, и Октябрьскую. Последнюю он воспел величественной поэмой "Христос Воскресе", в которой проводится параллель между событиями в жизни Иисуса Христа и смыслом исторических катастроф вообще. Ужасы, связанные с революцией в ее начальной стадии, Белый сравнивает с грязью первой водяной струи пробуравленного артезианского колодца. Нет нужды плакать и "посыпать пеплом власы" над погибающей Россией: совершается ведь "мировая мистерия", в которой "Покойник" (Россия), распятая, как Христос, возродится, как "невеста", как "богоносица, побеждающая змия".³⁰

28. См. интересные воспоминания о А. Белом в книге В. Ходасевича "Некрополь", 1976.

29. Там же, стр. 66.

30. "Христос Воскресе", "Стихотворения", 1923.

Скифство. Между символизмом, неоромантизмом и скифством имеется некая генетическая связь. Название этому направлению дал Блок, непосредственно же оно является производным от литературного сборника "Скифы" (1917-1918), в котором сотрудничали: Иванов-Разумник, Е. Лундберг, С. Мстиславский, Сергей Есенин, Николай Клюев, Е. Замятин и, само собой разумеется, А. Блок и А. Белый. В скифстве мессианизм теряет уже свои христианские черты и принимает черты языческие. Его два основных ориентира: "ад экстра" — нанести смертельный удар дряхлой Европе; "ад интра" — апофеоз революционности... Приведем характерную цитату из *Н. Клюева*:

Мы рать солнценосцев
На пупе земном
Воздвигнем стобашенный, пламенный дом;
Китай и Европа и Север и Юг
Сойдутся в чертог хороводом подруг,
Чтоб бездну с Зенитом в одно сочетать,
Им Бог — восприемник, *Россия же мать*.³¹

С. Есенин расценивал русскую революцию как нечто вроде распахки целины, которая, сдобренная кровью и разровненная нигилистической бороной, возрастит ниву — Русь мужицкую. В его творениях часто встречается триадическая символика, перекликающаяся с древними гностическими концепциями "зонных сизигий". И он, ясное дело, вторит в отношении остального мира, что "спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы. Нужен поход на Европу".³² В поэме "Инония" Есенин дает волю своим кощунственным порывам, но его религиозный нигилизм со временем исчезает.

Е. Лундберг, один из издателей "Скифов", положительную роль русской революции видел в ее разрушительной силе, а *Иванов-Разумник* писал: "Да, на Руси крутит огненный вихрь. В вихре сор, в вихре пыль, в вихре смрад. Вихрь несет весенние

31. "Песнь солнценосца", Собр. соч., т. I, стр. 463-465.

32. Собр. соч., т.5, стр. 107.

семена. Вихрь на Запад летит. Старый Запад закрутит, завьет наш скифский вихрь. Перевернется весь мир".³³

Это всего лишь несколько примеров того, что волновало умы наиболее известных писателей. Отметим еще не мессианизм, а *антимессианизм* Валерия Брюсова, враждебного христианству и чающего пришествия антихриста. В революции он видел логическое завершение исторического прошлого России:

Ты постиг ли, ты почувствовал ли,
Что, как звезды на заре,
Парки древние присутствовали
В день крестильный в Октябре?
Нити длинные, свивавшиеся
От Ивана Калиты
В тьме столетий затерявшиеся
Были в узел завиты.³⁴

Была ли психически полубольной лишь литературная элита русского общества? К сожалению — этой болезнью была заражена, накануне революции, бóльшая часть общества, особенно — общества обеих столиц. Ну, а как было с основной массой не общества, а "народа"? И народ отравлялся ядовитой закваской, хотя и по иным каналам. Как стакан нефти может испортить огромный резервуар питьевой воды, так и в народе — в общем процентном отношении, может быть, и не такая уж многочисленная группа сектантов различного толка подтачивала народный организм снизу. Эту массовую заразу можно было бы условно назвать "хилиастическим социализмом". Такие "эпидемические заболевания" этот вирус вызывал не только в России, но и во всем свете, в различные периоды человеческой истории. Это хорошо показано в книге И. Шафаревича "Социализм как явление мировой истории".

Уже в древней Греции появились сочинения, излагающие основы "нового" мировоззрения. Сюда следует отнести коме-

33. "Скифы", Сборник I, стр. 231.

34. Собр. соч., т. 3, стр. 50.

дию Аристофана "Законодательницы" (392 г. до Р. Х.) и другие сочинения, дошедшие до нашего времени в пересказах и цитатах. В раннем христианстве (конец I-го века) образовалась секта николаитов, затем появились гностические секты (напр., карпократиан — во II-м веке), затем — манихейская ересь со всеми разновидностями либертинистического направления; в средневековье — движение катаров, секты "Братьев свободного духа" и "Апостольских братьев", табориты, адамиты, анабаптисты, альбигойцы... На юго-востоке, в Болгарии, поп Богомил создал еретическое движение, нашедшее широкий отклик почти во всей Европе: эта ересь была весьма схожа с ересями новациан и манихейцев, а некоторые историки выводят движение катаров из этого источника. Когда в XIV веке Балканский полуостров был занят турками, в Россию проникло много беженцев, болгар и сербов, и вместе с ними на Русь проникло и богомилство. Его семена обрели в русском народе, по различным причинам, благоприятную почву. Хилястические тона звучали и в старообрядчестве, и в хлыстовстве, и в духоборчестве. Своеобразный анархизм — борьба против государства и институциональной Церкви — была наиболее характерной чертой этих движений. Ожидание очистительной катастрофы, в которой, как в огне, должно сгореть все старое, греховное... Различных сектантов не было так уж мало: официальные источники говорят о многих миллионах этих естественных, до поры до времени, союзников революции.

Повторяющиеся эпидемии такого рода в истории человечества можно объяснять так, как это делает Шафаревич: экология не терпит чрезмерного и постоянного развития *одного* вида живых существ, поэтому в природу соборного человека заложен инстинкт смерти, самоуничтожения, входящий в действие спорадически, когда этому настанет время... В отнесении к России можно сказать, что народная стихия "чувствовала" приближающуюся катастрофу; выразителями этого смутного, коллективного чувствования были отдельные мыслители, литераторы, художники; они *формулировали* эти подспудные эмоции, а их "формулировки" обратно ниспадали в народную массу, усиливая потенциал "заряженности"...

Выражаясь формулами Арнольда Тойнби можно сказать, что русский народ переставал давать правильные ответы

(responses) на историософские позывы (challenges). Разве что по Божественному замыслу именно русскому народу предназначено было создать иммунную среду на коммунистический вирус, или, выражаясь в мессианистических категориях, — взять на себя кенотическую миссию "водительства наизнанку".

Игумен Г. Эйкалович

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

РОМАН ЯКОБСОН

1896-1982

18 июля 1982 года научный мир потерял Романа Якобсона, профессора отделения лингвистики и философии Массачусетского Технологического Института, бывшего Сэмюэл Х. Кросс профессора славянских языков и литератур в Гарвардском Университете, почетного доктора более двадцати академических учреждений, одного из основателей Пражского лингвистического кружка, корифея структурной лингвистики и поэтики, основоположника современной семиотики.

Роман Якобсон получил общее образование в Лазаревском Институте Восточных Языков в Москве, степень магистра в Московском Университете и степень доктора в Пражском Университете. Он был некоторое время связан с московским литературным кружком ОПОЯЗ и движением русских футуристов. Позднее Якобсон, как и многие выдающиеся деятели русской культуры, переселился в Чехословакию.

В начале тридцатых годов Якобсон стал главой кафедры русской филологии в Университете в Брно. В то же время он оказывал большое влияние на научный и художественный мир Праги, принимая участие в деятельности основанного там лингвистического кружка (поддержанного президентом Масариком), проводя разносторонние исследования в области славянского стиха, фольклора, чешской поэзии средних веков, и прежде всего развивая передовые идеи в науке о языке, которые принесли ему международное признание и способствовали превра-

шению Пражского лингвистического кружка в ведущий центр современного языкознания.

Перед началом второй мировой войны Якобсон переселился в Данию, затем в Норвегию; после того как Норвегия была оккупирована немцами — в Швецию. Здесь он некоторое время преподавал в Упсальском Университете и написал одну из своих замечательных работ по языку детей, афазии и общим законам фонологии. В 1946 году ему было предоставлено место профессора в *École Libre des Hautes Études*, а вскоре в Колумбийском Университете, где его блестящие лекции по славянской лингвистике и филологии привлекли и сформировали новое поколение американских славистов. В 1949 году Якобсон со многими своими аспирантами переехал из Колумбии в Гарвард, который тем самым на много лет стал главным центром американского славяноведения. Годы в Гарварде (1949-1967) были вершиной научной биографии Якобсона. В это время его труды оказали решающее воздействие на мировую лингвистику и поэтику, а также на целый ряд наук, связанных с языком. Выйдя в отставку, Якобсон получил пожизненное место в Массачусетском Технологическом Институте и продолжал читать лекции в различных университетах Америки, Европы и Японии. Он поддерживал оживленную переписку и личные связи с учеными, работающими в разнообразных областях (биологии, антропологии, истории искусства, философии, неврологии), и внимательно следил за их новейшими достижениями. До последних дней жизни он занимался исследовательской работой. Всего им написано более шестисот научных трудов, из них около пятнадцати в 1981-82 годах.

Его главные работы содержатся в 7-ми томах "Избранных произведений" (1960-1982).

Вклад Якобсона в современную лингвистику отмечен не только глубиной, исключительной оригинальностью и фундаментальностью воззрений на природу языка, но и поразительным разнообразием. Исследование русского языка, которым он начал заниматься в Московском Университете под руководством Шахматова, оставалось в центре его славяноведческих интересов, но он также успешно работал в области всех остальных славянских языков и практически владел многими из них. Как фонолог и исследователь поэзии, он превос-

ходно знал огромное число разных языков и в подробностях изучил столь "экзотические" из них, как палеосибирские (эскимосский, камчадалский). Его одинаково привлекала словесная вязь фольклорной и средневековой славянской поэзии и творчество Пушкина, Маяковского, Пастернака, Махи, Норвида, Шекспира или Бодлера, поэтическому мастерству которых он посвятил некоторые из своих наиболее тонких и влиятельных работ. Его труды по *Слову о полку Игореве* и по церковно-славянским стихам — великолепные образцы текстуальной критики в области славяноведения. Исследования речевой патологии и языка детей были для него необходимым дополнением к исследованию обычного, "взрослого" языка, а занятия социальной и территориальной дифференциацией языков — необходимой предпосылкой к занятиям языковыми универсалиями. Он с живейшим интересом следил за новыми работами в области физиологии мозга, которые, по-видимому, подтверждали его гипотезы о взаимодействии словесных, несловесных и художественных параметров человеческого разума. Его труды по истории лингвистической мысли (включая некрологи и портреты лингвистов) несут на себе печать огромной эрудиции, умения выделять существенное и уважения к традициям науки. В этом отношении особенно интересна его работа о казанской лингвистической школе и статья о средневековом языкознании, посвященная коллеге и другу Эмилю Бенвенисту.

Основная нить, пронизывавшая все труды Якобсона и руководившая всей его многолетней деятельностью ученого и педагога — поиск общих принципов языка (или, по его любимому выражению, "номотетического" характера языка). Роман Якобсон не был "отцом современного языкознания", как это иногда утверждают; но он несомненно был наиболее глубоким, систематичным и ярким его выразителем и представителем. Основываясь на взглядах двух родоначальников современного структурализма, — швейцарца Фердинанда де Соссюра и поляка Яна Бодуэна де Куртенэ, — он придал необходимую четкость и связность их теориям, нередко носившим приблизительный и непоследовательный характер, и превратил языкознание в общепризнанную научную дисциплину, наиболее строгую из всех гуманитарных наук. Вместе со своим другом кн. Н. С. Трубецким он заложил основы современной фонологии, считая,

что исследование звукового уровня языка, отличающегося существенной простотой и обозримостью, может стать "методологической моделью для всех других сфер лингвистического анализа". Якобсон утверждал, что под видимым разнообразием порождаемых и воспринимаемых звуков речи скрыто конечное множество инвариантных фонетических характеристик (так называемых "дифференциальных признаков"), которые являются строительными блоками языка и которые выступают (с более или менее предсказуемыми вариациями) во всех естественных языках и на любой ступени их исторического развития. Дифференциальный и реляционный характер этих признаков является предпосылкой использования языка как средства коммуникации, поскольку коммуникация есть несомненно наиболее существенная функция языка в качестве инструмента познания и человеческого взаимодействия.

Поиск дифференциальных признаков, иерархически организованных и обладающих универсальным или почти универсальным, характером, был присущ также якобсоновскому анализу других уровней языка. Это вело его к исследованию природы и функционирования всех словесных и несловесных знаков, обеспечивающих общественную коммуникацию. Изучая разнообразные функции знаков и словесных текстов, он с необходимостью пришел к анализу той специфической организации языкового материала, с которой мы сталкиваемся в искусстве слова (следует сказать, что эти проблемы интересовали Якобсона с первых дней его научной деятельности). Именно Якобсон — более чем кто-либо из современных лингвистов — раскрыл в своих теоретических и аналитических работах неразрывную связь между языком и поэзией; именно он настаивал на том, что литературоведение, не принимающее во внимание эстетических операций над словесным материалом, оказывается "вопиющей аномалией".

Исключительное положение Якобсона в современном языкознании определяется не только его трудами, но в равной мере его педагогическим обликом.

Якобсон не был замкнутым кабинетным ученым. Он поддерживал оживленные и теплые отношения со своими коллегами и учениками, которых он заражал своей любовью к цен-

ностям науки и к самому процессу научного познания. Поколения студентов, друзей и случайных собеседников восхищались его умением ценить любое верное наблюдение или открытие, сколь малым оно бы ни казалось, его снисходительностью к ошибкам, его тонким и непревзойденным остроумием. Его научное наследие будет жить не только в его трудах, но и в его учениках, и в учениках его учеников.

Э. Станкевич

НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВИЧ АНДРЕЕВ 1908-1982

Внезапная кончина покойного историка 25 февраля с. г. лишила всех друзей русской культуры и научный мир писателя редких качеств. Его многолетняя деятельность как литературного критика заслуживает особой оценки. Я ограничусь оценкой заслуг Н. Е. Андреева в области, являющейся и моей специальностью, истории древней Руси. В своих многочисленных и ярких работах, посвящённых в особенности XVI-му столетию, он дал новое и оригинальное решение целому ряду важных и сложных проблем.

Живой ум Николая Ефремовича и его большие исторические познания делали интересным всё, к чему он прикасался, и все его статьи и рецензии заключают мысли и замечания, полные научной свежести и интереса. Но наиболее ценны его труды в двух областях — одна из них это иконография, а в особенности иконопись, как исторический документ, свидетельствующий о политических и религиозных идеях. В связи с этим он сосредоточил своё внимание на деятельности Ивана Михайловича Висковатого, печатника Ивана IV.

Вторая область — это история Псково-Печерского монастыря, и на этом фоне история знаменитого послания старца Филофея о Москве как "Третьем Риме" и происхождение писем Курбского Вассиану Муромцеву. Из 14 статей, составляющих сборник статей Н. Е. Андреева, 12 посвящены этим двум

областям и пяти темам. Их отличают исчерпывающий и проникновенный анализ первоисточников, как литературных, так и иконописных, анализ, который привёл Николая Ефремовича к весьма важным выводам и поправкам до того принятых положений. Среди них особенно выделяются своим значением соображения об авторстве интерполяций в Синодальной рукописи Никоновской летописи, приписываемой Андреевым дьяку Висковатому (а не самому Ивану Грозному). Покойный историк также неопровержимо доказал, что Псково-Печерский монастырь не был, как предполагалось, оплотом нестяжателей, а, наоборот, центром московского благочестия. Упомянуть также следует две важные хронологические поправки. Во-первых, дата писем Курбского Вассиану Муромцеву, которую Андреев относит к периоду *до* побега Курбского, между декабрём 1563 г. и апрелем 1564 г. (а не уже *после* побега). Во-вторых, датировки послания инока Филофея, написанного, по Андрееву, не в царствование Ивана IV, а около 1500 г. для Ивана III. Уже после появления сборника статей, в 1975 г., в длинной статье "О характере третьей Псковской летописи" Андреев установил, что её автором не был, как утверждал А. Н. Насонов, игумен Корнилий, горячий сторонник Москвы, но, что ввиду антимосковской тенденции летописи, вплоть до событий 1556 г., это мог быть только автор "из рядов псковского белого духовенства".

Среди научных заслуг Н. Е. Андреева есть также прекрасный анализ известного тезиса Э. Л. Кинана об апокрифичности корреспонденции Курбского с Иваном Грозным (обоих её участников). Анализ этот был содержанием статьи под заглавием "Мнимая тема" в "Новом журнале" (№ 109, 1972 г.). В статье этой, исследуя, между прочим, содержание первого письма Курбского по сравнению с Плачем Исайи Каменец-Подольского в их историческом контексте, Андреев доказывает, что общность текстов этих двух документов свидетельствует не о заимствовании автором письма Курбского из Плача, но, наоборот, о заимствовании Исайей текста письма Курбского. Аргумент Кинана, что Курбский не мог быть его автором (ибо текст Плача более поздний, 1566 г.) и что первое письмо Курбского это подлог XVII столетия, отпадает, таким образом, сам собой. Этот замечательный сравнительный анализ опровергнут быть не мог.

Всё вышеуказанное показывает творческий характер ума Николая Ефремовича как историка допетровской Руси. Это было не только богатство идей. Научная работа Николая Ефремовича основывалась на строгом и точном методологическом подходе, на глубоком знании древне русского языка и источников и на большой исследовательской дисциплине. Он готовил большую синтетическую работу, которая дала бы полную картину культурной жизни Московской Руси в XVI-м столетии во всём её развитии. У него была редкая комбинация качеств для исполнения этой задачи. Его кончина оборвала эту работу. О том, чего научный мир лишился, свидетельствуют его статьи, рецензии и яркая память о его красноречивых лекциях. Ибо лектор он был редкой силы, как о том свидетельствуют все те, кто его слышал, как студенты, так и широкая русская публика.

Николай Ефремович принадлежал к первому поколению русских историков, учившихся и формировавшихся у дореволюционных учёных, но уже вне России. Это были, прежде всего, русские высшие учебные заведения и научные учреждения в Праге. Н. Е. Андреев рос и развивался как учёный под прямым влиянием дореволюционной русской научной традиции. Параллельную формировку он получил в чешском Карловом университете, с его собственной строгой методологической традицией средне-европейского типа в области филологии и истории. Успех Николая Ефремовича как учёного нужно приписать (кроме, конечно, его собственных качеств) совместному воздействию этого двойного научного и культурного наследия. Нельзя при этом забывать, что в двадцатые годы нашего столетия Прагу справедливо считали Меккой славистики, вообще, и занятий по России, в частности. В этом отношении Николаю Ефремовичу очень повезло, ибо он мог учиться у учёных очень высокой компетенции и калибра. Среди них, достаточно привести имена чехов Нидерле, Мурко, Вейегарта и русских Кизеветтера, Острогорского, Савицкого, Кондакова, Толля. С Кондаковым и Толлем Николай Ефремович был особенно связан по своей деятельности в Кондаковском институте, продолжавшейся с 1928 по 1945 год. Для Кондаковского института он участвовал в 1937 и 1938 годах в археографической (и археологической) поездке в Псково-Печерский монастырь, где им были собраны новые важ-

ные материалы, которые он потом использовал в своих научных работах. Во время немецкой оккупации Н. Е. Андреев, как руководитель института, успешно оберегал его независимость от натиска не только немецких властей, но и русских элементов, сотрудничавших с немцами. Много исключительного такта и находчивости он проявил к этом опасном положении, и рассказы его об этом (а рассказчик он был замечательный!) оставляли неизгладимое впечатление.

Приход советских войск в Прагу привёл к аресту Н. Е. Андреева Смершем. Он провёл два года и три месяца в пяти советских тюрьмах и одном лагере. После освобождения (которое он считал чудодейственным) он мог уехать в Берлин, и там он получил из Кэмбриджского университета приглашение занять преподавательский пост. С 1947 года и до его преждевременной кончины местом его деятельности был Кэмбридж, и там мы подружились 14 лет тому назад. У нас было столько общих интересов и общих точек зрения, что всякая моя поездка в Англию неизменно сопровождалась визитом к Андреевым и несколькими днями наших длительных разговоров.

Собеседник он был на редкость увлекательный и слушать его рассказы было наслаждением. А из своей богатой жизни он мог извлечь много рассказов. Многое о ней он продиктовал своей дочери Екатерине Николаевне, и, нужно надеяться, что эти воспоминания появятся в печати в скором времени.

Из того, что нас объединяло, я хотел бы особенно подчеркнуть нашу общую принадлежность к той же исторической школе. Это классическая школа русской историографии, восходящая к С. М. Соловьёву в середине прошлого столетия и всё ещё дающая плоды в России и за рубежом и в наше время. Покойный Николай Ефремович займёт почётное место в этой традиции, и ей, кроме его личных редких научных качеств, следует приписать его большие заслуги. Последние его годы были омрачены физическими страданиями, но трогательно было видеть, как он продолжал работать до последнего момента, несмотря на всё, с самоотверженной помощью его супруги и дочери, избравшей своей научной специальностью тоже историю России и успешно работающей на этом поприще.

Ушёл прекрасный русский человек, необыкновенно одарён-

ный представитель русской интеллигенции, проницательный и талантливый историк. Для многих из нас, его друзей и коллег, это невозместимая потеря.

Марк Шефтель

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

РУССКИЕ УЧЕНЫЕ ВО ФРАНЦИИ В 20-30-тые ГОДЫ (Р. Гуль, "Я унес Россию", "Нов. Журнал" № 147, стр. 68-88).

Получив очередной номер "Нового Журнала", я сразу взялся читать продолжение воспоминаний Р. Б. Гуля. В 147-й книге упоминаются имена русских общественно-политических деятелей, ученых, литераторов, искусствоведов, которые после октябрьского переворота оказались в эмиграции, во Франции, в Париже.

Меня заинтересовали упоминавшиеся имена русских ученых, которые в годы, когда Роман Гуль приехал во Францию, жили в Париже. Так как я немного занимался историей превращения Императорской Академии наук в Академию наук СССР, то меня заинтересовало, чьи имена упоминаются и теперь, когда пишут историю русских академических организаций, институтов, музеев и т.п.

О покинувших Советский Союз даются краткие сообщения, в исключительных случаях упоминается и их отношение к советской власти, как например, в биографии академика М. Ростовцева. Думаю, что читателю "Нового Журнала" небезынтересно знать, что об ученых-эмигрантах пишется в СССР.

Среди ученых, оказавшихся в эмиграции немало бывших работников академических учреждений России, в том числе и заслуженных академиков. Начну с академика Михаила Ивановича Ростовцева (1870-1952): "ординарный академик по классической филологии и археологии с 15 апреля 1917 г. (член-корр. с 29 декабря 1908 г.). Род. 28 октября 1870 г. в Киеве. *Выбыл в 1919 г.*" (подчеркнуто нами). В книге "История Академии наук СССР" т. II, М. Ростовцеву уделено следующее сообщение: "Особое место в русской науке об античности занимает деятельность члена-корреспондента Академии наук с 1908 г. М. И. Ростовцева. Филолог-классик по образованию, Ростовцев посвятил себя изучению римского и эллинистического времени. Здесь его интересовали прежде всего вопросы экономической и социальной истории. Первые его

работы были посвящены времени Империи. Таковы обе диссертации Ростовцева: магистерская — “История государственного откупа в Римской Империи (от Августа до Диоклетиана)” (СПб) и докторская “Римские свинцовые тессеры” (СПб., 1903). К ним примыкает большой труд о колонате, изданный на немецком языке. Много сделал Ростовцев и для изучения истории Северного Причерноморья в античную эпоху. Его статьи и исследования монографического характера (из них особо выделяется капитальный труд — “Античная декоративная живопись на юге России”, изданный в 1914 г.) касались самых разнообразных вопросов экономической, политической и культурной жизни народов, населявших в древние времена Северное Причерноморье. В лице Ростовцева в Академии наук оказалось представленным новое, тогда только еще нарождавшееся направление, характерной чертой которого был особый интерес к проблемам экономической и социальной истории, интерпретируемым в духе буржуазного либерализма. Эмигрировав после Октябрьской революции, Ростовцев *примкнул к антисоветскому лагерю*” (подчеркнуто нами, с.599).

В своей статье “К 250-летию Академии наук (Императорская академия наук на рубеже XIX-XX столетий”, “Нов. Журнал”, № 116, 1974) я процитировал абзац из статьи академика Ростовцева, помещенной в “Современных Записках” (1920, 2). М. Ростовцев писал: “Получаю от времени до времени письма бежавших из большевицкого рая, где так цветут науки и искусства, учителей моих, коллег и учеников. И каждое письмо содержит прежде всего “синодик” — сухие списки погибших с однообразными приписками: умер от голода, расстрелян, кончил самоубийством. Десятки имен — одно крупнее другого, десятки образов самоотверженных работников на ниве науки и просвещения, профессоров-идеалистов...”

Назову еще одного русского академика, оказавшегося в эмиграции и входившего, как упоминает Р. Гуль, в “Русскую академическую группу Парижа”, — Николая Ивановича Андрусова — геолога и палеонтолога. Родился он в 1861 г., академиком избран в 1914 г. По советским источникам Андрусов скончался в Праге в 1924 г. Основные его труды посвящены изучению стратиграфии и палеонтологии неогена Понтокаспийского бассейна. Его Черноморские экспедиции привели к важным открытиям: “На дне Черного моря были Андрусовым найдены остатки послетретичной фауны каспийского типа и констатирована “загрязненность глубины моря сероводородом”. Ему принадлежат

работы по теории образования нефти. Имя его наряду с другими "парижанами" упоминается в "Советском Энциклопедическом словаре", изданном в 1980 г.

Относительно химика-органика, Алексея Евгеньевича Чичибабина (1871-1945) бывшего профессора Московского Императорского Технического училища и получившего звание академика в 1928 г., уже в советское время, сообщается, что он в 1930 г. уехал за границу и больше не возвращался в СССР. О его деятельности сказано: "содействовал развитию химико-фармацевтической промышленности в России". Он автор известного двухтомного курса органической химии, выдержавшего шесть изданий с 1925 по 1958 г. В "СЭС" указано направление его работ — органический синтез, химия азотосодержащих гетероциклических соединений и алкалоидов. Открыл метод аминирования пиридина амидом натрия ("реакция Чичибабина").

О Сергее Николаевиче Виноградском (1856-1952) сообщается в "СЭС" следующее: Он "один из основоположников отечественной микробиологии, член-корр. Петербургской (чтобы не писать "Императорской", прим. автора) академии с 1894 г., почетный член Российской академии наук (1923). С 1922 г. руководитель Агробактериологич. отд. Пастеровского ин-та в Париже". Открыл (1887) хемоавтотрофные микроорганизмы и явление хемосинтеза. Впервые (1893) выделил из почвы азотфиксирующие бактерии. Неизвестно по каким соображениям о нем не упоминается в "Истории Академии наук СССР". А в первом томе "Биографического словаря деятелей естествознания и техники" (изд. БСЭ, 1958) ему уделено много места. В 1881 г. он окончил Петербургский университет и был оставлен для подготовки к профессорскому званию. В 1885 г. уехал в Германию, в 1888-90 гг. работал в агрономической лаборатории Цюрихского политехникума. В 1891-1912 гг. состоял сотрудником Института экспериментальной медицины в Петербурге. Позже уехал за границу и до конца жизни работал в Пастеровском Институте.

Р. Б. Гуль упоминает еще имя проф. А. Безредка, работавшего в Пастеровском институте с дореволюционного времени. Имя его упоминается в советских источниках, в частности, в СЭС. Александр Михайлович Безредка (1870-1940), русский микробиолог, работавший с 1897 г. в Пастеровском институте. Разработал метод профилактики анафилактического шока при сывороточном лечении, способ иммунизации. В дополнение к этому можно привести информацию о нем из

упоминавшегося нами "Биографического словаря". Безредка в 1892 г. окончил Новороссийский университет в Одессе, где и родился. Уехал в Париж, где в 1897 г. окончил медицинский колледж и до конца жизни был сотрудником Пастеровского института. До 1916 г. работал под руководством И. И. Мечникова. В последнем абзаце биографической справки о нем упомянуто: "Живя за границей, Безредка сохранял тесную связь с русской наукой, принимая участие в медицинских изданиях России; многие начинающие русские ученые работали в лаборатории Пастеровского института под его руководством".

Из русских ученых, оказавшихся в парижской русской эмиграции, в советских источниках упоминается еще зоолог Сергей Иванович Метальников (1870 год смерти не указан). О нем сказано, что он в 90-х гг. работал в Особой зоологической лаборатории Академии наук, учрежденной академиком А. О. Ковалевским, а затем занимался в физиологической лаборатории академика В. Ф. Овсянникова.

Одновременно с С. Метальниковым в лаборатории у академика А. О. Ковалевского работал другой ученик академика, молодой зоолог, Константин Николаевич Давыдов (дат нет), также оказавшийся в эмиграции в Париже, в Пастеровском институте. В "Истории Академии" о нем сказано, что он "впоследствии получил известность, как талантливый эмбриолог и автор одного из первых русских учебников по эмбриологии беспозвоночных животных (1914). Давыдов стал членом Французской академии, им написано свыше 50 научных трудов, о чем упоминает Р. Б. Гуль.

В Париже был эмигрантом один из авторов новой русской орфографии, имя которого называет Р. Гуль, — это Николай Карлович Кульман (р. 1871 — ?). Сведения о нем даны в "Истории Академии". Н. Кульман работал в орфографической подкомиссии Академической комиссии по русскому правописанию, во главе которой стоял известный ученый, академик Ф. Ф. Fortunatov. В 1904 г. орфографическая подкомиссия выпустила "предварительное сообщение" — проект упрощения орфографии. В 1912 г. был составлен окончательный проект реформы правописания.

В "Советском энциклопедическом словаре" 1980 года даются краткие сведения еще об одном крупном ученом, который оказался в эмиграции в Париже, — об Александре Александровиче Кизеветтере (1866-1933). Русский историк и общественный деятель, бывший профессор Московского университета (1909-1911). За границей с 1922 г., профессор

Пражского университета. Основные его труды по истории русского города и общественной мысли 18-19 вв., интерес представляют его мемуары. Его капитальный труд — "Посадская община в России в 18 столетии". В другом источнике, в "Истории Академии" есть такая фраза: "Значительную роль в либерально-буржуазной историографии играли кадетские историки А. А. Кизеветтер, П. Н. Милюков... Как известно, взгляды Милюкова и Кизеветтера резкой критике подверг В. Ленин..."

О Павле Николаевиче Милюкове (1859-1943) кратко сказано: "Государственный деятель, историк". А в СЭС он назван еще публицистом одним из организаторов партии кадетов. В 1917 г. он — министр иностранных дел Временного правительства и "после Октябрьской революции белоэмигрант". Труды по истории России 18-19 вв., Февральской революции и Октябрьской революции.

Не буду останавливаться на именах писателей, художников, артистов. О них относительно часто и всегда под одним углом зрения, с пристрастием пишут статьи и книги. Назову лишь одно имя, на котором и закончу мой обзор, — это Модест Людвигович Гофман (1887-1959), широко известный пушкинист, о котором биографическая справка дана во втором издании "Литературной энциклопедии", том второй. "С 1920 г. Гофман числился сотрудником Пушкинского дома Академии наук. В 1923 г. выехал в научную командировку в Париж и не вернулся. Во Франции читал курс русской литературы в Сорбонне, издавал сочинения Пушкина и книги о нем".

А. Иванов

БИБЛИОГРАФИЯ

РОМАН ГУЛЬ. "ОДВУКОНЬ ДВА" Статьи. Изд. "Мост", Нью Йорк, 1982.

Новая книга Романа Гуля "Одвуконь два" представляет собой сборник статей, написанных в разное время и на разные темы. Но начав читать, скоро воспринимаешь её не как сборник, а как целостное произведение — своего рода "публицистический роман". Объясняется это, по-видимому, тем, что Роман Гуль как публицист отличается искренностью и индивидуальностью: о чём бы ни писал, его личность со всей бескомпромиссностью неизменно присутствует. Это придает книге "Одвуконь два" единство. Р. Гуль открыто высказывает своё нелицеприятное мнение о всех затронутых им темах. От писателя с таким характером комплиментов не жди! Можно было бы упрекнуть Р. Гуля в излишней "лютости", если бы не факты, которые он приводит, а факты — "вещь упрямая". О книге Глеба Струве Роман Гуль пишет резко — но не голословно. Каждое замечание Р. Гуль подтверждает цитатами из книги и никакой полемике не остаётся места.

Понять характер автора "Одвуконь два" очень помогает "Переписка через океан" с Георгием Ивановым, которая непонятным образом органично вплетается в канву книги. Эти страницы читаются с громадным живым интересом, а поклонникам поэзии Г. Иванова должны быть особенно дороги и важны.

Три статьи (включая рецензию на книгу Жореса Медведева) посвящены Солженицыну. К Солженицыну Роман Гуль явно испытывает уважение и любовь, но эта любовь не имеет ничего общего с идолопоклонством и иконизацией. "Мы — русские и у нас есть Солженицын! В этом — наше большое счастье!" — заключает одну статью Р. Гуль. Кто не согласится с этим?! "Небывалым страданием — своим — и состраданием к великому страданию всего народа Солженицын духовно побе-

дил шигалевскую шайку Ленина”, — пишет Роман Гуль. Солженицын, по мнению Р. Гуля, не политик, а скорее проповедник, “остро чувствующий надвигающееся на мир апокалиптическое землетрясение”.

Что касается самой “шигалевской шайки”, то “изуверство” её, — пишет Р. Гуль, — “в своей сути одинаково от Ильича Первого до Ильича Второго”. В статье “Ленин и Архипелаг ГУЛАГ” Роман Гуль рисует характерный образ вожака этой шайки В. И. Ульянова-Ленина.

В статье об “автокефалии” речь идёт не о проблемах православной церкви в Америке вообще, а, главным образом, о “чекистах в рясах”. На первый взгляд может показаться, что “Вопрос об автокефалии” несколько не сродни общему тону книги, но вчитываясь, понимаешь, что он также остро политичен, как всё, о чём пишет Гуль. Официально религия в СССР отделена от государства, но фактически она находится не только под контролем государственной власти, но часто и *отправляется* “чекистами в рясах”. Поражает, насколько верно представляет себе (и читателям) Роман Гуль жизнь за железным занавесом.

Не исключено, что кое в ком “Одвуконь два” вызовет несогласие с автором. Уже прочитав первую статью — “Прогулки хама с Пушкиным” — многие, возможно, восстанут против Р. Гуля. “Прогулки хама” — суровая отповедь А. Синявскому, о котором в своё время (в первой книге “Одвуконь”) Р. Гуль отзывался весьма тепло, например: “Синявский талантлив, умён, но молод. И в мыслях его много ещё только намёток. Но наряду с некоторыми срывами, у него есть записи большой остроты и пронзительности”. С тех пор мнение Р. Гуля о А. Синявском резко изменилось, в “Одвуконь два” мы читаем: “Терц пишет нагло, без всякой ответственности перед читателем, ‘как шло, так и ехало’, пусть едят”. Гуль сравнивает Синявского с неким “Геростратом”, считая, что автор “Прогулок с Пушкиным” захотел снискать себе славу, пытаясь устроить поджог, если не храма Артемиды, то храма русской поэзии. И Роман Гуль прав: А. Синявский действительно, как говорится, “бьёт на эффект”, создавая этаким “водевильный образ” А. С. Пушкина. Но лектору Сорбонны такая интерпретация явно не к лицу, с его стороны это бесспорное хамство. “Термин хам, — успокаивает Р. Гуль, — “хорошо воспитанных, чувствительных и нервных”, — “я не употребляю в ругательном смысле. Это было бы недостойно. Я употребляю его в библейском — как *цинизм человека* и надругательство над тем, что в человеческом обществе надругательству не подле-

жит, если общество не хочет превратиться в орангутангово стадо”.

“Одвуконь два” заканчивается двумя некрологами (о Б. И. Николаевском и В. А. Кравченко), задушевными и скорбными, которые, так сказать, “гармонизируют” общий запальчивый, но сурово правдивый тон книги.

Юлия Третья

В. Н. ИЛЬИН, “АРФА ДАВИДА”, Изд-во “Глобус”, Сан Франциско, 1980 (448 стр.).

Рецензируемая книга Владимира Николаевича Ильина исключительно интересна и ценна по двум причинам: по причине того, о ком и о чем он пишет и по тому, *как* он пишет.

“Арфа Давида” — литературная критика. А в литературной критике есть разные жанры, силы разного калибра, разного удельного веса, так сказать.

Если у каждого из писателей — собственный и своеобразный стиль, то и у каждого литературного критика — свой индивидуальный апперцепционный аппарат. Рассматривая какое-нибудь произведение, он из обозреваемой сложной реальности выхватывает прежде всего то, что ему конгениально, в какой-то степени сродни. Личность и мировосприятие писателя, скажем кратко — его душа, объективировавшаяся в какой-то степени в художественный образ, какими-то гранями соприкасается с соответственными гранями души читателя-критика.

Читая “Арфу Давида”, написанную одаренным критиком, мы узнаем не только то, *что* написано, скажем, Пушкиным или Достоевским, но и то, как об этом судит автор этого критического исследования. Тут критика литературных произведений сама становится литературным произведением.

Владимир Николаевич Ильин был человеком широкого образования, его эрудиция была энциклопедического охвата. К тому же, он был одаренным, темпераментным оратором. И в жизни своей сам явил трагические черты, столь свойственные его любимым литературным героям.

В рецензируемой книге В. Н. Ильин поставил себе целью выявить “религиозно-философские мотивы русской литературы” и именно в этой перспективе рассматривает творения таких писателей как Пушкин, Лер-

монтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Л. Толстой, Лесков, Ремизов, Розанов, Леонтьев, Андрей Белый, Гончаров, Чехов, Пастернак, Вл. Соловьев, о. Павел Флоренский. Книга эта написана в 50-годах и в нее поэтому не вошел ни М. Булгаков, ни А. Солженицын, хотя, как об этом свидетельствует автор предисловия, В. Н. Ильин очень почитал обоих писателей, а с "Мастером и Маргаритой" не расставался до конца своих дней, постоянно перечитывая ее и открывая в не все новые и новые глубины, скрытые под "гоголевским" юмором.

Основной узор высокой русской литературы, согласно В. Н. Ильину, это вязь амартологии, мартирологии и сотериологии, т. е. "греховедения", учения о страданиях и учения о спасении. Какова же бывает связь между грехом, страданием и спасением? В "нормальном" порядке событий каждый грех вызывает или физические или психические страдания, которые могут быть либо трамплином для подъема ввысь, либо ступенькой вниз. Иными словами, страдание может иметь искупительное значение, если оно сопряжено с раскаянием, с покаянием; но оно же может быть поводом к ожесточению и тогда оно имеет погибельную силу. Бывают также грешники, о которых можно было бы сказать, что они грешат со "спокойной совестью", если бы у них еще была совесть. Бывают и случаи, когда страдания, возникшие не по вине страдающего, являются спасительными, ибо ведут к праведности и святости.

Примером "раскаявшегося злодея" является Емельян Пугачев из "Капитанской Дочки" Пушкина. Уже на эшафоте "...Пугачев сделал с крестным знамением несколько земных поклонов, обратился к соборам, потом с оторопелым видом стал прощаться с народом: кланялся на все стороны, говоря прерывающимся голосом: прости, народ православный, **ОТПУСТИ В ЧЕМ Я СОГРУБИЛ ПРЕД ТОБОЮ... ПРОСТИ, НАРОД ПРАВОСЛАВНЫЙ**".

Как пример "бессовестных" людей можно привести Германа из "Пиковой Дамы" Пушкина или Чичикова из "Мертвых душ" Гоголя. О Германе, которого Ильин называет человеком "наполеоновской складки", он замечает, "что беспредельный эгоизм самообожествления есть верный путь к безумию", и что таким людям св. Андрей Критский дал "замечательный термин — отчеканенный навеки: **САМОИСТУКАН**. На основании данных современной психологии и психиатрии не трудно показать, что такой абсолютно интравертированный тип, душа, сосредоточенная исключительно на себе, а тем более на гордынном

самопревозношении, позволяющая себе решительно всё, относящаяся ко всему тому, что не она, исключительно как к объектам своих желаний, хотя бы самых низменных, преступных и извращенных, неизменно кончает тяжкими формами невроза и безумия” (стр. 55).

Как пример людей “никудашных” и “ничтожных”, которых можно было бы назвать “человекоподобными животными”, Ильин приводит “антигероя” романа “Обломов” Гончарова и Чичикова. Это — лукавые рабы, зарывшие богоподобный талант человечества и не приумножившие того, что в них было заложено. О них говорится: “Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих”(Откр. 3, 16). И, наконец, примером людей освятившихся в этой жизни, является Лукерья из “Живых мощей” Тургенева. Это — типологические примеры, приведенные нами в порядке “примерной выборки”.

Автор “Арфы Давида” рассматривает русскую литературу в двух главных планах. Первый — диалектика “двух путей”, известная с древних времен из творений христианских аксиологов. Вехи на этих путях следующие: Бог — Творец — тварь — потенция богоуподобления в человеке. Вера, дела, грехи нераскаянные — к гибели. Раскаяние и покаяние в грехах — к спасению. Но сквозь черты этого плана у Ильина проглядывают контуры плана второго, интуитивного, интуиции которого питаются соками мира дохристианского, языческого, мира мифов, легенд, сказок, преданий, видений; он умело выводит свои узоры, отправляясь от тем и концепций в творениях корифеев русской литературы.

“...Русский народ, — пишет автор. — в основе своей православный и церковный, тем не менее всегда очень интересовался всякого рода оккультными знаниями и отдавался оккультным отражениям. Астрология, алхимия, всякого рода кудесничество, всевозможные виды спиритизма и метаспихики, гадания, все это имело, пусть преходящую, но сильную власть над русской душой, начиная с незапамятных времен входило в состав того, что слишком упрощенно именуется доверием. Сюда ведь входит также та жажда чудесного, необыкновенного, выходящего за пределы времени и пространства, за пределы трехмерного мира, та жажда, которую народ редко мог удовлетворить в условиях обычной, официальной государственной религиозности, нередко принципиально враждебной всему чудесному, даже новым святым, и склонной к тому, что можно назвать церковным государственным позитивизмом” (стр. 37). Все это мы находим в русской литературе.

художественно оформленным, и В. Н. Ильин, непримиримый враг позитивизма, сам пребывает в этой области, как в родной стихии.

Эталон "двух путей", заимствованный из аксиологии, Ильин применяет и к эстетике литературы. "Основной устой большой русской литературы" всегда был ориентирован на религиозно-нравственные цели. В основе ее — триада Истины, Блага и Красоты. Но там, где Человек сеет пшеницу, литературный пошляк подсеивает плевела. По праву диалектики там, где рождаются Пушкины, Лермонтовы, Толстые и Достоевские, там появляются и Писаревы, и Чернышевские, служители триады Лжи, Зла и Безобразия. Площадная толпа ненавидит гения, старается опошлить его и оклеветать.* А в наше время мы являемся свидетелями того, как такую травлю ведут члены государственной организации Союза советских писателей, способных только строчить соцреалистическую антилитературу".

Литература может быть только свободной; в противном же случае она перестает быть художественной литературой, а затем и литературой вообще, преобразаясь постепенно в парто-режимную пропаганду. Подлинное произведение искусства не диктует, не навязывает, а всего лишь *показывает*: имеющие глаза да видят, имеющие уши да слышат! Роль литературы не учебна, а учительна — не в том смысле, что она сама пытается учить, но в том, что дает повод учиться. Она лишь призывает к постижению и сублимации и в своей целенаправленности она уже не служебна, а — по выражению В. Н. Ильина — *богослужебна*.

Игумен Геннадий (Эйкалович)

"ПОВОД ВПРАВО!"

Одна из недавно переизданных книг известного польского писателя И. Мацкевича озаглавлена "Повод вправо!" Это — команда кавалерийской колонне освободить левую сторону дороги для догоняющего или же встречного движения. По-польски эта команда звучит "Лева сторона свободна!" и здесь налицо некая игра смыслов. В русской команде ударение лежит на правизне, а в польской — на левизне и, уже в переносном, метафорическом, так сказать, смысле, на "левачестве". Это заглавие выбрано автором удачно; оно указывает на то, что в период 1918-1920 гг. вершители судеб польского государства сознательно пред-

*См. статью Романа Гуля об Абраме Терце "Прогулки хама с Пушкиным", кн. 124 "Нов. Журнала". *Прим. ред.*

почли левую ориентацию; и "вождь", Иосиф Пилсудский, и его ближайшие соратники были членами ППС (Польской Социалистической Партии). На более далекой исторической дистанции решение это оказалось просчетом, но в те времена будущее было скрыто от политиков. Они гадали...

Невольно приходит в голову мысль, что в области государственной политики действует закон кармы. Припомним, что понятие *кармы* известно нам из индусской религиозной философии и означает — *закон возмездия*. В частности, закон этот гласит, что всякое отклонение в одну сторону раньше или позже будет уравновешено отклонением в сторону противоположную, как у маятника. Пример "государственной кармы": Германия всячески способствовала Ленину, в период первой мировой войны, взорвать Россию... не прошло и полувека, как коммунистический бумеранг обернулся против самой Германии и рассек ее надвое!

Почему же книга Мацкевича получила *такое* название?

В 1919 году, казалось, коммунистической революции в России придет конец. Едва красной армии удалось оттолкнуть наступление адм. Колчака, как смертельная, казалось, угроза надвинулась с юга. Добровольческая армия ген. Деникина начала свое победное продвижение. В июле 1919 г. последовательно "белыми" заняты Харьков, Царицын, Екатеринослав, Полтава, Житомир, Курск... На севере войска ген. Юденича приближаются к Петрограду, снова наступает адм. Колчак... Судьба большевицкой революции висела на волоске!

Что же делается в это время на польском фронте длиной в 1200 километров, от Полоцка до Румынии? В августе 1919 г. ген. Деникин писал Пилсудскому: "...Пусть польские войска ударят лишь вдоль линии Мозырь-Каленковичи, в общем направлении на Днепр. Этого будет достаточно. По всей видимости у Вас на этом отрезке четырехкратный перевес сил. Таким образом мешок, в котором находится теперь вся 12-я большевицкая армия, окончательно будет завязан. Одновременно левое крыло Русской Добровольческой Армии обретет полную свободу действия. Зато правое крыло большевицкого фронта, перед лицом смертельной опасности от этого удара, должно будет откатиться в тыл. Польша сократит свой фронт и освободит все свои силы на южном крыле. В этой перспективе падение Москвы, а вместе с ней и окончательное падение большевизма окажется решенным". (Стр. 114).

В действительности — положение было таково, что надежды Деникина могли оправдаться. Перевес польских сил был больше, чем че-

тырехкратный. Однако Пилсудский занял "выжидательную" позицию, а на нажим со стороны французской и английской миссий реагировал отговорками. Для него врагом Польши была Россия, независимо от того — красная или белая; но, если бы ему и пришлось выбирать, то выбрал бы он все-таки красную: Деникин, ведь, провозглашал борьбу за "единую и неделимую", а Ленин, чтобы использовать момент, обещал все что угодно, лишь бы иметь обеспеченным свой правый фланг. Да и по духу социалисту Пилсудскому был ближе интернационалист Ленин, чем царский генерал Деникин. И... контрреволюция стала терпеть поражения.

После крушения белого движения Ленин отдал приказ перебросить освободившиеся силы на польский фронт, на его северном участке. Пилсудский же, как будто вопреки стратегической логике, оставив редкий заслон на северо-востоке, устремился главными силами на Украину и, встречая слабое сопротивление большевиков, занял Киев. Большевики отдали Киев без боя. Но красная армия под командой Тухачевского начала наступление на Белорусском фронте. Прождав бездейственно около месяца в Киеве, Пилсудский дал приказ отступать и часть войск перебросил на северный фронт против Тухачевского. Тем временем, после разгрома белых на юге, конница Буденного, начала наступление против ослабленных сил Пилсудского и, как лавина, стала продвигаться по направлению к Польше. Поляки терпят поражение за поражением и отступают на левый берег Вислы. Казалось, что путь на Запад войскам "революционного пролетариата" открыт...

Но наступает то, что известно в истории под названием "Чуда на Висле". Одной из причин поражения большевиков на польском фронте было то, что на южном фронте возникла весьма опасная ситуация, потребовавшая переброски частей красной армии против войск ген. Врангеля, переорганизовавшего остатки белого движения в боеспособные и даже победные отряды.

И снова перед Пилсудским альтернатива: помочь Врангелю наступлением по направлению на Москву? Но дойдя до Минска, польские войска остановились. А 12-го октября 1920 года правительствами Пилсудского и Ленина был подписан мирный договор. Обеспечив себя на польском фронте, большевики концентрировали все силы на фронте южном и нанесли белому движению окончательное поражение!

Что же заставило Пилсудского *дважды* воздержаться от нанесения "ку-де-грас" казавшемуся кончающимся коммунизму? Ненависть ко

всему русскому и великие замыслы. Не сказал ли он в свое время английскому послу в Варшаве, что не пошлет польского солдата воевать с красными русскими за землю, которую в случае поражения большевиков займут русские белые? Пилсудский мечтал "*ослабить Россию*". Но исторически он просчитался...

Книга И. Мацкевича написана беспристрастно, можно даже сказать — с некоторой симпатией к русским, белым русским. Она обладает большими литературными достоинствами. О том, какую заинтересованность она возбудила во время *первого* ее издания, свидетельствует статистика: 48 рецензий и статей, 44 заметки и письма в издательства, 8 протестов и контр-протестов, одна брошюра ("*Дзенник Польски*", Лондон, 1967 г.).

Можно быть уверенным, что в русском переводе эта книга найдет достойное признание среди русских читателей.

Г. Эйкалович

«ОДНА ИЛИ ДВЕ РУССКИХ ЛИТЕРАТУРЫ?». Международный симпозиум, созданный факультетом словесности Женевского университета и Швейцарской академией славистики. Женева, 13-14-15 апреля 1978. Editions L'Age d'Homme. Lausanne 1981.

Для американских славистов эта книга представляет собой особый и несомненный интерес. Книга явилась результатом международного симпозиума в Женеве, в котором приняли участие виднейшие, главным образом европейские, специалисты в области русской литературы и литературной критики. Она открывается кратким вступлением Жоржа Нива, затем следуют доклады с детальными примечаниями и записи прений; заканчивается прекрасно составленным "Именным указателем", "Краткой библиографией", данными об участниках коллоквиума и "Содержанием". Интересно отметить, что из русских ученых и литераторов на симпозиуме были представители всех "трех эмиграций": первой (пореволюционной), второй сороковых годов и третьей (новейшей). Это придало особенную живость симпозиуму и нашло отражение в докладах, и особенно в дискуссиях.

Первым в книге помещен доклад Ефима Эткинда "Русская поэзия XX века, как единый процесс", едва ли ни один из самых продуманных, хорошо организованных и научно обоснованных докладов на симпозиуме. Прежде, чем перейти к русской литературе, он делает отступле-

ние и дискутирует проблему разделения "одной национальной литературы на две (или несколько)", в котором затрагивает, например, вопрос существования разных литератур на английском языке (английской, американской, австралийской, канадской) или на испанском языке (испанской, мексиканской, аргентинской и др.). В отношении русской литературы, главным объектом анализа Эткинда была Марина Цветаева: "живое воплощение единства русского поэтического процесса Запада и Востока". И дальше: "Связь Марины Цветаевой с поэтами России — прямая и декларированная", Это связь с Пастернаком и Маяковским, любимыми поэтами Цветаевой.

Зинаида Шаховская ("Литературные поколения") не так категорична в отстаивании полного тождества двух литератур. Деля советскую и эмигрантскую литературу на разные периоды, она показывает, что, например, в период "от 25 года до начала войны, особенно резко определилось расхождение *одного и того же литературного поколения*, зарубежного и советского". Но касаясь настоящего, она приходит к заключению, что "новой эмигрантской, т. е. оторванной от современного СССР, литературы на Западе больше нет".

О высоком научном уровне докладов свидетельствует доклад Л. Флейшмана из Иерусалима "Несколько замечаний к проблеме литературы русской эмиграции". Для знатоков и адептов структурального анализа рассуждения Флейшмана крайне интересны, для непосвященного же слушателя его доклад в оригинальном русском тексте может показаться, порой, весьма отдаленным от русского языка. Во избежание голословности позволю себе привести следующий пример: "Аналогичен пастернаковскому прием акцентировки абсурдной противоречивости членов синтегматических рядов (и легитимизации в их 'взаимозаменяемости') при неожиданной идентификации их в парадигматическом плане. При этом широко использованы потенции метонимических ходов". Трудно отрицать, что без прочной базы латыни и знания западных, европейских языков не всегда легко дойти до смысла сказанного. В свое время Шишков критиковал Пушкина за введение, как ему казалось, ненужных иностранных слов в русский язык. Но что бы он сказал, ознакомившись с языком Флейшмана? Кроме того, Л. Флейшман сопоставляет неравные величины: с одной стороны Пастернак, а с другой Поплавский и Моршен. Ничего удивительного, если у последних мы найдем влияние Пастернака. Но доказывает ли это общность русской литературы?

Ценители таланта М. А. Булгакова не должны пройти мимо замечательного доклада А. Дравича (Варшава) ' 'Мастер и Маргарита' как оружие самозащиты'. В нем Дравич мастерски представил душевную драму Булгакова: гнетущий кошмар жизни в СССР и невозможность ухода в эмиграцию. Но униженный, больной Булгаков нашел "выход" — он, как выразился Дравич, "пошел к черту", к "diabolus minor", к дьяволу, которого так красочно и с такой поразительной силой представил в "Мастере и Маргарите".

В рецензируемой книге читатель найдет статьи о сатире (Г. Андреев, М. Геллер), об анекдоте в Советском Союзе, о различии между "советским" и "эмигрантским" русским языком, но доводы этого доклада мало убедительны (на уровне полемической журналистики), о формах иносказания в современной русской литературе (В. Казак), о "новом русском почвенничестве" (Жорж Нива), о "смене веков" и русской литературе 20-ых годов (М. Окутюрье).

Общий итог симпозиума: нет никакого деления на советскую и эмигрантскую литературы. Такое же мнение, но с добавлением "но", высказал совсем недавно в Вашингтоне "новейший" эмигрант, известный писатель Василий Аксёнов: "Конечно, есть только одна русская литература, но советская идеология старается создать нечто вроде 'паралитературы', отвечающей ее целям для замены настоящей литературы".

«Одна или две русских литературы?» полезная и своевременная книга. Ее высокий научный уровень (за малым исключением), широта тематики, прекрасный литературный русский язык говорят за то, что книга не должна остаться вне круга интересов преподавателей и любителей русской литературы.

Сергей Крыжицкий

М. М. АЛЛЕНОВ. Александр Андреевич Иванов. Изд-во Изобразительное Искусство. Москва. 1980 (208 стр.), со многими иллюстрациями, чёрными и цветными.

После 25 лет со времени издания в СССР подробной монографии в двух томах о творчестве А. Иванова, написанной М. Алпатовым, о нем сейчас вышла книга с текстом М. М. Алленова, не претендующая на систематическое изложение жизни и творчества Иванова, но ставящая себе задачей проследить некоторые общие направляющие идеи в

работах раннего и позднего периода Иванова. Постоянные ссылки на труды теоретиков материалистической философии показывают желание автора обосновать взгляды и труды Иванова только с определенной точки зрения. Автор не упоминает, например, признания самого Иванова Герцену в 1857 г.: "Писать без веры религиозные картины — это безнравственно, это грешно... Лучше остаться бедняком и не брать кисти в руки..."

В литературе об Иванове часто говорится, что в последние годы жизни он потерял веру, чем объясняется, что его большая картина "Явление Христа народу" не была окончена. Такая точка зрения особенно утверждается в СССР. Указывают при этом на изучение Ивановым книг Штрауса и Ренана о жизни Христа, на беседы Иванова со Штраусом в Германии и с Герценом в Лондоне. Нисколько не отрицая всего этого, нельзя всё же забыть, что последние 15 лет жизни Иванов не прекращал работ над эскизами к Библии, а это является доказательством направленности Иванова к решению религиозных задач и есть свидетельство религиозного горения художника в последний период его жизни, ибо без подлинной веры возникновение эскизов было бы вообще невозможно. Неприятно поражает в книге М. Алленова трудночитаемый язык. Репродукции вполне удовлетворительны.

Можно вспомнить мысль Александра Бенуа о появившейся в 1956 г. книге М. Алпатова "Жизнь и творчество А. Иванова": "Алпатовской книги не собираюсь читать. Нового об Иванове наверное в ней мало, а раз ему (и всем) запрещено говорить о Боге и Божественном, то как же говорить о художнике, который был весь "пропитан чувством Божественного"? Иванов мучительно бился, ощущая эту свою захваченность и не находя в себе сил убедительно её выразить в образах. Творчество Иванова всегда представлялось мне тяжелой драмой общечеловеческого, а не только художественного порядка, но, изучая его произведения (и читая его письма) можно только догадываться о ней".

Судя по книге Алленова, направляющие материалистические идеи, как и раньше, продолжают направлять культурную жизнь советских людей.

Е. Климов

ДВЕ КНИГИ ОБ АНДРЕЕ РУБЛЕВЕ

Есть в СССР издательство "Молодая Гвардия", которое выпускает серию биографий под общим названием "Жизнь замечательных людей". Эта серия основана в 1933 году М. Горьким. За истекшие годы выпущено много сотен биографий и среди них в 1960 году вышла книга В. Прибыткова "Андрей Рублев" (тираж — 75.000 экз.). Прошел 21 год, и в том же издательстве и в той же серии "Жизнь замечательных людей" выходит книга Валерия Сергеева "Рублев" с предисловием акад. Д. С. Лихачева, на этот раз в количестве 150.000 экземпляров.

Казалось бы, что издательство, видя большой спрос на книгу о Рублеве, могло бы выпустить вторым изданием книгу В. Прибыткова, но за истекшие два десятилетия появилось много новых исследований о творчестве Рублева, игнорировать которые невозможно. Но главное, думается, не в этом. Сейчас взгляд на прошлое русского искусства в СССР изменился и повторять пошлости В. Прибыткова стало очевидно нежелательным.

В книге В. Прибыткова можно прочесть ссылки на статьи Ленина, где читаются такие выражения: "Поповщина убила в нем всё живое и увековечила мертвое". В. Прибытков добавляет: "Христианские проповеди Рублева, его вера в Бога, объясняемые эпохой художника, — всё это чуждо нам и не может быть принято". ... "Святая Троица" наполнялась покоряющим человеческим смыслом, не имеющим ничего общего с лицемерием христианства". ... "Красота Троицкого Собора (в Троице-Сергиевской Лавре) останется навеки страшнейшею уликою против церкви и ее лживости".

Нам трудно сказать, сам ли автор, или его цензор вводил в текст подобные добавления, но читая теперь книгу "Рублев" Валерия Сергеева, изданную в 1981 г., таких плоских выражений, как у В. Прибыткова, в ней нет, как нет ссылок и на Ленина. Напротив, иногда даже не верится, что мысли о глубоком религиозном значении искусства Рублева могли быть опубликованы теперь в СССР. Или тут снова какой-то указующий зигзагообразный перст партийной линии?

Нам известно только два летописных указания на Рублева (1405 и 1408 годы), по которым трудно составить его биографическую канву. В. Сергеев умело использовал общие летописи конца 14-го и начала 15-го веков, чтобы таким образом показать картину русской жизни той эпохи, во многих случаях весьма печальной, как нашествие татар, моро-

вая язва, пожары, но бывало и радостной при победе над монголами и при постройке церквей. В целом создается живое представление о времени, в котором протекала деятельность Рублева.

Описывает В. Сергеев технику писания икон, приготовление досок, левкашение, полировку левкаса и работу красками. Учись писать быстро, добавляет от себя В. Сергеев, но помни — не для ловкости твоего письма существует лик, а для того, что зовется размыслом душевным — внутренним смыслом... Помни, что изображаешь не только миг ушедшей давно жизни, а то, что продолжается в вечность, повторяется в постоянном, длящемся... Памятуй о цели своего искусства, о том, что оно несет человеку...

В. Сергеев подробно передает легенду о происхождении иконы "Нерукотворный Спас". Об иконе "Архангел Михаил" работы Рублева (из Звенигорода) В. Сергеев пишет: "Архистратига небесных воинств Рублев увидел добрым ангелом-хранителем всего сущего. В этом решении образа — вызревшая, давно ставшая близкой Рублеву мысль: борьба со злом требует величайшей высоты, абсолютной погруженности в добро. Зло страшно не только само по себе, но и тем, что, вызывая необходимость противостояния ему, порождает и в самом добре свой зародыш. И тогда в оболочке правды и под ее знаменем возрождается в ином виде то же самое зло и "последнее бывает горше первого".

Хочется верить, что эти слова идут от чистого сердца писателя. Вряд ли нечто подобное можно было напечатать 20 лет тому назад.

Е. Климов

УСТАМИ БУНИНЫХ. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы. Под редакцией Милицы Грин. В трех томах. Том III. Франкфурт-на-Майне 1982.

Третий том дневников, с подзаголовком "На исходе", охватывает 1934-1953 годы. Первые "после-нобелевские" годы до начала Второй мировой войны протекали для Буниных в материальном благополучии и сравнительном душевном спокойствии: для Бунина они были насыщены литературной деятельностью и лекционными заграничными турне. Весной 1938 г. Бунин писал Вере Николаевне из Риги: "Труднее *этого* заработка — чтениями — кажется *ничего* нет [...]. После чтения был банкет. Множество речей, — искренно восторженных и необыкновенных по неумеренности похвал: кажется, вполне убежден, что я по крайней мере Шекспир..." (стр. 25).

Враждебное отношение Бунина к гитлеризму началось с приходом "Фюрера" к власти. В 1936 году Бунин подвергся унижительному таможенному осмотру в Линдау (его заставили раздеться догола) во время одного из проездов через Германию. Это вызвало в нем бурю негодования и еще больше разожгло ненависть к гитлеровцам (стр. 21-22). Дневники полны саркастических замечаний по адресу устроителей "нового порядка".

Своего рода резюме рецензируемого тома, как и двух предыдущих, можно найти в мартовской записи 1941 года, сделанной Буниным: "Три раза в жизни был я тяжело болен, по 2, по 3 года подряд, душевно, умственно и нервно. В молодые годы оттого так плохо и писал. А нищета, а бесприютность почти всю жизнь! А несчастные жизни отца, матери, сестры. Вообще, чего только я не пережил! Революция, война, опять революция, опять война — и все с неслыханными зверствами, несказанными низостями, чудовищной ложью и т. д.! И вот старость — и опять нищета и страшное одиночество — и что впереди!" (стр. 87).

Очень сложны чувства Бунина по отношению к Советской России во время войны с Германией. Как русский, Бунин не допускает мысли иноземного владычества в России, но как ярый противник большевицкой революции и установившегося коммунистического кровавого режима, Бунин остается к нему непримирим. "...Слушал начало и я [советское радио]. Какой-то "народный певец" живет в каком-то "чуждом уголке" и поет: "Слово Сталина в народе золотой течет струей...". Ехать в такую подлую, изолгавшуюся страну!" (стр. 94). "...Кончил вчера вторую книгу "Тихого Дона". Все-таки он хам, плебей. И опять я испытал возврат ненависти к большевизму" (стр. 109). "...Хотят, чтобы я любил Россию, столица которой — *Ленинград*, Нижний — Горький, Тверь — Калинин — по имени ничтожеств, типа метранпажа захолустной типографии! Балаган" (стр. 124).

Во время войны Бунины жили в "пэтеневской" части Франции и с итальянской и немецкой оккупацией соприкоснулись только в конце войны. Их жизнь в Приморских Альпах была очень трудна. Голод, холод, болезни, безденежье, беспросветность существования. В разговоре с Андреем Седых в декабре 1941 года Бунин сказал: "Холод, тоска смертная, суп из картошки и картошка из супа" (А. Седых. "Далекое, близкие". Нью-Йорк, 1962).

В июле 1940 года, семидесятилетний Бунин пишет: "Евреям с древности предписано (и особенно в счастливые дни) думать о смерти". Все

творчество Бунина яркий пример тому, что он был одержим мыслями о смерти: — "А у меня все одно, одно в глубине души: тысячу лет вот так же будут сиять эти дни, а меня не будет. Вот-вот не будет" (стр. 56). А тут один за другим уходят из этого мира знакомые и друзья, с которыми была связана вся жизнь. "После прихода немцев умерли: Мережковский, Осоргин, Бальмонт, Марина Цветаева, Кульман, Оман, Лозинский... Аргутинский, Зернов, Малявин, А. Н. Гиппиус, А. Н. Готье, О. Л. Еремеева, Хигерович-мать, Познер-жена, Руднев, Ф. О. Ельяшевич, С. А. Зернова..." (стр. 146).

Записи Бунина все мрачнее и мрачнее. Больницы, болезни, лекарства, врачи, заботы о куске хлеба... Приближается день, о котором Бунин писал в августе 1916 года.

Настанет день — исчезну я,
А в этой комнате пустой
Все то же будет: стол, скамья
Да образ, древний и простой.

И так же будет залетать
Цветная бабочка в шелку,
Порхать, шуршать и трепетать
По голубому потолку.

И так же будет неба дно
Смотреть в открытое окно,
И море ровной синевой
Манить в простор пустынный свой.

Третий том дневников заканчивается записью Веры Николаевны от 8 ноября 1953 года: "В 2 часа ночи скончался Ян" (стр. 209).

В 1975 году я был в Эдинбурге и имел возможность лично ознакомиться с содержанием дневников Буниных и могу заверить читателей, что сокращения, о которых говорит М. Грин, не меняют общего характера дневников и выпущенные места не представляют собой особой ценности. На мой взгляд можно было бы сократить немного монотонные, незапоминающиеся описания природы и погоды, похожие на метеорологические сводки.

Хранительница бунинских архивов, проф. М. Грин, совершила титанический труд. Она годами работала над приведением в порядок разрозненных машинописных и рукописных пожелтевших от времени

листочков, устранила повторения, расшифровала далеко не простой почерк Бунина, комментировала неясные для непосвященных места в тексте, составила внушительный и очень нужный указатель имен. Все три тома хорошо оформлены, в полотняных переплетах, всего свыше 800 страниц. Поистине достойный памятник Ивану Алексеевичу и Вере Николаевне. Для литературоведа-"буниниста" в будущей свободной России работа по изданию полного собрания сочинений Бунина и по восстановлению его правдивого лица будет крайне облегчена благодаря публикации "Устами Буниных". В этом огромная заслуга Милицы Эдуардовны Грин.

Оберлин, Охайо

Сергей Крыжицкий

Книги для отзыва

А. Солженицын Пьесы и киносценарин. ИМКА Пресс. Париж, 1981. (588 стр.)

А. Солженицын Публицистика. Статьи и речи. ИМКА Пресс. Париж, 1981. (364 стр.)

Борис Филиппов. Статьи о литературе. Overseas Publications Interchange LTD. Лондон, 1981. (236 стр.)

Глеб Струве О четырех поэтах. Блок Сологуб, Гумилев. Мандельштам. Сборник статей. Overseas Publications Interchange LTD, Лондон, 1981 (185 стр.)

Э. Бройде. К проблематике Чеховских Университетов. Издательство Свободного Университета им. А.П. Чехова. ФРГ. 1982

Памяти Александра Блока. 1880-1980. Overseas Publications Interchange Limited. London 1980. (157 стр.)

Константин Леонтьев. Письма к Василию Розанову. Издание Нины Карсов. Лондон. 1981 (136 стр.)

Д. А. Антонов. Чеховские Университеты. Германия, 1982. (215 стр.)

М. А. Булгаков. Собрание сочинений. Предисловие и Комментарии Э.Проффер. АРДИС. Анн Арбор. Мичиган. 1982 (431 стр.)

- Николай Попович*. Проблемы этики. Аргентина. 1982 (77 стр.)
- Александр Николаев*. Так это было. Германия. 1982 (281 стр.)
- Ефим Гаммер*. Магремор. Книга стихов и поэм. Иерусалим. 1981.
- Димитрий Панин*. Теория густот. Париж. 1982 (127 стр.)
- A Russian Cultural Revival A Critical Antology of Emigre' Literature before 1939*. Temira Pachmuss Editor and Translator. University of Tennessee, Press. Knoxville. 1981. (454 pages)
- Dimitri von Mohrenschildt*. Toward a United States of Russia. Plans and Projects of Federal Reconstruction of Russia in the Nineteenth Century. Fairleigh Dickinson University Press. East Brunswick, N.J. 1981 (309 pages)
- Nicholas L. Fr. Chirovsky*. An Introduction to Ukrainian History. Vol. 1. Ancient and Kievan-galician Ukraine—Rus'. Philosophical Library, New York. 1981 (347 pages)
- Józef Mackiewicz*. Droga donikad. Kontra. Londyn. 1981 (384 pages)
- Paul Garde*. Grammaire Russe. I. Phonologie. Morphologie. Insitut D'Etudes Slaves. Paris. 1980 (486 pages)
- Maria Razumovsky*. Marina Zwetajewa. 1892-1941. Mythos and Wahrheit. Age d' Homme-Karolinger Verlag. Wien. 1981. (394 pages)
- Günther Wytrzens*. Eine russische dichterische Gestaltung der Sage vom Hamelner Rattenfänger. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien. 1981 (42 s.)
- Sternenfall* Vierzig religiöse Gedichte aus Kussland herausgegeben von Rudolf Bohzen. Verlag der Arche. Zürich. (71 s.)
- Andrzej Krauze's*. Poland. Caricatures and cartoons, with a preface by George Mikes. Edited by Nina Karsov. London, 1981. (95 pages)
- Boris Zaitsev*. Bibliographie. Établie par René Guerra. Agrégé de L'Université. Docteur en études Slaves. Introduction de W. Weidlé. Institut d'Études Slaves. Paris. 1982 (168 p.)

Роман ГУЛЬ «Я унес Россию»

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ I. «РОССИЯ В ГЕРМАНИИ»

Полный текст. В "Новом Журнале" печатался сокращенный.
В книге 365 стр., много фотографий. Цена — 10 долларов.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ: "Талант Р. Гуля, как портретиста, не может не восхищать" ("Новое Русское Слово", Н. Андреев).

"Читать в эмиграции приходится много, но потрясаться не так уж часто.. Книга Романа Гуля для меня — потрясение" ("Новое Русское Слово", Дора Штурман).

"Книга «Я унес Россию» — ценнейшее свидетельство, дающее живое представление о жизни и деятельности русской эмиграции... «Я унес Россию» исключительно полезна для новейшей эмиграции" ("Русская Мысль", М. Гольдштейн).

"Невероятную правду о создании на месте предполагаемого Земного Рая небывалой каторги рассказал побывавший в самом эпицентре Всероссийской катастрофы А. Солженицын... Дочитав книгу Романа Гуля, тоже хватаешься в отчаянии за голову: "Боже! Что они с ней сделали? И как мы могли это позволить?" ("Русская Мысль", М. Сергеев).

"Эту честную и правдивую во многом книгу следует почитать тем, кто интересуется первым периодом российского зарубежья... Много, многое в книге замечательно" ("Часовой", В. О.).

"Захватывает в описаниях движение и портрет в действии" ("Новый Журнал", Р. Плетнев).

«Я унес Россию» — книга замечательная, она выходит за рамки мемуарного жанра, это своего рода "философский трактат", облеченный в художественную форму. ("Новый Журнал", Ю. Трель).

"Внутренней свободой дышит вся книга Р. Гуля" ("Голос Зарубежья", В. Пирожкова).

"...замечательная книга..." ("Голос Зарубежья", Н. Нефедов).

Заказы направлять в "Новый Журнал" New Review, 2700 Broadway. New York, N. Y. 10025.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ
и
Е. Л. МАГЕРОВСКОГО



В 1982 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1982 год 24 доллара
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 25 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
